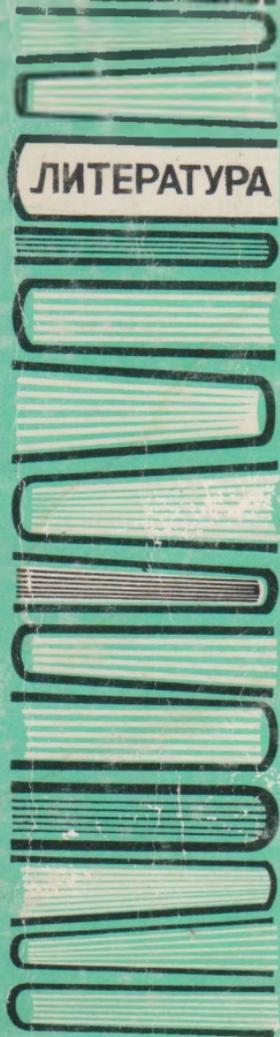


ИДО И ЭИНАМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АГНОЕ

ЛИТЕРАТУРА



ШМУЭЛЬ-

ИОСЕФ

АГНОЕ

ИДО И ЭИНАМ

25

БИБЛИОТЕКА

ШМУЭЛЬ-МОСЕФ АГНОН
ИДО И ЭИНАМ



ШМУЭЛЬ-ИОСЕФ АГНОН

Лауреат Нобелевской премии

ИДО И ЭИНАМ

Рассказы, повести, главы из романов

**Со вступительной статьей
И. Орена**

Под редакцией А. Белова

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

1975

שמואל יוסף עגנון

עידו ועינים
וסיפורים אחרים

Shmuel Yosef Agnon
עיריית חיפה
מערכת תרבות חפנאי
מרכז תרבות לעולים
מס. מלאי.....
1203

Специальное издание
для читателей «Нашей страны»
в сотрудничестве и при содействии
«Банк Апоалим» ЛТД.

ציור העטיפה: שרה ברקאי

©

כל הזכויות שמורות
ל"ספריה עליה"
ת"ד 7422, ירושלים
היצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן הזכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק
נדפס בישראל
1975

OCR Давид Титневский, апрель 2021 г., Хайфа

דפוס מופת, ת"א

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	Что повлияло на мое творчество	
И. Орен	Предисловие: диалектические противоречия и творческий анализ	11

★

Совсем недавно (главы из романа)		
Перевод И. Орена		39
Гость на одну ночь (главы из романа)		
Перевод А. Белова		84
Идо и Эйнам (повесть)		
Перевод И. Орена		115
Во славу науки (повесть)		
Перевод А. Белова		182
Тхила (повесть)		
Перевод Г. Липши		209
Из недруга в друга (рассказ)		
Перевод М. Эльяшова		246
Отцы и дети (рассказ)		
Перевод И. Орена		251
Оркестр (рассказ)		
Перевод И. Орена		256
Ловчие (рассказ)		
Перевод А. Белова		264
О налогах (рассказ)		
Перевод А. Белова		275
Апельсиновая кожура (рассказ)		
Перевод А. Белова		289

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА МОЕ ТВОРЧЕСТВО*

В результате исторической катастрофы, когда Тит Римский разрушил Иерусалим и Израиль был изгнан из своей страны, я родился в одном из городов изгнания — еврейской диаспоре. Но всегда я рассматривал себя как рожденного в Иерусалиме. Во сне, в ночных видениях, я видел себя стоящим с моими братьями-левитами в Святом Храме, поющим вместе с ними песни Давида — царя израильского, — мелодии, каких не слышало ничье ухо со дня, когда наш город был разрушен и его население рассеяно.

В пять лет я написал свою первую песню. Я написал ее, тоскуя по отцу. Так случилось, что мой отец, блаженной памяти, уехал по делу. Я очень тосковал и сочинил свои первые стихи. С тех пор я написал много разных стихов, но ни один из них не уцелел. Дом моего отца, где я оставил их, сгорел в первую мировую войну, и все, что я хранил в нем, сгорело с ним вместе.

Молодые ремесленники, портные и сапожники, которые, работая, пели бывало мои песни, погибли в первую мировую войну, а из тех, кто не был тогда убит, часть была зарыта в землю заживо с их сестрами, которые красотой своей украшали наш город и пели мои песни своими нежными голосами.

Судьба певцов, погибших в огне, подобно моим песням, была также судьбой книг, написанных мною позже. Все они взопли в пламени на небо во время пожара, когда сгорел мой дом в Бад-Гомбурге... Среди книг была рукопись большой повести, около семисот страниц; о выходе в свет ее первой части мой издатель уже оповестил в печати.

* Из речи, произнесенной на церемонии вручения Нобелевской премии.

Вместе с этой повестью под названием "Вечная жизнь" сгорело все, что я написал со дня, когда выехал на чужбину из страны Израиля, включая книгу, написанную совместно с Мартином Бубером, и 4000 книг на иврите, частью унаследованных, частью купленных на деньги, отложенные мною из средств на хлеб насущный.

После того, как все мое достояние стало добычей огня, Бог вразумил меня вернуться в Иерусалим. И милостью Иерусалима мне дано было написать все, что Бог вложил в мое сердце и перо...

Кто были мои наставники в поэзии и литературе?

Прежде всего — Священное Писание, по которому я учился складывать буквы. Затем — Мишна и Талмуд, Мидрашим и комментарий Раши к Торе.* После них —

* Мишна — свод правовых предписаний, формировавшихся в еврействе в течение веков в качестве так называемого устного учения, основанного на толковании законов. Окончательно отредактирована в середине III в. н.э. патриархом Иегудой Ганаси.

Талмуд — монументальный многотомный свод законов, включающий текст Мишны, а также комментарии и дополнения к нему, создававшиеся еврейскими законоучителями с начала III и до конца V века н.э. В отличие от Мишны, в Талмуде отражены не только окончательные выводы, но и обсуждения, споры и различные попытки разрешить те или иные проблемы. Существуют два Талмуда — Иерусалимский, завершенный во второй половине IV века в Палестине, и Вавилонский, окончательно отредактированный в вавилонском городе Суре в 499 году. Вавилонский Талмуд был на протяжении пятнадцати веков, наравне с Библией, самым важным культурно-религиозным достоянием еврейского народа.

Мидрашим — сборники легендарно-моралистических сказаний, основанных на библейских текстах.

Раши — аббревиатура имени рабби Шломо Ицхаки, одного из величайших еврейских ученых средневековья, жившего во Франции в XI в. Раши составил ком-

Поским — позднейшие толкователи талмудических законов, и наши великие поэты, и средневековые мудрецы во главе с наставником нашим блаженной памяти рабби Моше бен Маймонов — Маимонидом.*

Едва овладев грамотой на немецком языке, я стал читать каждую книгу на этом языке, какая только мне попадалась в руки, и, конечно, многое воспринял из этого источника сообразно своим наклонностям.

Был и другой род влияния — со стороны каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка, которых я встречал на своем пути, — евреев и неевреев. Их живая речь и то, что они рассказывали мне, врезались в сердце и частью вошли в мои произведения.

То же было и с воздействием природы. Мертвое море, которое я каждое утро с восходом солнца видел с крыши моего дома, ручей Арнон, в котором я купался, ночи, которые я проводил с благочестивыми верующими у Стены Плача,** — все это открыло мои глаза на обетованную землю нашу и священнейший из ее городов.

И чтобы не пренебречь никакой тварью, должен я упомянуть и домашних животных, зверей и птиц, у которых учился. Иов*** сказал когда-то: "Кто учит

ментарий к Библии и к Талмуду. (Здесь и далее примечания переводчиков).

* Маймонид — величайший еврейский философ, талмудист и врач, живший в средневековой Испании (1135—1204 гг.). На иврите известен под аббревиатурой Рамбам — рабби Моше бен Маймон.

** Стена Плача — сохранившаяся по сей день западная стена древнего Иерусалимского Храма, национальная святыня еврейского народа. Получила название Стены Плача, так как в течение многих веков к ней стекались евреи со всего мира, чтобы оплакивать былое величие Израиля.

*** Иов — герой одноименной библейской книги, которого Бог, подвергая испытанию, лишил имущества, детей и поразил болезнями, что послужило предметом философских споров между Иовом и его друзьями.

нас больше, чем звери земли, и вразумляет больше птиц небесных?" Кое-что из того, чему они научили меня, я вписал в свои книги, но боюсь, что я недостаточно учился у них, и, когда я слышу, как лает пес, щебечет птица или поет петух, я не знаю, благодарят ли они меня за то, что я рассказал о них, или, напротив, упрекают.

А закончу я краткой молитвой: "Тот, кто дает мудрость мудрым, да умножит и вашу мудрость. Да будет свободной Иудея, и мир и покой да будут даны Израилю. Да исполнится земля знания и радости вечной для всех пребывающих на ней".

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТВОРЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

1

Присуждение Нобелевской премии 1966 года израильскому писателю Шмуэлю-Йосефу Агнону явилось актом международного признания этого в высшей степени одаренного писателя, исключительного в своей самобытности не только по понятиям европейской культуры, но и в самой еврейской литературе.

Литературное творчество, в особенности художественная литература в прозе, может служить мерилom культурного уровня и духовно-общественной зрелости того или иного народа. Это положение, как и многие другие законы истории, социологии и культурного развития человеческого общества, в применении к еврейскому народу если и не теряет своей силы, то, по крайней мере, подлежит некоторым коррективам и требует несколько более сложной интерпретации. Ведь еврейский народ достиг своей национально-культурной зрелости уже в глубокой древности, опередив на несколько веков народы античного мира, а его литература достигла своего расцвета еще в середине первого тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют произведения того времени, часть которых сохранилась в библейских книгах. Некоторые из этих произведений, как, например, повествование о патриархах в книге Бытия, значительная часть псалмов, речей и проповедей пророков, "Повесть о Руфи", "Песнь песней" и т. д., являют собой и по сей день непревзойденные образцы поэзии и прозы в соответствующих областях мировой литературы. Однако в отличие от других народов древности, существование которых уже давно стало достоянием истории, еврейский народ продолжал и продолжает не только существовать, но и раз-

виваться и творить. Но так как процессы этого многовекового развития и творчества шли по весьма необычному руслу, то иногда самые элементарные понятия приобретают в историческом прошлом еврейской нации, да и в современности, некоторую усложненность, а порой и вовсе не поддаются четкому определению.

Таковым является, например, само понятие "еврейская литература". Что представляет собой эта литература? Известно, что один из решающих факторов национальной литературы — язык. Евреи в диаспоре, а в некоторой степени и у себя на родине, в древней Палестине, в особенности в римско-эллинистическую эпоху, говорили не только на своем языке иврите (а в последние столетия — на идиш и ладино*), — но и на языках народов, среди которых они жили. На этих языках написана обширная литература, носящая ярко выраженный еврейский национальный характер. Почти все библейские апокрифы написаны на греческом. На этом же языке написана первая в древности книга истории еврейского народа послебиблейского периода. Большая часть Талмуда написана на арамейском языке. Величайшие произведения еврейской философской мысли в средние века, такие, как "Путеводитель блуждающих" Маймонида и "Гакузари" Иегуды Галеви,** написаны на арабском языке, а в новое время целый ряд выдающихся творений еврейских

* Идиш — современный еврейский язык, в основе которого лежат немецкие наречия; он вобрал в себя также множество ивритских слов и выражений и большое количество славянских корней.

Ладино — язык потомков евреев, изгнанных из Испании в 1492 году, в основе которого лежат диалекты испанского; он также вобрал в себя множество ивритских слов и выражений.

** Иегуда Галеви — выдающийся еврейский поэт средневековой Испании (1084—1142). Согласно преданию, он отправился в Палестину и погиб в ней от руки арабского всадника, как только ступил на Священную Землю.

писателей написаны на немецком, французском, русском, испанском, английском и других языках.

Но вопрос о том, что представляет собой еврейская литература, не ограничивается языковой проблемой. Само собой понятно, что к еврейской литературе следует отнести все те художественные произведения, тематика которых посвящена описанию жизни евреев, в которых затрагиваются проблемы существования еврейского народа и авторами которых являются евреи. Однако многие литературоведы утверждают, что к еврейской литературе относятся и такие принадлежащие перу евреев произведения, в которых еврейская тематика вовсе не затрагивается. По их мнению, есть нечто общее, с одной стороны, объединяющее художественное творчество евреев на всех языках и во всех странах, а с другой — отличающее его от творчества других народов на тех же языках. С этой точки зрения произведения таких писателей нашего века, как Фейхтвангер, написанные по-немецки, Эренбург — по-русски, Белоу — по-английски, даже Пруст (мать которого была еврейкой) — по-французски, проникнуты в какой-то степени духовным родством и являются отражением еврейского литературного гения. Возможно, что и Шведская академия наук намеревалась подчеркнуть именно эту универсальность еврейской литературы, поделив Нобелевскую премию 1966 года между израильским писателем Ш.-И. Агноном и поэтессой Нелли Закс, живущей в Швеции и пишущей на немецком языке.

Даже отвергая упрощенность такого рода обобщений, нельзя не согласиться с тем, что Нобелевская премия 1966 года символизирует "пространственную протяженность" современной еврейской литературы, возникшую в результате исключительного исторического развития еврейского народа, продолжающегося вот уже более трех тысячелетий.

Само по себе творчество Агнона тоже как бы отражает глубины еврейской культуры во времени. В нем эта культура, пройдя через какой-то отрезок современности, преломляется, как в призме. И если допу-

стимо такое заимствование образов из области точных наук, то эта призма является одновременно и культурным аккумулятором. По определению словарей, аккумулятор — это прибор для накопления энергии с целью последующего ее использования. Достаточно обратить внимание на истоки творчества Агнона, с одной стороны, и на его влияние на новейшую израильскую литературу — с другой, чтобы убедиться, что это сухое определение как нельзя лучше характеризует в исторической перспективе литературную деятельность писателя.

Его романы и повести написаны своеобразным стилем, являющимся как бы синтезом стилистических форм более чем двухтысячелетней еврейской прозы послебиблейского периода. Проникнутое самобытностью творчество Агнона, не будучи чуждо актуальности, черпает свое вдохновение из еврейской традиционной культуры и мысли. Этот богатый мир еврейского духовного творчества, достигший своего поэтического апогея в мистике хасидизма, приобретает у Агнона, пользующегося наиболее современными литературными приемами, порой недалекими от сюрреализма, полусказочную художественную цельность.

Однако кризис традиционного еврейского духовного творчества, крушение вековых устоев, реализация мессианских идей путем политической борьбы, а не через мистически-религиозное искупление, борьба новых и старых начал — все это также своеобразно отражается в творчестве Агнона. Даже его самые “невинные” рассказы, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего с этим комплексом проблем, в глубине своей затаенно-символически выражают те же идейные конфликты.

2

Неискушенному читателю, которому непонятны сложные сплетения подтекстов, порой доходящих до изощренности, рассказы Агнона, в особенности его хасидские новеллы, могут показаться прямым продолже-

нием еврейского религиозного фольклорного творчества.

И действительно, ряд элементов его стиля наводят на мысль о том, что перед нами либо фольклорист, либо писатель, игнорирующий нерелигиозный еврейский мир двадцатого века и всецело пребывающий в культурно-духовной атмосфере прошлых веков. Некоторые склонны видеть в Агноне своего рода проповедника, призывающего к отказу от современных форм еврейской жизни и к восстановлению общества, основанного на нерушимых, веками испытанных, устоях традиционного иудаизма.

Один из виднейших израильских литературоведов, профессор Барух Курцвайл, посвятивший долгие годы исследованию творчества Агнона и опубликовавший ряд фундаментальных трудов на эту тему, категорически отвергает такое утверждение и вскрывает ошибочность столь упрощенного подхода к произведениям Агнона. В своей статье "Религия в произведениях Агнона" он пишет: "...Я пытался доказать, что не следует толковать Агнона как религиозного писателя по понятиям какой-либо ортодоксии. Более того, я неоднократно указывал на ошибки тех, кто в привязанности Агнона к традиционному еврейскому быту и в выборе его эпических тем из религиозной жизни усматривает доказательство "возврата к первоисточникам". Его литературное творчество в целом не должно вводить в заблуждение и наталкивать на мысль о том, что наше общество сможет когда-либо напоминать тот еврейский мир, который он иногда с чувством такой ностальгии описывает в своих рассказах. Именно эта ностальгия может возникнуть только в результате ясного и окончательного понимания, что уравновешенное и гармоничное бытие абсолютно нерушимых моральных ценностей прекратилось, и все это исчезло безвозвратно".

Действительно, значительная часть произведений Агнона посвящена изображению цельности еврейского быта, еврейской культуры и жизни евреев в былые времена, но ни одно из них не указывает на то, что эта цельность может или должна быть сохранена и в настоящем. Напротив, нигде сарказм Агнона не про-

является с такой остротой, как в тех рассказах или главах, где отобразена косность и окаменелость современных ортодоксальных групп, утративших истинную веру и превративших религию в слепой фанатизм и бездушную обрядность. Из множества примеров, подтверждающих отрицательное отношение Агнона к формальной ортодоксальности, можно указать на отталкивающую фигуру Фаивеля Фиша из романа "Со всем недавно" и на другие столь же негативные образы в новеллах "Простая история", "Письмо", в романе "Гость на одну ночь".

Агнон не только не уклоняется от проблем, возникающих в связи с отходом от веками чтимых заветов и отказом от тысячелетиями соблюдавшегося образа жизни, — напротив, он беспощадно вскрывает в своих произведениях надрывы, сопровождающие эти процессы, опустошение, производимое ими в душах людей, чувство ускользающей из-под ног почвы. Но никогда и нигде Агнон не претендует на то, что у него якобы припасено целебное средство: возврат к прошлому. Для Агнона нестерпимо мучительно то состояние писателя, когда общество как бы обращается к нему с требованием разрешить проблемы, дать ответ на тревожащие вопросы. Писатель не лечит душевные надрывы, а вскрывает их, не ликвидирует духовные кризисы, а показывает их. Отсюда "кафкаизм" Агнона, отсюда кажущаяся безысходность и беспросветность во многих, в особенности более поздних, его творениях, обреченность персонажей, которым суждено метаться в запутанном лабиринте противоречивых сил, над которыми у них нет, как у героев греческой мифологии, никакого контроля.

Все же, проникнув более глубоко в сложный комплекс творчества Агнона, читатель все более ясно различает луч какого-то парадоксального оптимизма, пробивающийся сквозь только что казавшуюся непроглядной тьму, и начинает нащупывать нервно вздрагивающими пальцами нить Ариадны. Это — непоколебимая мессианская вера в светлое будущее еврейского народа, в его грядущее возрождение в стране

отцов. У Агнона сливается воедино тройная роль земли Израиля в жизни народа — как страны бывшего величия, как Святой Земли эпохи великих чудес и деяний праведников и как страны будущего, страны, в которой осуществляются мессианские чаяния. Из его книг видно, что уже теперь закладывается прочный фундамент для обновления земли и народа.

Таким образом, скрытый “подспудный” оптимизм Агнона зиждется на его вере в творческие силы еврейского народа. Именно в этом — один из парадоксов диалектического мировоззрения Агнона: ортодоксальный иудаизм, закосневший в религиозном формализме, утратил эти творческие силы. Они перешли к тем, к кому Агنون, в последней главе романа “Совсем недавно” обращается со следующими словами: “А вы, наши избранные братья, в Кинерете и в Мерхавье, в Эйн-Ганиме и в Ум-Гуни — она же Дегания, — все вы вышли на работу в полях и в садах, на ту самую работу, которой не удостоился друг наш Ицхак. Ицхак не удостоился работать на земле, пахать и сеять, но зато он сподобился, как его прадед реб Юдл и некоторые другие благочестивые праведники, быть погребенным в Святой Земле. Пусть же все скорбящие скорбят и об этом мученике, погибшем от несчастного случая. А мы расскажем о делах наших братьев и сестер, сынов вечного народа, которые трудятся на земле Израиля...”

Мы еще вернемся к образу Ицхака Кумера, главного героя романа “Совсем недавно”, удостоившегося “быть погребенным в Святой Земле”. Ему Агنون посвятил одно из своих самых значительных произведений. Однако книга “Участок поля”, та самая, что, по обещанию автора, должна была рассказать “о делах наших братьев и сестер... которые трудятся на земле Израиля”, так и не была написана.

Израильские критики и литературоведы пытались объяснить, почему Агنون не выполнил своего обещания. Толстой и Достоевский зачастую тоже разрешали проблемы своих героев только в эпилогах, а в тех немногих случаях, когда они пытались посвящать этому

целые произведения (например, "Воскресенье"), то эти произведения безусловно страдали с художественной точки зрения из-за резонерских сентенции автора.

Если уж речь зашла о русской литературе, то классическим примером может послужить вторая часть "Мертвых душ", в которой Гоголь пытался, вопреки складу своего таланта, изобразить "положительный тип" Тентетникова. Гоголь сжег рукопись второй части "Мертвых душ". Агнон не написал, насколько известно, второй части романа "Совсем недавно", хотя название уже было приготовлено: "Участок поля".

"Братья и сестры", которые трудятся на родной земле, — сверстники Агнона. Вместе с ними прибыл он в Палестину в начале нашего столетия. В обещанной книге Агнон, вероятно, попытался бы изобразить их реалистически. Но дело в том, что Агнон по своему духовно-художественному складу может писать о цельности прошлого, о кризисе настоящего и о туманном идеале будущего. Поэтому, пытаясь писать о цельности или "туманном идеале" настоящего, он оказался в положении Гоголя. Ведь сожжение рукописи и отказ от создания художественного произведения — в принципе явления тождественные.

Цельность прошлого, кризис настоящего и туманный идеал будущего — эти три измерения потребовали каждое своей формы. Прошлое у Агнона передается в форме, близкой к сказочной. Настоящее разделено надвое: строго реалистическое повествование и — параллельно ему — система символических образов (например, образ бешеной собаки в "Совсем недавно"), будущее же у него — чистый символизм. Поэтому понимание произведений Агнона нередко связано с умением воспринять его символы. Они глубоко коренятся в еврейской религиозной литературе, начиная с Библии и кончая хасидскими легендами. Между этими крайними точками находится богатая раввинская письменность — Талмуд, Мидрашим, средневековая религиозно-философская и законоведческая литература, многочисленные комментарии к Библии и Талмуду, творчество еврейских мистиков-кабалистов и т.п. По-

этому исследователь, критик и толкователь зачастую стоит перед теми же проблемами, которые пытаются разрешить комментаторы "Двенадцати" Блока, вникая в смысл того, почему перед "солдатней", творящей Октябрьскую революцию, "в светлом венчике из роз" идет "впереди Иисус Христос", или те, кто старается постичь символы поэзии Бориса Пастернака, заимствованные им из Евангелия и православной литургии.

Мы попытаемся наметить основные черты символики Агнона в нескольких его произведениях, главным образом тех, которые публикуются в настоящем сборнике. Считаем, однако, своим долгом оговорить: символическое творчество не поддается толкованию в деталях. Символы — не аллегории. Они, по существу своему, пользуются автономией и живут своей собственной независимой жизнью в качестве героев, персонажей или хотя бы штрихов художественного произведения. И чем они более совершенны, тем свободнее движется символический образ во всех трех измерениях. Задача толкователя — дать ключ к четвертому измерению.

3

Уже в рассказе "Агунот" ("Брошенные жены"), опубликованном в начале нашего века в органе еврейской рабочей партии в Палестине "Гапоэль гацаир", основной проблемой является конфликт между творческими силами еврейской культуры и окаменелой традицией. "Агунот" считается первой новеллой Агнона. И если это определение, судя по последним свидетельствам исследователей и самого автора, не совсем точно, то, во всяком случае, совершенно достоверно, что это первый рассказ писателя, опубликованный им под псевдонимом Аггон* (производное от названия рассказа "Агунот") и одно из самых ранних произведений автора. Но даже в этой еще не вполне зрелой вещи,

* Впоследствии этот псевдоним стал его фамилией.

но уже таящей в себе, как в зародыше, почти все элементы будущей творческой самобытности писателя, главная идея окутана туманно-символической дымкой, придающей рассказу (как и многим позднейшим произведениям Агнона) колорит народной легенды. Сквозь эту дымку нетрудно распознать основную мысль рассказа: творческие силы прежде всего воплощаются в искусстве; где подлинное искусство, там искренняя любовь, там истинная вера, там творческая жизнь. А где все это подавлено, там бесплодие, окаменелость, прозябание и религия, переродившаяся в безверие.

Центральным символом рассказа служит синагогальный кивот Завета, сооруженный мастером Бен-Ури по заказу Ахиэзера для его синагоги. Бен-Ури — великий художник и мастер. В душе его горит священный огонь, и все свои творческие силы вкладывает он в свое детище — создаваемый им кивот. “Кому же был подобен этот кивот в тот момент? Он был подобен женщине, руки которой протянуты в мольбе, а обе ее груди, словно каменные скрижали, приподняты в молитве к отцу ее в небесах”.

Однако закоснелое окружение не в состоянии оценить творческий талант автора. Лишь дочь Ахиэзера, обрученная по воле отца с молодым раввином Йехезкелем, воспринимает чутьем, что перед ней гений, и великое, бессознательное влечение к нему овладевает всем ее существом.

Но в доме Ахиэзера нет места искренности, всеобъемлющей любви. Дина выходит замуж за Йехезкеля. Бен-Ури исчезает бесследно. Тщетно пытаются Дина и Йехезкель наладить свою семейную жизнь. Они никогда не были близки друг другу. Основанный Йехезкелем ешибот пустеет. Ученики один за другим покидают его. В конце концов Дина и Йехезкель разводятся. “И так же, как он ни разу не взглянул на нее, когда они венчались, он не смотрел на нее и теперь, когда они разводились”.

Да, творческие силы следует искать в обновленном обществе. Но разве они в самом деле кроются

там? А если да, то возможен ли безболезненный переход из старого, устойчивого мира в шаткий, хрупкий, неведомый мир новых экспериментов?

Этому вопросу посвящен роман Агнона "Совсем недавно".

Герой романа Ицхак Кумер приехал в Палестину вместе с иммиграционной волной халуцов-идеалистов в начале века (так называемая вторая алия). Они устремились сюда для того, чтобы возродить еврейский народ на его древней родине. Однако пионеры второй алии этим не удовлетворялись. С национальными чаяниями они связали и социальные идеалы, пытаясь создать новые общественные формы, основанные на всеобщем труде и отсутствии эксплуатации человека человеком.

В наше время мы воочию убедились, что многое из задуманного было осуществлено. Но тогда казалось, что между идеалами и действительностью лежит огромная пропасть. Новоприбывших в запущенную турецкую провинцию ждали голод, зной, безработица или же непосильный физический труд. Многие не выдержали испытаний и возвратились обратно или уехали в другие страны.

К общественному и душевному перелому прибавлялся перелом религиозно-моральный. Большинство халуцов были выходцами из местечек России и Восточной Европы, где жизнь евреев еще прочно зиждилась на многовековых устоях самобытной еврейской культуры и религии, которые тогда казались непоколебимыми. Приезд в Палестину и переход к новой трудовой жизни означал также разрушение этих устоев. И те, кто не обладал достаточной интеллектуальной дальновидностью, чтобы сквозь руины прошлого и лишения настоящего видеть фундамент будущего, нередко возвращались в знакомый им религиозный уклад жизни, тщетно стараясь вновь обрести твердую почву под ногами.

К ним принадлежал и Ицхак Кумер. Он не мог устоять перед духовным кризисом и, женившись на девушке из набожной семьи, поселился в Меа-Шеарим.

квартале религиозных фанатиков, где уклад жизни мало чем отличался от норм средневековья.

Во время засухи его укусила бешеная собака, и он умер от водобоязни. Мастерской кистью талантливого художника Агнон рисует жизнь еврейского населения Палестины тех времен, подчеркивая контраст между закоснелым бытом иерусалимского квартала Меа-Шеарим и бытом еврейских иммигрантов в Яффе, ищущих новые идеалы. Перед нами проходит вереница образов, производящих неизгладимое впечатление (например, художник Блойкоп и его жена), и в том числе исключительный по мощности художественного и интеллектуального размаха образ собаки Балак, насыщенный глубоким символическим значением.

В рамках настоящей статьи мы не можем углубляться в смысл символики, связанной с этим образом. Однако в этом изложении, пожалуй, уместно указать на то, что бешенство Балака (а впоследствии и Ицхака Кумера) сопряжено с водобоязнью, т.е. с боязнью той живительной, плодотворной влаги, которая есть источник всего живого, "творческая сила". Недаром во время болезни Ицхака царила страшная засуха. Лишь после его смерти "попились благодатные дожди. Совсем недавно молили мы Господа о влаге небесной, и вот уже поем ему благодарственные гимны".

Расстояние во времени между событиями, изображенными в романах "Совсем недавно" и "Гость на одну ночь", невелико — каких-нибудь десять-пятнадцать лет, но в действительности их разделяет целая эпоха. Если так называемая вторая алия происходила до 1914 года (для Агнона это "Совсем недавно", ибо он сам был ее участником, и все события еще свежи в его памяти), то действие романа "Гость на одну ночь" развертывается сразу после первой мировой войны. "Гость" — в данном случае сам автор — возвращается в родное местечко, где родился, вырос и которое окружено в его сознании ореолом романтики, и застаёт полнейшую разруху — материальную, духовную, нравственную. Губительным смерчем пронеслась по местечку война, оставив после себя руины и трупы,

тысячи искалеченных и обездоленных. Надо начинать жизнь заново. И тут перед каждым в отдельности и перед всей общиной в целом встает множество сложных, почти неразрешимых проблем. И центральная из них — а есть ли здесь, в “галуте”, вообще какая-либо перспектива устойчивого существования в будущем? Из всей совокупности событий, фактов, размышлений напрашивается лишь один ответ — отрицательный. Сквозь толщу грядущих времен автор прозорливо видит на горизонте новые смертельные опасности и как бы предупреждает: уходите, пока не поздно...

Роман густо заселен колоритными фигурами уходящего в небытие еврейского местечка; с некоторыми из них читатель знакомится в публикуемых главах.

Борьба нового со старым служит “четвертым измерением” новеллы “Отцы и дети”. Страх охватывает отцов, обнаруживших пропажу своих детей. Новое поколение, захлестнутое искушающей волной мировой культуры и влекомое к “зверинцу” широкого мира со всем его разнообразием и разноголосицей, может оказаться погибшим для родителей, хранивших тысячелетиями свою духовную и национальную независимость в разных “гостиницах” света. Но, к счастью, это опасение не оправдалось. Дети не погибли. Отчаявшиеся родители совершенно неожиданно находят их на том же самом пароходе, на котором они собираются уехать. Историческая цепь не прервана. Наоборот, молодое поколение, уйдя из разноплеменного “зверинца”, наслаждается синтезом между красотой мировой культуры и традиционной самобытностью еврейского народа (Эйбшиц, носящий фамилию знаменитого раввина восемнадцатого века, символизирует собой эту традицию).

Если наше толкование символики “Отцов и детей” верно, то необходимо признать, что такого рода идиллическое завершение отнюдь не характерно для Агнона. Обычно весь комплекс этих проблем значительно более сложен, запутан и не лишен порой некоторой изощренности. Как мы уже указывали, Аггон в большинстве случаев ограничивается постановкой

вопроса; он редко предлагает решение. Наоборот, само по себе сознание, что от него, как художника, кто-то ожидает ответа на терзающие вопросы, превращается для автора в какой-то постоянный кошмар. Это состояние мастерски изображено в одном из наиболее сложных сюрреалистических рассказов Агнона "Оркестр".

В этом рассказе повествование ведется от первого лица. Переживания и приключения автора занимают во времени всего лишь один день — канун еврейского Нового года — Рош Гашана. С первых же строк читатель ощущает, с какими невероятными трудностями сопряжен у Агнона переход от минувшего к новому, от старой жизни к новой. И больше всего тревожит автора то, что на пороге новой жизни он обязан дать ответы на вопросы, волнующие всех тех, кто обратился к нему за разъяснением и советом. "Вот наступает Новый год, — подумал я, — а у меня лежит столько писем, оставленных без ответа. Не лучше ли мне засесть за ответы и встретить Новый год свободным от тягостных обязанностей?" Но просмотрев письма, автор пришел к выводу, что нет у него ответа. "И чем больше я убеждался, что мне нечего ответить, тем сильнее испытывал желание составить ответ, так как в противном случае письма не дадут мне покоя... Я взялся было за перо, но ничего у меня не получилось".

Среди писем оказалось также приглашение на концерт. Вместо традиционной молитвы в синагоге накануне Нового года — приглашение на концерт. Вот оно — вечное сопоставление старого и нового, первопричина интеллектуальной и художественной напряженности в творчестве Агнона. Еврей, стоящий перед дилеммой: синагогальная литургия или современная музыка, религия или искусство, национальное или мировое?

Сам автор еще не решил для себя эту дилемму, но молодое поколение уже давно дало свой ответ: для юной родственницы Оры "музыка дороже всех благ мира, а больше всего на свете бредит она этим вели-

ким дирижером, который сегодня вечером управляет большим оркестром". Дочь автора тоже предчувствует приближение нового мира. Недаром она встречает отца одним словом "Свет" — ведь свет это то, с чего Бог начал сотворение мира. Новое поколение как бы жалеет своих отцов за то, что они все еще пребывают в мире, который уже доживает свой век. Глаза дочери "были полны слез: она носит новую одежду, а ее отец — старую; отец одет в старое, когда наступает Новый год".

Духовный мир евреев зиждился на заветах Библии и Талмуда, на выполнении мицвот. "Мицва" на иврите — не только завет, но и благое деяние, совершенное в соответствии с Заветом. Талмудическое изречение говорит о том, что даже "самые легкомысленные сыны Израиля исполнены мицвот, как гранат косточками". В рассказе "Оркестр" старушка Чарни, которая "любила бахвалиться, что служила у деда еще до моего рождения" (о ней речь впереди), нашла какой-то гранат: "и хотя гранат этот частично сгнил, косточки его не распались".

Итак, несмотря на тление и гниль, "косточки-мицвот" все еще представляют собой нечто целое и, во всяком случае, народ Израиля благодаря им еще не распался.

Что же представляет собой новое творчество, к которому с таким трепетом душевным устремляется юная родственница автора Ора и все ее поколение?

Несмотря на канун Нового года, автор, сам того не сознавая, отправился слушать концерт.

"Найдя себе место, я сел и стал их рассматривать. Каждый музыкант играет свое, но все мелодии вместе сливаются в единую песнь. Каждый привязан к своему инструменту, а инструмент закреплен в полу. Каждый думает, что только он привязан подобным образом и стесняется попросить своего коллегу, чтобы тот отвязал его. Возможно, музыканты знают, что все они привязаны к своим инструментам и что инструменты их закреплены в полу, но им кажется, что играют они по своей доброй воле. Но одно ясно: несмотря на то,

что глаза их покоятся на инструментах, они не видят того, что делают их руки, благо они до единого слепы. У меня возникло опасение, что они не только не видят, но и не слышат того, что играют, так как от усердной игры они оглохли“.

Это потрясающее изображение не требует комментариев: современное, нерелигиозное творчество — это автоматизм, безличие, порабощенность, это творчество, превращающее творцов в бездушных роботов.

Агнон отказывается принять его. Но вряд ли это от него зависит. Прежде всего, привратник не выпускает его из концертного зала: он оказался одним из тех, кто написал автору бесчисленное количество писем с требованием ответа. А ответ может быть дан ему только в этом зале и на языке этого удручающего оркестра. Более того: тем временем в старый мир не только проникает гниль — он горит. Он сгорает не только от постигшей его физической катастрофы извне, но и от духовной катастрофы — изнутри; строители будущего отрекаются от него. Старушка Чарни якобы преданная служанка деда (по-видимому, нееврейка) с самого начала повествования таит в себе что-то злое. Вместо горячей ванны для очищения перед Новым годом, она готовит автору кипящую ванну, в которой он может свариться живьем. А в конце рассказа мы читаем: “Около печи стояла женщина и подбрасывала в огонь дрова. Огонь слепил глаза, и я так и не разглядел, стоит ли у печи старушка Чарни или это молоденькая Ора разжигает огонь“.

И все же народ строит свое будущее. Строит усердно, настойчиво и неуклонно, часто вопреки силам природы. Каково бы ни было духовное творчество будущего, народ возвращается на родину и прежде всего создает фундамент для своего физического существования после погибшего в огне и дыму прошлого. В этом созидательном упорстве смысл рассказа “Из недруга в друга“.

“И сказал я сердцу: “Разве ты не видишь, что нельзя идти туда, откуда меня изгнали? А чего нельзя — того нельзя“. Но сердце мое было другого

мнения. И если я тысячу раз повторял ему, что это невозможно, мое сердце твердило мне тысячи и тысячи раз: возможно, возможно". И действительно, автор пытался построить себе дом в пустынном, как некогда вся Палестина, квартале Иерусалима, в Тальпийоте. Однако враждебные ему силы, воплощенные в рассказе в образе ветра, неоднократно и беспощадно сносили и разрушали все его творения. "Прежде, когда ветер изгонял меня, я возвращался в город, но сейчас дела мои сложились так, что я не мог туда вернуться. Я слонялся без пристанища и не знал, что делать. Вернуться в город нельзя по разным причинам, вернуться в Тальпийот — тоже нельзя из-за ветра, который прогоняет меня. Построить себе палатку или хижину? — Они не устоят. Построить себе маленький дом? — Однако и его поверг в прах натиск ветра. Но, может быть, он не устоял перед ветром потому, что был мал и слаб, а если бы был он большим и крепким, — он бы устоял?

Я достал крепкий строевой лес и бревна, большие камни, известь и цемент, нанял хороших мастеров и наблюдал за их работой денно и ночно. Меня надоумили углубить фундамент. Дом построили, и все было на своем месте".

Здесь аллегория настолько прозрачна, что вряд ли требуются комментарии. Речь идет о "Национальном доме" для еврейского народа в Палестине — термине, столь популярном в период британского мандата. Этот "дом" сможет устоять против сил разрушения только в том случае, если он будет прочен и солиден. Злым ветрам пустыни (интересно отметить, что на иврите "дух" и "ветер" — одно и то же слово "руах"), оставляющим за собой бесплодие и разруху, следует противопоставить упорство созидания: освоение пустынных пространств, озеленение каменистых гор. Тогда силы разбоя и уничтожения смирятся.

"Я взял лопату, взрыхлил землю. Когда земля была вскопана, принес я саженцы... Спустя короткое время мои саженцы превратились в ветвистые деревья... Однажды ночью вернулся ветер и налетел на

деревья. Что сделали деревья? Они ударили по ветру. Вернулся ветер и снова налетел на деревья, и они вновь ответили ему ударами. Не устоял ветер. Повернулся и ушел". И в конце концов он не только смирился, но и превратился из недруга в друга.

"И действительно, мы теперь добрые соседи, и я его по-настоящему люблю, и, возможно, что он любит меня".

С какой простотой и задушевностью эти бесхитростные слова выражают идеал народа, строящего свой дом в обновленном Израиле, наперекор окружающим его и постоянно угрожающим враждебным силам. Как четко и ясно слышится в них твердая уверенность в том, что враг-ветер раньше или позже превратится из недруга в доброго соседа, и, пожалуй, даже в любящего друга.

Рассказы "Ловчие", "О налогах" и "Апельсиновая кожура" относятся к циклу "Книга о государстве". Их сатирическая заостренность, переходящая подчас в гротеск, настолько очевидна, что не нуждается в комментариях. Но неверно было бы трактовать эти рассказы как критику чудовищных бюрократических извращений, присущих только нашему государству. Агнон критикует государство как таковое, государство как систему, которая неизбежно порождает эти извращения. В основе сионистских идеалов лежала мысль о создании независимого еврейского государства; в течение десятилетий это было самой заветной мечтой. Но когда мечта наконец осуществилась и государство было создано, оно породило разветвленный государственный аппарат, касту чиновников, полицию, тюрьмы... И каждый невольно почувствовал разрыв между идеалом и действительностью. Мастерски, методом утрированной гиперболизации вскрывает Агнон пороки и язвы, присущие современному государству и государственному аппарату вообще.

Символ прочного дома, на котором строится рассказ "Из недруга в друга" играет важную роль и в другом, более крупном произведении Агнона — повести "Идо и Эйнам". Некоторые, в том числе и автор

этих строк, считают "Идо и Эйнам" вершиной творчества Агнона и одним из шедевров мировой литературы. Повесть эта приковывает внимание читателя с первых же строк, вводит его в загадочный лабиринт чудесных переживаний и полусказочных происшествий, не уводя, однако, окончательно от реальной действительности, изображенной вполне натуралистическими красками. Реальность и фантазия развиваются параллельно и как бы независимо друг от друга, но по мере того как все более нарастает напряженность, читатель с затаенным дыханием ожидает, что эти две параллельные линии вот-вот сойдутся, как в неевклидовой геометрии. И действительно, в развязке фантастическая, полусказочная Гмула и ученый исследователь Гинат оказываются в обывательской мелкобуржуазной обители Грейфенбахов. Благодаря постоянному ощущению двух плоскостей читателя ни на минуту не покидает мысль, что за увлекательной фабулой повести развивается еще один поток событий — скрытый, своего рода подземный источник, отражающий в своих глубинах все, что происходит наверху, так что происшествия приобретают другое, более глубокое или, вернее, более широкое значение. Но нигде Агнон так тщательно не скрыл концов нити Ариадны, как в "Идо и Эйнаме". Нигде символы так не замаскированы, как в этой повести. Неудивительно, что целая плеяда критиков вот уже около двух десятков лет бьется над ее толкованием.

Мы попытаемся указать читателю, ставшему на трудный путь расшифровки символики "Идо и Эйнама", несколько "путеводных звезд" и обратить его внимание на некоторые вехи на этом пути. Тот, кто пожелает расчистить всю дорогу, вынужден сделать это своими силами, и при некотором интеллектуальном усилии это, думается, возможно. В нашем комментировании мы идем главным образом по стопам недавно скончавшегося Мешулема Тохнера, хоть и малоизвестного, но выдающегося исследователя творчества Агнона.

В "Идо и Эйнаме" фигурируют все персонажи,

необходимые для сюжета любовной повести: “дама сердца” Гмула, горячо любящий, но нелюбимый муж Гамзу, возлюбленный доктор Гинат и отец невесты Гевария. Но дело в том, что в своей скрытой плоскости “Идо и Эйнам” — повесть об истории еврейского народа. Поэтому каждый из этих четырех персонажей представляет собой также и символ, олицетворяющий некоторые элементы этой истории.

Гамзу — это народ в диаспоре, беззаветно преданный своей религии и культуре, но уже утративший творческие силы. Его духовная пища — древние рукописи. Преклоняясь перед ними, он, однако, не в состоянии постичь их. В погоне за рукописями он объехал почти весь земной шар. В своих скитаниях он потерял один глаз. “Одноглазость” Гамзу символизирует односторонность, однобокость. Его мировоззрение лишено полноты и цельности: пребывая в изгнании, еврейский народ стал страдать аберрацией зрения. Поэтому, несмотря на то, что Гмула — его законная жена, которой он беззаветно предан, она не может отвечать ему истинной любовью. Гмула, родившаяся у живительных источников, — это сохранившиеся до сих пор, уцелевшие, подлинно творческие элементы еврейской культуры... Они сохранились в своей примитивной, уходящей корнями в глубокую древность, форме. С одной стороны, они являются как бы частями дикой природы, с другой — они содержат в себе нечто неземное, отрешенное от мира.

Поэтому Гмула, умеющая столь замечательно петь таинственные песни, звучащие с незапамятных времен. Гмула, так искусно жарящая ягненка и пекущая вкуснейшие “обжонки”, эта Гмула — лунатик. Луна испокон веков связана с романтическими аспектами человеческого духа. В еврейской мистической литературе она олицетворяет Шехину, т.е. определенный атрибут божества, божественную силу, содержащую в себе элементы нежности и материнства.

Есть лишь одна сила на свете, которая в состоянии бороться с влиянием луны на Гамзу и преодолеть его. Это сила листьев-амулетов, содержащих таинст-

венные письмена, т.е. гимны на древних языках Идо и Эинам. Это истинное, животворное искусство, сохранившее свое обаяние и по сей день. Хранителем этих амулетов был долгое время отец Гмулы — Гевария, олицетворяющий легендарных потомков потерянных после разрушения Первого Храма десяти колен Израилевых, которые, по преданию, живут и процветают где-то за тридевять земель, в тридесятом царстве, за сказочной рекой Самбатсион.

Душа и тело Геварии не зачахли, как душа и тело Гамзу в его бесконечных скитаниях. Напротив, "Гевария, сын Геузля, был мужественнейшим из мужей. Лик его — словно лик льва, сила его — словно сила вола, а бег его легок, как полет орла. Славословия Богу у него на устах, и меч обоюдоострый в руке его. В синагоге он кантор, а в мастерской своей он кует оружие". Даже умер он, несмотря на свой преклонный возраст, не естественной смертью, а в борьбе с орлом на вершине горы, на которую он взобрался, "чтобы учиться у орлов возрождать свою молодость".

Геварии не удалось восстановить свою молодость, молодость еврейских племен, сохранивших в себе жизненные соки народа в наивно-примитивных сосудах, созданных на самой заре истории Израиля. Естественные процессы развития не обошли и это законсервированное в своем первичном состоянии общество, которого не коснулась современная цивилизация — и было ли его существование реальностью или фантастическим плодом воображения, наш век принес ему смерть. Умирая, эти племена завещали свои творческие силы и свое духовное наследие Гамзу. За него Гевария выдал замуж свою единственную дочь, и ему он вручил таинственные листья с эинамскими письменами, обладающими магической силой.

Но мы уже знаем, что представляет собой Гамзу. Та часть еврейского народа, которая осталась верна традиции, выродилась в двухтысячелетнем изгнании, она не в состоянии сбересть порученные народу сокровища для грядущих дней. Гамзу живет не будущим, а прошлым. Все его существо говорит об этом — его

взгляды, его поведение, его облик! “Молча вглядывался я в его лицо, — говорит автор, — лицо средневекового еврея, неведомо как оказавшегося в нашем поколении для того, чтобы доставлять старинные издания...” Поэтому, вопреки тому, что он законный муж Гмулы и по праву владеет исписанными листьями, и несмотря на свою беззаветную любовь к жене и на непоколебимую веру в магическую силу листьев-амулетов, он лишается и того и другого. Листья попадают к доктору Гинату, ему же отдает Гмула свое сердце.

Кто такой доктор Гинат? Перед нами олицетворение современной науки. Его интересуют памятники древности исключительно с научной точки зрения. Когда Гмула под влиянием луны в экстазе поет свои песни, он усердно записывает их слова, а заклинания, начертанные таинственным, неведомым, древним языком на листьях-амулетах, он рассматривает как фольклор и тщательно изучает их.

Эти бесценные богатства, в которых заключена духовная сила старинного, граничащего с первобытностью, еврейского общества, жившего у водных источников (а мы уже указывали на символическое значение у Агнона плодотворной, живительной влаги), — всецело в руках Гината. По “счастливому” недосмотру Гамзу этот ученый оказывается обладателем поэтического гения племен, хранящих первичные силы. Таков приговор истории.

Но признает ли Агнон этот приговор справедливым и окончательным? Судя по развязке повести, ответ на этот вопрос дан отрицательный. Научно-исследовательский подход, рационалистический анализ, логическая расшифровка — все это сможет сохранить древнюю еврейскую культуру для тех избранных людей, которые в будущем будут ею интересоваться, но этого недостаточно для того, чтобы вновь превратить ее в живую, движущую силу. Поэтому, хотя Гмула раскрывает перед Гинатом все затаенные уголки своей творческой души, с его стороны веет холодом отчужденности. Он готов даже вернуть ее законному

мужу Гамзу, который горячо любит ее, не понимая и, по существу, не зная ее... “Я не замужняя женщина”, — говорит Гмула, обращаясь к Гинату и, указывая на Гамзу, восклицает: “Спроси его, видел ли он мое тело?”

Но для Гината Гмула не живое существо — одухотворенное, любящее, страдающее, а всего лишь “орудие производства”, продуцирующее фольклорный материал для его исследований. А когда в минуту опасности Гинат пытается спасти Гмулу от смерти, он погибает вместе с нею.

Да, науке не спасти от окончательной гибели живое творчество еврейской древности и не ей суждено возродить его. Она, однако, может сохранить его временно и служить связующим звеном до тех пор, пока на арену истории ступит то поколение, которому исторический процесс поручил дело возрождения.

А вот еще один просвет для робко пробивающихся лучей оптимизма: один экземпляр магических листьев остался в доме Грейфенбахов. Грейфенбахи — это типичная чета немецких евреев, переехавших из Германии в Палестину после прихода Гитлера к власти и обосновавшихся в Иерусалиме. Действие повести происходит в их доме, в одном из бывших когда-то пустынными районов города. Вспомним, какой смысл вкладывает Агнон в дом, построенный в пустынных районах Иерусалима. А дом Грейфенбахов имеет свою историю и, как все дома в Иерусалиме, прошел через разные стадии перевоплощения. В этом доме хранятся листья с древними письменами. Придет время, и эти письма вновь обретут свою, хотя и не магическую, но творческую силу при помощи трудов доктора Гината. Кто же вернет им эту силу? Возможно, что поколение маленькой внучки, на которую опирался, идя на похороны Гината и Гмулы, старик Амрами, сообщивший автору о трагической смерти героев его повести.

Мы попытались в самых общих чертах обнажить скрытую плоскость повести “Идо и Эйнам”, указав на символичность ее главных героев. Желающий бо-

лее глубоко проникнуть в детали этой символики столкнется с бесконечным числом намеков, ассоциаций, подтекстов, аллегорий, корни которых таятся в понятиях, заимствованных из многовековой еврейской религиозной литературы. Лишь в качестве иллюстрации мы обратим внимание читателей на некоторые ассоциации такого рода.

“Идо” — это имя, вскользь упомянутое в Библии, а “Эйнам” — название одной местности в Палестине, неопознанной и по сей день. Однако, как справедливо указывает Тохнер, переставляя согласные буквы в этих именах (а это общепринятый прием в еврейской мистической литературе и в традиционных комментариях к Библии), мы получаем слова: “Майян” и “Иуд” (буквы “О” и “У” обозначаются на иврите теми же знаками), что означает “Источник” и “Миссия”. После всего сказанного нетрудно убедиться в важности той роли, которую эти понятия играют в повести. При помощи такой же перестановки букв город Вена превращается в страну Яван, т.е. в Грецию (иврит). В рассказе говорится о том, что Гамзу побывал в Вене, тщетно пытаясь вылечить свой глаз, а так как Вена символизирует Грецию, то этот эпизод можно толковать так: в определенный период своих скитаний еврейский народ столкнулся с эллинистической культурой, но и это не излечило его от односторонности мировоззрения, обретенного в изгнании (Гамзу ослеп на один глаз во время песчаной бури, разразившейся в одну из его поездок).

На свадьбе Гмулы плясали от 22 до 27 девушек. Эти цифры символизируют число букв еврейского алфавита (22 и вместе с “конечными буквами” — 27). Отправившись в Палестину, Гамзу и Гмула находились в пути сорок дней — намек на сорок лет, которые евреи странствовали в пустыне, возвращаясь на родину после исхода из Египта.

Гмула напевает песню, состоящую из звуков, напоминающих пастушечьи напевы: “ядл, ядл, ядл ва-па-ма”. Однако эти невинные звуки представляют собой аббревиатуру знаменитой фразы, произносимой

героиней библейской книги “Песнь песней”: “Яво доди легано вейохал при мегадав” — “Да войдет возлюбленный в сад и отведает от плода соков его”. Перед нами замаскированная цитата из древнейшего произведения еврейской лирики, сохранившаяся в оригинале старинная песня, которую традиция веками толковала как извечный диалог между Создателем и Его избранным народом. Неудивительно, что Гмула обращается к Гамзу словами этой песни, стараясь вызвать в этом скитальце “животворные соки”.

На этом мы заканчиваем наше путешествие по четырехмерному миру “Идо и Эйнам”. Повторяем: четвертое измерение придает ему своеобразную перспективу и исключительную глубину, но и без него эта повесть Агнона — цельное художественное произведение. Всякая интерпретация, включая и предложенную нами здесь, проблематична. Рассказы Агнона, в том числе и “Идо и Эйнам”, обаятельны сами по себе, и если они открываются читателю под другим углом, он волен игнорировать наше толкование.

По единодушному мнению критиков, “Идо и Эйнам” и “Во славу науки” — два наиболее “зашифрованных” произведения. Еврейская литературная традиция, уходящая своими корнями вглубь тысячелетий, дает богатейшие возможности для того, чтобы мистифицировать и интриговать читателя, говорить скрытно, иносказательно, эзоповским языком, намеками и полунамеками (обрывки цитат из священных книг и комментариев к ним, аббревиатуры, перестановки букв в словах, цифровые значения букв, разные огласовки одного и того же слова, арамеизмы, смысловые имена собственные и т.д., и т.п.). Агнон мастерски владеет всем этим арсеналом средств, и искушенный читатель видит подчас за незатейливым повествованием и безобидным диалогом то, что следует читать между строк и во имя чего, собственно, автор взялся за перо.

В рассказе “Во славу науки” (на иврите он называется “Навеки”) явственно прослеживаются две линии — вполне реалистическая (история ученого исто-

рика, поглощенного до самозабвения решением научной проблемы) и мистически-легендарная (история мифической Гумлидаты и дома для прокаженных). Если в первой линии все — “как в жизни”, лишь с некоторым пародийным преувеличением, то во второй — сплошные ребусы, шарады и загадки. Расшифровав их, критики установили, что в данном произведении автор подымает животрепещущие проблемы веры и безверия, религии и науки, взаимодействия мировой культуры и еврейской традиции, культа силы и духовной избранности... В этом рассказе литературоведы обнаружили также резкую критику идей крупнейших представителей новой еврейской литературы Бердичевского и Бреннера (современников Агнона) и решительный протест против модных одно время ницшеанских идей о сверхчеловеке.

Но каждое по-настоящему талантливое художественное произведение имеет гораздо больший диапазон звучания, чем полагают современники, и сфера его воздействия значительно шире и универсальней. И даже те, кто ничего не знают о подлинных замыслах автора и не подозревают о существовании Бердичевского и Бреннера, прочтут этот рассказ с большим интересом, ибо в нем нашли своеобразное отражение некоторые общечеловеческие проблемы нашего времени, насыщенные парадоксами и противоречиями. Это не рассказ для беглого, поверхностного чтения. Тут есть над чем подумать и поразмыслить. Например, оказывается, самое удобное и безопасное место для человека на земле, это... дом прокаженных: “Когда ты живешь среди нас, — говорит один из них, — ты в полной безопасности. Можешь не опасаться ни людей, ни хищников и не должен заботиться о пропитании”. А если так, то вполне закономерно звучат слова главного героя, когда он перед входом в этот страшный дом декларирует: “Мое время только сейчас начинается... Вы раскроете мне ворота в рай — введете меня в ваш дом...”

Подобных парадоксов в рассказе много, и они наводят на размышления.

Потрясает жестокий обычай, существовавший в легендарной Гумлидате, — отбирать у женщины новорожденного, если не известно, кто отец, и отдавать младенца на воспитание самке хищного зверя, а женщину заставлять вскармливать грудью звереныша... Вызывает удивление дикий осел — онагр, щеголяющий в драгоценном нагруднике первосвященника. Омерзительна любовь дегенерата Нахальона и ненавидящей его Шлюхен. И хотя все это (и многое другое) происходило тысячи лет назад в несуществующей Гумлидате, вдумчивый читатель будет мысленно не раз возвращаться в наш двадцатый век, даже если ученые мужи, вроде профессоров Имярека, Имябрета и Имябреха будут доказывать, что все это — лишь далекая история, не имеющая отношения к современности...

Стремясь донести до читателя прежде всего сатирически-пародийные тенденции рассказа, наиболее, по его мнению, актуальные и общедоступные, переводчик позволил себе "переводить" также некоторые имена собственные: действующих лиц, богов и географических мест — прием, возможно, спорный, но в данном случае, думается, вполне оправданный.

Надолго врезается в память светлый образ Тхилы из одноименного рассказа. Эта беззаветно верующая женщина, на долю которой выпали тягчайшие испытания, до конца дней своих сохранила неиссякаемую доброту и человечность, любовь к людям, стремление помогать бедным, больным, старикам, детям, всем несчастным и обездоленным. Страдания не сломили, не согнули, не озлобили ее, напротив, она как бы излучает свет и тепло. Ее неизбывный жизнеутверждающий оптимизм проступает еще ярче на фоне вечных брызжаний старой меркантильной раввинши. В этом рассказе проявилось также незаурядное композиционное мастерство Агнона, сумевшего сжато рассказать о столь многом, на что другому автору понадобилось бы сотни страниц.

Для широкой публики сочинения Агнона на иврите издаются обычно в восьми томах, каждый из которых в три-четыре раза объемистей данного сборника. Таким образом, каждый, кто прочтет эту книгу, совершит лишь первое, самое общее и, возможно, поверхностное знакомство с его творчеством — многогранным и глубоким. Более полное представление о нем могут дать его романы и новые сборники рассказов, и мы надеемся, что в недалеком будущем они появятся в русском переводе.

В заключение еще одно замечание о переводах. Всякое истинно художественное произведение, на наш взгляд, непереводаемо по существу, в особенности такие произведения, которые предельно насыщены образами из несколько обособленной культуры трехтысячелетней давности и проникнуты почерпнутыми из нее ассоциациями. Даже на иврите стиль Агнона исключительно своеобразен. В предлагаемых читателю переводах сделана попытка передать это своеобразие, и если она удалась даже частично, — переводчики будут удовлетворены. Читающий Агнона не на иврите, а в переводе на другой язык, вынужден довольствоваться положением узников в знаменитой пещере "Республики" Платона: перед их взорами проходит не само бытие, а лишь тень, которую оно бросает на стену пещеры...

Совсем недавно
(Главы из романа)

КНИГА ПЕРВАЯ

СТРАНА ОБЕТОВАННАЯ

Глава первая: На земле израильской

1

Стоял Ицхак на земле Израиля, которую всю жизнь свою вождедел узреть. Под ногами его — скалы израильские, над головой горит солнце израильское; дома Яффы всплывают и высятся над морем, как величавые, ветром гонимые, облака, а море то отступает от города, то вновь наступает на него, и все же море не поглощает город, а город не пьет морской воды. Час, два назад был еще Ицхак в море, а вот теперь стоит уже на суше. Час, два назад вдыхал он в себя чужеземный воздух, а вот теперь дышит он воздухом земли израильской. Не успели мысли его проясниться, как окружили его лодочники и потребовали денег. Ицхак вынул кошелек и заплатил. Они попросили набавку. Ицхак добавил, но они не угомонились и потребовали еще чаевых — бакшиш.

Как только он избавился от арабов, подошел какой-то еврей, взял пожитки Ицхака и повел его по улицам и переулкам, по дворам и закоулкам. Ветвистые деревья тянутся ввысь, какая-то странная скотина жует жвачку, и люди с тюрбанами на головах издают непонятные звуки. Солнце пылает сверху, а песок обжигает снизу. И весь он — словно пламенем охвачен. Горло охрипло, язык раскален, губы иссушены, а все тело — сосуд, наполненный потом.

Вдруг подул легкий ветерок — и Ицхак ожил, и все вокруг ожило. Но как неожиданно появилось это дуновение, так же внезапно оно исчезло. И вновь окутан он горящим покрывалом и погружен в кипя-

щий котел. Он присматривается ко всему — и диву дается. Между тем спутник провел Ицхака через какой-то двор, и они вошли в темный дом, наполненный мешками, узлами, манатками, свертками, корзинами, ящиками, корюками, и сказал:

— Вот уже накрывают на стол и скоро позовут обедать.

Ицхак стал нащупывать рекомендательные письма, полученные во Львове, чтобы показать хозяину, что тот в нем не ошибся.

И действительно, хозяин в нем не ошибся, но он ошибся в хозяине. Это был заезжий дом, а хозяин — трактирщик, все старания которого только и были направлены к тому, чтобы содрать побольше за стол и ночлег. Если бы Ицхак пошел с теми людьми, что приставали к нему на пароходе, он бы не должен был валяться в этой ночлежке, где пища была тощая, а клопы жирные, и они сосали его кровь ночью так же, как хозяин высасывал из него деньги днем.

Впрочем, возможно, что и те, что приставали к нему на пароходе, тоже были трактирщики, и их любовь была не столько к нему, сколько к его деньгам. Как бы то ни было, Ицхак все принимал смиренно и не роптал на судьбу. "Бедь я же все равно выхожу завтра в поле, и к чему мне деньги, привезенные из изгнания; какая разница, много ли, мало ли взяли с меня".

Весь тот день и последующую ночь Ицхак провел в этой ночлежке. Пил много, спал мало и ждал рассвета, чтобы пойти в поселение.

Утром, как только рассвело, собрался он в путь, но хозяин остановил его.

— Сначала позавтракай, а потом уж иди.

Ицхак позавтракал и опять уж было отправился, но хозяин вдруг спросил:

— Куда ты?

— В Цетах-Тикву, — ответил Ицхак.

— Телега туда уже ушла, — сказал хозяин.

Ицхак решил ехать в Ришон-Лецион.

— Сегодня нет туда телеги.

Ицхак назвал другое поселение.

— На него напали арабы и разрушили его.

И какое бы место тот не указывал, хозяин находил повод удержать Ицхака. В ту пору заезжий дом был пуст, гостей в нем не было, и если уж случался какой-нибудь постоялец, хозяин задерживал его до тех пор, пока не кончались у того деньги.

Раскусил Ицхак хозяина и пошел разыскивать телегу.

Ходит Ицхак в поисках телеги, а ноги его на каждом шагу вязнут в песке. В том самом яффском песке, который неизменно подступает, чтобы поглотить тебя. Не успеешь встать, как он рассыпается и нога опускается как в дыру.

Солнце неумолимо пекло и обжигало голову. Глаза его наполнились соленой водой, а огонь лизал и кипятил ее. Одежда отяжелела, ботинки раскалились, как угли. Глаженная рубаша, которую он надел в честь прибытия в страну, распласталась на нем, как вымоченная маца, а из-под шапки катились на лицо капли соленой росы.

Затемненные изнутри дома были разбросаны по песку, который засыпал пороги и терся о стены. Закрытые ставни окон блестели на солнце. Никаких признаков жизни, и лишь обильные лужи зловонных помоев свидетельствовали о том, что это жилые дома.

Так бродил Ицхак по яффской пустыне. На земле нет людей, а в небе нет птиц. Одно лишь солнце стоит между землей и небом, как существо, не терпящее никого другого. Если он не будет сожжен в огне, то несомненно растворится в поту.

Вот уже он перестал ощущать свою одежду и обувь, слившись с ними в одно целое. Наконец лишился он и ощущения самого себя, как бы отделившись от себя.

Милостью Бога Ицхак не потерял сознания. Он запомнил дорогу, по которой шел, и знал, что может вернуться в заезжий дом, но, скрепя сердце, настоял на своем решении и не вернулся.

“Еще сегодня доберусь до селения, — говорил он

себе, — пойду в лес, усядусь под деревом, и никакому солнцу не добраться до меня“. Богатое воображение было у Ицхака, потому он и представлял себе, что поселенцы посадили для себя леса, чтобы сидеть там в тени.

Через некоторое время вышел Ицхак из песчаной пустыни и оказался в населенном пункте. Навьюченные верблюды, ослы и мулы стояли так, будто вся эта ноша не на них нагружена. Рядом с ними сидело несколько арабов с длинными, разноцветными трубками во рту и с поднятыми к небу глазами. Тут же стояло несколько евреев, которые вели с этими арабами замысловатые словесные поединки.

Встретился Ицхаку молодой парень.

— Не соблаговолите ли вы поведать мне, — обратился Ицхак к нему на своем книжном, вычурном иврите, — где могу я достать телегу, едущую в одно из селений Израиля?

Парень приветствовал его теплым рукопожатием.

— Новичек... Новичек? — спросил он.

Ицхак скромно кивнул головой:

— Я прибыл вчера, а ныне желаю идти в Петах-Тикву или Ришон-Лецион. Ведомо ли вам, где я смогу достать телегу?

— Видите ли вы этот ряд зеленых деревьев? — ответил парень, нарочито утрируя ашкеназийское произношение, на котором говорил Ицхак. — Коли так, то поверните в сторону этих самых зеленых деревьев, и там вы найдете желанные вам телеги — и те, что отправляются в Пейсах-Тикву, и те, что в Рехойвойс и те, что в Ришон-Лецион и во все другие поселения наших братьев, сынов Израиля, осевших на Святой Земле в стране обетованной.

Хотя он явно посмеивался над Ицхаком, подражая его стилю и произношению, между ними завязалась беседа, а через некоторое время оба они зашли в кафе выпить лимонада.

Войдя в кафе, они увидели группу притихших парней, небрежно сидевших за столом. Они посмотрели на Ицхака усталым взглядом. Один из них протянул

Ицхаку руку и, поздоровавшись, промолвил: “новичек”. Ицхак ответил ему приветствием.

— Вчера. — признался он, — я сподобился при-
быть в нашу страну.

Обмахиваясь шапкой, как веером, он прибавил:

— Жарко, жарко здесь.

— Июнь еще не прошел, — воскликнул один из
группы, — а ему уже жарко.

Другой взгляделся в костюм Ицхака и заметил:

— Солнце пламенеет от таких патриотов, как ты.

Ицхак заказал лимонад себе, своему спутнику
и его товарищам.

Пил, пил, но жажду не утолил. Как только входит
вода в горло, она тут же выступает на лице.

Держал Ицхак стакан и вытирал пот, вытирал
пот и снова пил. А вода сперва кажется кисло-сладкой,
она как будто промывает внутренности, но потом
ощущаешь неприятный вкус во рту. Ребята заказали
себе черный кофе, чтобы смыть этот вкус.

Один из них спросил Ицхака:

— Что нового на белом свете?

Для Ицхака весь свет сошелся на земле Израиля,
поэтому он ответил:

— Я новичек в стране и еще ничего не слышал.
Наоборот, может быть, именно от тебя я смогу услы-
шать, что нового в стране?

— Новости хочется тебе услышать? — отозвался
один из компании. — Так вот, послушай: это место,
например, что оно собой представляет? Кофейню, не
так ли? А тот, кто с тобой беседует в данный момент,
кто он? Палестинский рабочий, не так ли? А что за
день сегодня? День, как все дни, не так ли? С какой же
статьи рабочий сидит в кафе в будний день? Дело
в том, что он обошел всех эфенди в еврейских поселе-
ниях Палестины и не нашел работы. Почему так?
Потому, что работу их выполняют арабы. Ежели так,
то почему он не идет работать на стройку? Ведь еврей-
ская школа строится в Яффе на деньги еврейского
филантропа при содействии Одесского палестинофиль-
ского комитета, для чего, несомненно, требуются рабо-

чие руки. Но, видишь ли ты, загвоздка в том, что заведующие стройкой отделяются от нас, они говорят, что уже сдали работу подрядчикам, а подрядчики стараются от нас избавиться, потому что им удобнее работать с чужими, чей труд обходится дешевле. А для того, чтобы люди не говорили, что они отдаляют нас от себя потому, что, по их расчетам, труд наш дает меньше прибыли, они распускают сплетни, будто мы не умеем работать. Мало им того, что они лишают нас заработка, они же еще клеветают на нас. Чего глазеешь? Человеческой речи не понимаешь, что ли?

Ицхак понимал и в то же время не понимал. Понимал, что строят еврейскую школу, но не понимал истории с подрядчиками. Понимал, что этот парень обошел все поселения, но не понимал того, что он так и не нашел себе ничего. Почему же он не понимал? Ведь он знал иврит. Однако у этого парня было сефардское произношение, и он пересыпал свою речь русскими и арабскими ругательствами и новыми словами на иврите, изобретенными здесь, в стране. Все же Ицхак наслаждался и этими словами, ибо произнесены они были на иврите в стране Израиля.

Еще один отозвался и заговорил:

— В наших национальных учреждениях чиновники получают губернаторские оклады, а на нас они сетуют, когда мы требуем два или три бишлика в день. Ведь они не умнее нас, да вот умудрились назначить себя опекунами ишува, засели в конторах и пишут меморандумы, в то время как мы тянем лямку, и все шишки валяются на нас.

— Что вы его пугаете! — воскликнул третий парень, указывая на Ицхака.

— А по-твоему, я должен сочинить для него идиллию о палестинской жизни, что-ли? — спросил тот, кто первый заговорил. — Это дело я оставляю туристам и поэтам, а вас хочу спросить: разве только на вашу долю выпали мытарства? Ведь есть тут люди, прибывшие до нас, и если кто-либо станет пересказывать их испытания, ему всей жизни не хватит.

Приехали они в землю пустынную, где свирепствует лихорадка, рыщут разбойники, господствуют несправедливые законы и правят злые владыки. Выстроили они себе дома — пришли жестокие чиновники и разрушили их. Засеяли поля — пришли соседи и подожгли их. Обратили они в бегство поджигателей, а те завопили перед властями: евреи, мол, нападают на нас. И если уцелела часть урожая с прошлого года, то не знали, как с ней быть: оставить ли для того, чтобы сеять на следующий год, или же подкупить ею чиновников, чтобы не судили кривдой. А что было спасено от людей, то было отнято у них волею Божьей. Но они не отчаялись, прошли через все мытарства, страданиями своими питали корни еврейских поселений и превратили пустынные земли Палестины в дома, виноградники и поля.

Описав их мытарства, рассказчик стал говорить об их героизме. К нему присоединились его товарищи, и каждый из них внес в повествование свою лепту.

Так сидели они и рассказывали о горестях и о подвигах, о тех, кто в долинах, и о тех, кто в горах; о тех, кто на песках, и о тех, кто на болотах; о тех, кто поедает плоды своих полей, и о тех, кого поедает земля невзгодами и тяжким трудом. Земля наша невелика, но обильна горестями и невзгодами.

И если уж речь зашла о поселениях, то стали говорить и об их основателях и зачинателях и, рассказывая о них, парни сами удивлялись, как это они не замечали до сих пор подвижничества этих людей.

То был великий час для Ицхака. Вот сидит он в обществе рабочих страны Израиля и внимает их рассказам о строительстве земли израильской. Земля эта может быть обретаема только страданиями, и лишь тот, кому дорога она и кто готов безропотно принять на себя муки за нее, удостаивается воочию узреть ее возрождение.

Тем временем вся компания проголодалась. Один из парней заявил:

— Пора обедать.

Кто имел бишлик или полбишлика, стал сообра-

жать, стоит ли ему истратить его на обед или на ужин, а тот, у кого не было за душой ни гроша, не тяготился такого рода размышлениями. Трудно было Ицхаку покинуть эту компанию, и он пригласил всех закусить вместе с ним. Вообще-то ему надо бы было идти в одно из поселений, но он решил, что с ними стоит и прогулять один денек.

Разом уселись за стол и поели все вместе. Они — досыта, а он, непривычный к новым блюдам, ел мало, да и то, что съел, не совсем пришлось ему по вкусу. Когда кончили есть и пить, Ицхак заплатил за всех. Как тяжела палестинская монета и сколько видов у нее! Франки и меджиды, бишлики и митлики. Если положить все монеты на одну чашу весов, а все блюда на другую, перевес был бы, несомненно, на стороне монет.

Глава вторая, в которой кое о чем рассказывается, но больше скрывается

1

Наконец-то он добрался до поселения. Кто в силах описать радость Ицхака, удостоившегося увидеть построенные дома израильские, окруженные полями, виноградниками, оливковыми рощами и цитрусовыми насаждениями! Те самые поля и виноградники, оливковые рощи и цитрусовые насаждения, которые столь часто видел он в мечтах, теперь сподобился он узреть наяву. В тот момент был Ицхак подобен жениху, готовому идти под венец, как только явится шафер.

Зашел Ицхак к одному крестьянину наняться к нему рабочим. Хозяин сидел на застекленной веранде и пил чай. Солнце застряло в стеклах, деревья в саду помахивали своими тенями, как веером, и видно было, что великий покой царит в душе крестьянина и растилается над его столом. Он откусил кусочек сахару и, посасывая, стал запивать его чаем, дружелюбно поглядывая на Ицхака. Ицхак поздоровался с ним. Хозяин ответил ему приветствием.

— Новичек, новичек, — проговорил он, смакуя это слово, как хозяин, довольный своим гостем.

— Вот уже два дня, — скромно начал Ицхак, — как я удостоился прибыть в страну Израиля для того, чтобы обрабатывать ее землю. Может быть, у вас имеется для меня работа в поле, в винограднике или на цитрусовой плантации?

Хозяин пососал сахар, который был у него во рту, глотнул слегка из стакана и спокойно заявил:

— Тебя уже опередили другие.

Ицхак позавидовал другим, опередившим его в работе, и пожалел себя за то, что так задержался по вине хозяина гостиницы. Наконец, стряхнув с себя зависть и огорчение, он сказал самому себе: “У этого не нашлось для меня работы — у другого найдется. Как другие добились, так добьюсь и я”. Он попрощался с хозяином и пошел дальше.

По дороге пришло ему в голову, что он не повел себя с хозяином должным образом. Пожалуй, следовало бы посидеть с ним, быть приветливее, ведь тот принял его дружелюбно и был готов даже взять на работу, если бы другие не опередили его. Подумав, однако, решил он, что крестьянин не станет обижаться, зная, как ему не терпится получить работу.

Зашел Ицхак и к его соседу. Этот уже не принял его приветливо и не глядел на него дружелюбно. Стыдно рассказывать: он даже не ответил на приветствие Ицхака. Не стал Ицхак осуждать его. Может быть, с ним стряслась беда и ему не до Ицхака.

Начал он подбирать слова утешения, но тот гневно взглянул на него и сказал что-то непонятное по-русски. Появилась жена крестьянина.

— Может быть, ты потрудишься обратиться к нашему соседу? — сказала она, указывая налево.

Ицхак извинился за то, что беспокоит ее и супруга, а она печально покачала головой, выражая сочувствие еврейским юношам, обивающим пороги крестьян в поисках работы. Попрощавшись с ней, Ицхак отправился к следующему соседу.

Он поправил свой галстук, помахал шапкой перед

лицом, словно веером, и постучал в дверь. Ответа не было. Снова постучал и снова никто не отозвался. Обошел вокруг дома и нашел еще один вход. Опять постучался, но и здесь ему не открыли. Подтянувшись на руках, он заглянул в окно. Комната была пуста. Он заглянул в другое окно. Послышалось какое-то движение, и он увидел, как мыши скребутся в доме. Удивительное дело! Дом пуст, жильцов нет, а соседи не знают об этом.

Пошел в другой дом, расположенный среди цветов и деревьев, окруженный железной оградой, украшенной медными цветами. У ворот сада висел колокольчик. Но Ицхаку не пришлось звонить, объявляя о своем приходе, так как ворота оказались открытыми. Он пошаркал ботинками, поправил галстук, поднялся по каменным ступенькам и вошел в красивый коридор, наполненный красивыми вещами. Таких красивых вещей и такого дома никогда Ицхак не видел в своем городе. Сердце его наполнилось гордостью за своего собрата еврея, но сам он почувствовал себя ничтожным, как это бывает с маленькими людьми, очутившимися в барском доме.

Вдруг увидел Ицхак какого-то парня, который стоял в коридоре, как нищий. Его одежда и сандалии свидетельствовали о том, что он рабочий, но трудно было себе представить, что кто-то из еврейских рабочих Палестины может быть так плохо одет. Как бы то ни было, Ицхак снял свою шапку и так же, как этот парень, держал ее в руках.

Из внутренней комнаты послышалась речь на непонятном Ицхаку языке, хоть он и знал, что это французский. Открылась дверь, и вышла нарядно одетая госпожа, нарумяненная и надушенная. Закрыв за собою дверь, она промолвила что-то на непонятном Ицхаку языке, хоть он и знал, что это русский. Затем она сразу же вернулась в комнату и снова закрыла за собой дверь. Парень обратился к Ицхаку:

— Тебе нечего ждать, — сказал он. — В ее ответе мне содержится ответ и на твой вопрос.

Вникнув в слова парня, Ицхак понял, что ему

на самом деле здесь нечего делать, и надо уходить отсюда.

Парень снял сандалии, взял их в руки и вышел из дому. Ицхак последовал за ним. Оба они спустились по каменным ступенькам и закрыли за собой дверь. Зазвенел колокольчик. Ицхак опустил глаза и увидел, что спутник его шагает босой. Ноги Ицхака сжались в его ботинках, словно проколотые шипами. А парень плюнул и спросил:

— Чай ты пил?

Ицхак удивленно посмотрел на него: при чем тут чай? Усталый, он продолжал следовать за своим спутником, который ступал молча, держа в руке сандалии.

2

Солнце зашло и окаймило поселение золотым огнем. Улицы стали наполняться стариками и мальчиками, женщинами и девочками. Старики шли молиться, дети шли встречать дилижанс, возвращавшийся из города, а женщины шли встречать своих мужей, возвращавшихся в дилижансе. Были и такие, что просто вышли на улицу. Некоторые судачили о том, что творится в поселении, а другие мерили свою тень.

Тишь и покой царили над всей деревней, и какая-то негреющая теплота, словно шевелясь, подымалась из земли.

Воздух был насыщен ароматом, исходившим от деревьев сверху и от кустов снизу, а закат окутал ореолом сияния лица людей, и все они стали приветливее друг к другу. Внезапно разверзлась земля и толпа арабов запрудила улицу. Шли они группами в три человека, и за каждой тройкой следовал еще один — четвертый. Мигом наполнилось все поселение арабами, и сразу же евреи оказались в нем незаметным меньшинством. Тревога охватила Ицхака, словно он очутился на ярмарке иноверцев, где нет ни одного еврея. Но спутник его положил ему руку на плечо:

— Видишь, сколько народу? Все это рабочие, которые работают у наших крестьян. Смотри, какую

пыль подняли. Давай, дружок, прополощем горло стаканчиком чаю!

Пошли. Не раз останавливались по дороге, но все же дошли до окраины поселения, где находилась одна из развалин, оставшихся от первых построенных домов.

Спутник Ицхака обошел ее вокруг и вошел с ним в комнату, в которой все стены были в трещинах, потолок обветшал, пол был наполовину земляной, наполовину из камней, а в дверях зияли два отверстия для света. Положил хозяин Ицхаку руку на плечо и сказал:

— Мой дом — твой дом, — и, усадив его на кровать, добавил. — Сейчас будем пить чай.

Выйдя на улицу, он вернулся с водой из бачка, взял еще в руки чайник и керосинку. Поставил чайник на керосинку и зажег фитиль. Комната чуть осветилась. Хозяин расстелил журнал “Гапоэль гацаир”^{*} на ящике, поставленном на попу, как бы покрывая стол скатертью, и дружелюбно взглянул на Ицхака. Положив хлеб, маслины и помидоры, он сказал:

— Бери, ешь!

Никогда в своей жизни не был Ицхак нахлебником и ни разу не ел маслин и помидоров. Он даже не знал, что помидоры съедобны. В его местечке их называли дикими яблоками, и цивилизованные люди к ним не прикасались. А вот теперь он ни с того, ни с сего, оказался нахлебником, и перед ним лежат помидоры. Тут уж голод поднял свой голос: “Ешь!”. Взял он ломоть хлеба и две-три маслины — ведь древле славилась страна отцов своими маслинами, — но от помидоров отказался. Отведав маслину, он поморщился. Хозяин улыбнулся.

— Как ты сегодня морщишься от них, так завтра будешь им рад. Возьми помидоры и ешь.

Ицхак взял ломтик помидора, съел кусочек, а остальную часть оставил, как бы говоря: “уж увольте, ради Бога, от такого удовольствия”. Новый товарищ поглядел на него и сказал:

* “Молодой рабочий”.

— Если ты хочешь жить на нашей земле, ты должен есть все, что приведется. Поддай стакан, я налью тебе чаю.

Ицхак подал стакан, и хозяин налил ему чаю, который показался ему вкуснее всех напитков на свете. По правде говоря, Ицхак не очень был привычен к напиткам, но из всех тех, что он пил до сих пор, этот чай полюбился ему больше всего.

Напившись, он задумался, глядя на хозяина. “Как верно я ответил на пароходе тому старику, который спросил, есть ли у меня родственники в стране Израиля: все сыны Израиля — товарищи, а тем более на земле Израиля“. Близкий товарищ лучше далекого родича. Ведь среди всех своих родственников он не нашел ни одного друга, пусть даже друга наполовину. Всех он восстановил против себя своей приверженностью к сионизму, а разногласия во взглядах приводят к отчуждению.

Среди родственников Ицхака были и богобоязненные, и просвещенные. Богобоязненные смотрели на него, как на сретика, а просвещенные — как на фанатика. Одни отдалили Ицхака от себя из-за его якобы вольнодумства, другие же сами отдалились из-за его непомерной, по их мнению, верности иудаизму. И еще были среди его родичей и такие, кто видел в нем бездельника, который палец о палец не ударит, чтобы заработать деньги. Товарищи по хедеру и ешиботу тоже не сближались к ним. Богатые сынки — из-за того, что он беден, а бедные — из-за того, что завидовали ему, ибо благодаря своей преданности сионизму он стал выше их. Короче говоря, до тех пор, пока Ицхак не прибыл в страну, не мог он найти себе друга, а как только прибыл — сразу нашел.

Найденного друга звали Рабиновичем. Кстати, из каждых десяти русских евреев девять зовутся Рабиновичами. В городке Ицхака не было человека по фамилии Рабинович. Имя это было знакомо Ицхаку из книг и из газет, так как многие известные писатели и сионисты носили его. Этот Рабинович полюбился ему как сам по себе, так и благодаря своей фамилии.

— Хочешь еще пить? — спросил Рабинович Ицхака. — Нет? Так потуши, пожалуйста, керосинку и зажжем лампу.

Как только он зажег лампу, в комнату сразу влетели комары и прочая крылатая нечисть, перелетавшая с места на место, с лица хозяина на лицо гостя и с лица гостя на лицо хозяина. Ицхак сутулился, а хозяин подпрыгнул и своей сандалией убил ползавшего на стене скорпиона.

— Это мои обычные гости, — пояснил он, выбросив его. — Отчего ты так дрожишь? Теперь поговорим о твоих делах. Итак, ты ведь из Галиции? Скажи мне, почему твои земляки ленятся ехать в Палестину? Может быть, они ждут, пока император Франц-Иосиф соблаговолит привезти их сюда в золотых вагонах? По-моему, кроме рабби Беньямина и доктора Тонна, мне никого не приводилось видеть здесь из Галиции. Ты из того же города? Нет? Но статьи рабби Беньямина тебе знакомы?

3

Послышался стук в дверь, и зашел какой-то парень. Он поздоровался с хозяином и удивленно посмотрел на гостя. Рабинович сказал:

— Имею честь представить тебе нашего нового гостя... Ох, забыл спросить, как зовут... Будем звать его товарищем по несчастью.

Парень протянул руку Ицхаку, и, поздоровавшись с ним, заявил:

— А я брат по горю.

И чтобы Ицхак не подумал, что он скрывает от него свое имя, он повторил еще раз:

— В самом деле так меня зовут: брат по горю.

Брата по горю звали Горишкиным, ибо в любое место, куда бы товарищи его ни приходили искать работу, если они ее не находили, они натыкались на Горишкина. Не было такой работы в поле, в винограднике или на апельсиновой плантации, где бы он ни работал и с которой его бы не вытеснили арабы.

Лишь одно единственное рабочее место арабы оставили ему: винный погреб. Поэтому он собирался отправиться в Ришон-Лецкон или в Зихрон-Иаков, — авось там найдется для него дело.

Рабинович пощупал чайник и убедился, что он еще горячий. Взял стакан, наполнил его и сказал:

— Ты, наверное, не ужинал. Бери, ешь.

— Дай мне сначала вспомнить, — сказал Горишкин, — когда я в последний раз ужинал.

— Сначала поужинай, — ответил Рабинович, — а уж потом займемся историей вопроса... Вот тебе хлеб, вот маслины, а вот помидоры. Положи сахар в стакан и услаждай себе жизнь.

Горишкин отрезал большой ломоть и стал поедать его с аппетитом, услаждая свою трапезу сладким чаем. На помидоры смотрел он глазами голодного человека, глядящего на яства.

— Возьми помидор, — сказал Рабинович, — и приправь им свой хлеб.

Горишкин спросил:

— Откуда у тебя такие хорошие плоды?

Рабинович улыбнулся:

— Из того места, откуда все помидоры берутся. Из арабских огородов.

Горишкин взял помидор, погладил его глазами и сказал:

— Удовольствие смотреть на них, просто удовольствие.

Он впился в помидор зубами и слизнул его сок с усов.

— Ты все еще жалуешься на наших крестьян? — спросил его Рабинович.

Горишкин удивленно взглянул на него, а Рабинович продолжал:

— Мы должны быть благодарны им за то, что они не принимают нас на работу и, таким образом, дают возможность наслаждаться помидорами и мне, и тебе.

— Коли нет работы, — спросил Горишкин, — откуда берутся деньги? А если нет денег, то где взять помидоры?

— Когда у меня есть работа, нет времени бегать за помидорами. Ведь наши крестьяне в Иудее не выращивают овощей, а ждут, пока не принесут их арабы, как они приносят птицу и яйца. Но все это арабы привозят тогда, когда рабочие на работе и не могут их встречать и покупать помидоры. И я вынужден жевать сухой хлеб с высохшей селедкой, от которой меня воротит. А зайти в закусочную и заказать себе горячее блюдо не могу, потому что ее хозяин требует денег, которые я задолжал.

Рабинович покрутил кончик усов, стал напевать на мотив “Ду шенес медхен”^{*} и продолжал:

— А ты, дурачина, спрашиваешь, как и почему? Если бы крестьяне давали мне работу, у меня не было бы времени покупать помидоры. А когда я вот так, как теперь, без работы, я могу покупать их, сколько влезет.

Покончив с едой и питьем, Горишкин вновь заговорил о земле и о работе, о крестьянах и о рабочих, пока не дошел до истории о том, как крестьяне задумали пригласить рабочих из Египта. Мало того, что они наводнили поселения арабскими рабочими, им еще захотелось добавить к ним египтян и поставить евреев под угрозу иноверцев.

Рабинович знал, что Горишкин помнит, почему крестьяне раздумали брать египетских рабочих, но не прерывал его, чтобы дать ему возможность излить свой гнев. Горишкин это почувствовал. Он переменял тон и сказал:

— Надо сказать к чести “Гапоэль гацаир”, что он предупреждал об этой опасности.

И хотя Горишкин принадлежал к партии Поалей-Цион и имел ряд претензий к Гапоэль гацаир из-за того, что в этой партии, на его взгляд, слишком уж преобладает духовное начало, он считал нужным похвалить ее за то, что она вовремя предотвратила эту опасность. И вот уже комитет поселения выпустил циркуляр, опровергающий всю эту затею. Все, прав-

^{*} “Ты красивая девушка” (немецк.).

да, знают, где истина, но все же в этом опровержении есть некоторая доля пользы. Пусть знают, что произвол отнюдь не всемогущ.

Рабинович сидел и улыбался. Казалось, он улыбается тому, что его товарищ считает, будто комитет поселения испугался статьи в газете, а крестьяне испугались циркуляра. А на самом деле он насмеялся над собой и над своими товарищами, все еще не утратившими свою наивность.

— Что ты смеешься? — спросил его Горишкин.

— Если бы у меня было, чем заплатить за проезд, я бы поехал в Иерусалим и передал свою лопату в музей "Бецалель", — ответил Рабинович и снова улыбнулся. Но грустное выражение его лица свидетельствовало о том, что он далеко не в веселом настроении.

4

Час приближался к полуночи, и глаза Ицхака стали смыкаться. Хозяин заметил, что его клонит ко сну, и начал обсуждать с Горишкиным вопрос о том, куда уложить гостя, так как кровать Рабиновича была слишком узка для двоих. Но даже если бы он постелил себе на полу и предоставил бы свою кровать гостю, тот вряд ли нашел бы себе покой в ней, ибо кровать эта распадалась на части, и лежавший на ней произвольно сползал с нее. Стали перечислять имена некоторых товарищей: учителя, дом которого постоянно открыт для гостей, рабочих, которых отвезли в яффский госпиталь и чьи кровати пусты, готовые принять новых гостей. Вдруг Рабинович хлопнул себя по лбу:

— Ведь Яркони выехал вчера за границу, и комната его еще не сдана. Давай, приведем туда нашего гостя, пусть спит себе на приличной кровати в красивой комнате. Яркони ведь сын богатых родителей, и квартира его лучше всех других квартир наших друзей.

Хозяин потушил лампу и повел Ицхака. Все трое отправились в поселение. Дома прятались среди дере-

вьев — фруктовых и иньк, — а между деревьями были проложены трубы для орошения насаждений. В воздухе стоял аромат яровых хлебов, а из окружающего поселение арабских деревень исходили запахи выжженной полыни и сухого навоза. То раздавался вой шакалов, то доносилось мычание из коровника. Порою слышен был рев дикого зверя, порой — голоса домашних животных, и все время слышалось журчание текущей по трубам воды, орошающей землю и выращивающей все эти деревья.

Вся деревня была погружена в сон. Кто спал на ватных матрацах, а кто на соломенных, кто сном довольства, а кто сном труженика. Жители деревни не занимались политикой да и ничем другим, что не касалось их. Каждый был занят своим делом, и в часы сна — спали, в часы работы — работали. Споров и раздоров там не было — разве что маленькие ссоры, происходящие всюду и везде, где живут люди. Бывало, иерусалимские религиозные фанатики пытались раскинуть свои сети в деревне, и нашлись скандалисты, которые напали на них. Но всякая ссора пресекалась в самом начале, ибо земля не допускает, чтобы обрабатывающие ее занимались пустяками.

Около двух тысяч евреев жило в ту пору там. Владельцы полей и виноградников кормились от урожая гроздьев и злаков, а владельцы плантаций кормились плодами своих насаждений. Кто оставлял свои поля невозделанными, нанимался на работу к другим или сдавал внаем свою скотину. У кого были деньги, тот жил на эти деньги, а кто знал ремесло, тот им и кормился. Из тех, кто осел на земле, некоторые сами ее обрабатывали, а иные сдавали. Было там еще тридцать-сорок лавочек, и хозяева их кормились чем Бог пошлет, в зависимости от времени и места.

Друзья вошли в комнату Яркони. Она была больше комнаты Рабиновича, на ее стенах висели картины из французских журналов, но все же она не стоила того, чтобы ее так расхваливали. Товарищи посидели с Ицхаком, чтобы ему легче было привыкнуть к ново-

му месту. Они рассматривали картины, а затем снова заговорили обо всем, что служило обычно темой их разговоров. И в ту ночь узнал Ицхак то, чего не знал всю свою жизнь. Все годы земля Израиля представлялась ему чем-то цельным и неделимым, а в ту ночь узнал он, что она расчленена на множество частей.

Лег Ицхак на кровать рабочего и накрылся его одеялом; кровать была сколочена из ящиков, в которых развозили бидоны с керосином, и устлана соломой и мякиной.

Усталый от дневных походов, Ицхак уснул, как только лег, но проснулся, как только уснул. То будило его жужжание комаров, устроивших на его лице пирушку, то он просыпался от мерзкого скреба мышей, бегавших по комнате. Стал он хлопать себя по лицу и размахивать ботинком, пока не ослабели его руки, и он снова заснул. Тогда приснились ему кошмары, и, испугавшись, он стал ждать рассвета.

Как только засветил день, напал на него сон, и он задремал. Но тут заревели все ослы, приведенные арабами в деревню, и закудахтали все курицы, принесенные ими для продажи. Ицхак натянул на голову одеяло. Если бы одеяло не было дырявым, возможно, он бы спасся от этих голосов, но одеяло было дырявое, и голоса проникали в его уши и пронзали его слух. Вдруг комната наполнилась лучами солнца, и все они сошлись на его глазах и стали колоть их. Так и повертелся он с боку на бок на кровати, пока не пришел Рабинович и сказал:

— Подымайся! Пойдем, посмотрим, может, найдется для нас работа.

Глава третья: На рабочем рынке

1

Так пошли двое наших товарищей — Ицхак Кумер и Иедидья Рабинович — наниматься на работу. Воздух свеж, земля не очень жестка и не искромсана,

деревья сверкают каплями росы, и приятный запах идет от них из конца в конец селения. Небо, вначале совсем белое, постепенно синело и нагревалось, и разные пичужки летали высоко по поднебесью и пели. Ицхак забыл все свои мытарства; надежды и упования снова веселили его душу.

Ицхак и его товарищ прибыли на базар, куда обычно приходят крестьяне нанимать рабочих. Толпы арабов стекались туда с шумом и воплями, наподобие врагов, осаждающих город. Но орудия труда за их плечами указывали на то, что не на войну явились они, а на работу.

Съезжившись в своих разодранных одеждах, стояло несколько наших товарищей. Каждый из них держал в руках корзину, а в ней по полковриги хлеба и по два-три огурца. Некоторым, казалось, все уже было безразлично, у других страх и надежда мелькали в грустных глазах. Страх, что арабы опередят их, надежда — найти дневной заработок.

Небо посинело, солнце припекало сильней. Птички все еще пели, но голосом усталым и изможденным, а мухи, комары и другие насекомые с жужжанием налетали на зеленый гной в глазах арабов и на корзины с едой в руках парней. Потом они поменялись местами — те, что облепили гноящиеся глаза, перелетели на еду, а те, что облепили еду, сели на гноящиеся глаза.

Вот появился грузный Виктор, чье сердце и тело покрыто жиром. Он сидит на ржущей Фатьме, верной красавице-кобыле, равной которой по уму и красоте нет во всей деревне. На голове у Виктора тропический шлем, прикрывающий его жирные глазки так, что от них остаются лишь смеющиеся щелки. Одет он в полотняный костюм, а в руке держит кожаную плетку. Она сама собой выпрямляется, и тень ее раскачивается в стороны; ветер бежит от нее в испуге и издает звук вроде вздоха человека, получившего удар. Но мудрая красавица Фатьма не двигается с места. Ведает она помыслы своего хозяина и знает, что не к ней относятся его жесты, а к этим странным

существом, забывающим сегодня, что было вчера. Уже предвкушает она удовольствие, когда хозяин ее скажет этим босякам: "Да разве вы не видите, что нет мне нужды в вас?" И они будут стоять, пристыженные и опозоренные, как стояли вчера и в предыдущие дни.

Пришел Нахум Теплицкий — низенький человек, голова втянута в плечи, а зелененькие глазки слезяться, ибо не может он глядеть на свет. Жмурит один глаз и открывает другой. Сдавил коленками осла и злобно и завистливо кусает иссохшие губы. Злился он, так как ненавидел этих босяков, считающих себя солью земли, и завидовал этому толстяку, умеющему обходиться с ними. Когда-то и Нахум числился босяком и, как один из них, выходил на базар наниматься рабочим. Но вдруг брат его матери, некий Спокойный, получил в наследство землю и сделал его надсмотрщиком. Теперь разъезжает себе Нахум Теплицкий верхом на осле, держит плетъ в руках, кричит "ялла", и многие из наших товарищей страшатся его голоса.

За ним появились еще двое верхом на мулах. В руках у них были плети с заплатами. А заплаты были не потому, что они изодрались от ветхости, а потому, что уж слишком усердно пользовались ими их обладатели, упражняясь в новом деле. Стоят четверо работодателей, из которых один — представитель старого иерусалимского сиониста, а три остальных представляют самих себя; напротив стоят наши товарищи и глядят в ожидании, что их наймут рабочими, и они заработают на хлеб насущный.

Стоит красавица Фатма и думает: Скотина эта, прибывшая вместе с хозяевами, разве она знает, что здесь происходит?" Но мулы, хотя и наделил их Бог тонким слухом, не тронулись с места, будто и не слышали. Длинноухий осел тоже не шевельнулся, словно уши его сотворены для бездействия. Но на самом деле ничего от них не ускользнуло. Осел в то время такую думал думу: "По правде говоря, подлец этот, что сидит верхом на мне, достоин того, чтобы я его сбросил, но, если я его сброшу здесь, он упадет на рыхлую землю,

а это не стоит тех побоев, которые я получу от него. Лучше вооружусь терпением, и когда мы дойдем до скалистых мест, тогда я его и сброшу. Но опасаясь, что он никогда не получит заслуженного наказания, ибо, как только мы доходим до каменистой почвы, он слезает и идет пешком...”

С отчаяния осел закричал и стал выпускать воздух. Улыбнулись мулы и разразились пометом.

Виктор бросал взгляды по сторонам, и, казалось, благосклонно посмотрел на наших товарищей, намереваясь нанять их. Но все кажущееся проходит, как тень, не обладая свойством истинного бытия, и разлетается, как пыль, на которой не посеять человеку семена хлеба насущного.

Пока они тешили себя воображаемой надеждой, Виктор взмахнул плеткой, со свистом рассекая воздух. Он повернулся к арабам и нанял некоторых из них. Из оставшихся после Виктора кое-кого нанял Нахум, а из тех, кого оставил Нахум, наняли другие.

Пристыженные и опозоренные, стояли мы на земле нашей, которую приехали обрабатывать и охранять. И если вчера и позавчера, не найдя себе дела, мы еще надеялись прокормить свои голодные души работой, которую мы — много ли, мало ли — достаем сегодня, то теперь мы снова оказались ни с чем. От обиды и стыда обессилили мы и потеряли дар речи.

Но товарищи наши, которым сперва было все безразлично, вдруг встрепенулись, в их глазах зажегся огонь, и мы в испуге подались назад. Они бросили свои корзины на землю, возвращая ей ее жалкие плоды, и сурово заговорили с властелинами труда. Но рабочие были настолько взволнованы, что у них заплетался язык, и из всех их речей нельзя было понять ни слова. Тогда они беспомощно развели руками и промолвили: “несчастные”, подразумевая не себя, а тех, кто, владея землей, отдалял нас от нее. Попляснул на них Виктор, и желтые жирные глазки его прыгали в орбитах, как яйца на сковородке. Хотел он ответить нашим друзьям так же невнятно и косноязычно, как они говорили ему, но врожденная лень замедлила дви-

жения его тяжелого языка. Он лихо приподнял свою плетку и сказал:

— Разве вы не видите? Ведь у меня уже достаточно рабочих.

То же самое сказали трое его друзей. И в самом деле, у них уже было вполне достаточно рабочих: от всех собравшихся арабов не осталось ни одного. Крассавица Фатьма заржала от удовольствия, увидев лицо Ицхака. И если бы не чрезмерная гордость, характерная для нее, она бы приобщила и других четвероногих к своей радости. Одним глазом она смотрела на них, как бы допытываясь, почувствовали ли эти выючные животные то, что здесь произошло.

Вскоре опустел весь рынок, и не осталось на нем никого, кроме наших товарищей, покрытых поднятой ушедшими арабами пылью.

Солнце начало накалять небо и припекать землю. Деревья набрались такого жару, который расслабляет сердце и все тело. Травы полевые начали засыхать, а цветы в садах поникли головками. Иссохшие стебли ползучего кустарника лопались, издавая унылый треск.

Наши товарищи стояли и глядели на землю, вобравшую в себя звук шагов их соперников по работе. Наконец, прикрыв глаза от раскаленного солнца, они вернулись к себе домой, к своим кроватям. Рабинович положил руку на плечо Ицхака и сказал:

— Пойдем пить чай.

2

Пошли два наших друга, Ицхак Кумер и Иедиद्या Рабинович, пить чай. По дороге присоединились к ним еще несколько товарищей, ибо у каждого из них чего-то не хватало для пригостования чая: у одного — фитиля к керосинке, у другого — сахара, а у третьего — чая к сахару. А вот Рабинович обладал всем этим и готов был делить хлеб-соль с каждым, кто нуждается, точно так же, как каждый из них рад был бы поделиться с другими, если бы только у него было чем.

Поставил Рабинович чайник на огонь и разостлал газету "Гапоэль гацаир" на перевернутом ящике, как расстилают на столе скатерть. Он вытащил хлеб, маслины и помидоры, и все, у кого в корзине был кусок хлеба или огурец, выложили каждый свое. Сидели наши друзья, кто на кровати хозяина, кто на земле, ели и пили. Насытившись, стали снова судачить о том, что все время тревожило их: как, мол, образумить крестьян и доказать им, какой ущерб они наносят сами себе и всему еврейскому народу, вытесняя наших рабочих. Это приводит к тому, что арабы шествуют, высоко подняв голову, а евреи ходят, низко понурив ее.

Следует предположить, что рабочие, рассуждая о поведении крестьян, говорили об этом озлобленно. "Ведь мы приехали строить страну, а нам не дают возможности существовать из-за мнимой выгоды работодателей, которые ошибочно считают, что еврейский труд дорог, а арабский дешев, не понимая, что весь заработок еврейского рабочего к ним же возвращается. Ведь он снимает комнату в поселении и покупает в их магазинах все, что ему нужно. А Махмуд и Ахмед берут свой заработок из поселения, а тратят его в арабских городах, и каждая копейка, выходящая из рук евреев, к ним уже не возвращается".

Судя по этим делам, рабочие и впрямь должны были обсуждать все это со злобой. На самом же деле они говорили об этом как человек, любящий своего друга и думающий о том, как бы навести его на путь истины. Они не заботились о себе, а только и думали, что о пользе общества.

Мало того: они все еще призывали своих товарищей из диаспоры приехать в страну и работать с ними на родной земле. И призыв их не остался безответным. Были такие, что отозвались и приехали. И если даже некоторые вернулись, то другие обосновались в ней. И если даже время изменило им, они не изменили родине. Благодаря им прибавились у нас деревни и поселения. Наши труженики окрепли телом и духом, речь на иврите зазвучала на устах людей,

и была возвращена нам доля былого величия нашего. Это их заслуга, что первые репатрианты, прибывшие в страну, подняли голову, а за ними стали ходить, гордо выпрямившись, все те, кто последовали их примеру и явились к нам сюда.

3

То, что случилось с нашими товарищами в тот день, произошло с ними и на следующий день. Куда бы они ни приходили просить работу, нигде работы не было. Кто отказывал им из жалости, а кто и по другим причинам. Из жалости отказывали из соображения, что не подобает еврею эксплуатировать еврея. Отказывали и потому, что в ту пору было еще распространено мнение, будто еврейский рабочий дорог и строптив. И те, и другие считали, что молодые рабочие отошли от религии и не выполняют ее заветов, поэтому следует сторониться их, чтобы дети не последовали их примеру. И если какой-нибудь крестьянин давал работу еврейскому рабочему, на него смотрели как на чудака, а на рабочего, которому удалось получить работу у еврея, — как на счастливого.

Ходит себе Ицхак по стране Израиля среди полей и виноградников, принадлежащих сынам Израиля. На полях растет пшеница, а в виноградниках зреет виноград. И там, и здесь полно арабов, а хозяин поля или виноградника разъезжает среди них на кобыле; если не он сам, то кто-либо от его имени. То он покрикивает на них, то шутит с ними, а они с готовностью принимают его замечания и смеются его шуткам. Для трапез же и молитвы они делают особые перерывы, причем и то, и другое совершают они долго и обстоятельно. Знают арабы, что земля не выскользнет из под их ног и не убежит. Не в пример им Ицхак ходит без дела, не ест, не веселится — гроши его кончились, а делать ему нечего. Хорошо было Ицхаку, пока жил он в своем городе. Не было у него там ни земли, ни виноградника, но зато и голодать не приходилось.

Правда, сама по себе жизнь в изгнании дело презренное, но именно в этом презрении к галуту и в стремлении к земле отцов находил он некоторое утешение. Окружающие подтрунивали над ним, но беззлбно. И когда они спрашивали: “Ведь ты же даром тратишь время, чем же ты, милый, кормишься?“, — он отвечал: “Гам, в отчизне вожделенной, на родных полях и нивах, я привольно, беззаботно буду за сохой ходить“. И вот теперь, когда он на земле израильской и бродит по поселениям, ни единая душа не зовет его к себе: “Заходи в мой виноградник, вскопай мою плантацию, помогли мне поработать в моем поле“. Еще в яффской гостинице почувствовал Ицхак, что не все здесь гладко, но тогда он думал, что по городским жителям нельзя судить деревенских. Теперь невольно он убедился, что, по существу, нет разницы между ними. Те приближают к себе людей ради своей выгоды, а эти удаляют их от себя ради той же выгоды.

От безделья, тоски и недоедания силы покинули Ицхака, и он заболел. Один день лежит он в постели, в жару и в бреду, а на другой идет искать работу, но напрасно. Сначала карманы его были полны франков, меджид и бишликов, а теперь нет у него даже одного митлика на хинин. А только вздумается ему одолжить у кого-нибудь пару монеток, как тут же появляется кто-либо и просит займы у него, у Ицхака.

Разгуливая по поселению, Ицхак не раз видел тех, кто в свое время приехал в страну с пустыми руками, а ныне владеют полями и виноградниками, и дома их полны всякого добра. Если все это было даровано им в награду за их преданность заветам нашего Священного Писания и заповедям, то как объяснить, например, что и билуйцы сидят на своих землях, хотя они свободомыслящие? “Как видно, дело в том, что они из России, а я из Галиции, выходцы из которой основали всего одно маленькое поселение, да и оно было потом разрушено“. Но ведь были здесь и выходцы из России, изнемогавшие от голода и безработицы, однако Ицхак, погруженный в свое горе, не замечал горестей и бед этих людей.

Когда он ходил по селениям и видел поля, покрытые терновником, из сердца его вырывался вопль: “Неужели от хозяев бы убыло, если бы они позвали меня выкорчевать терновник с их полей?”

Никто, однако, не взял Ицхака... Поэтому он валялся в развалюхе у Рабиновича и у товарищей Рабиновича, ел то, что они ели, и голодал, как голодали они, и вместе с ними мечтал отправиться в Галилею, ибо жители Галилеи — это не то, что жители Иудеи. Жители Иудеи предпочитали арабского рабочего еврейскому даже там, где еврей работал лучше араба, и только потому, что еврей не давал поработить себя. Галилеяне же брали на работу еврея и обращались с ним по-братски. В свое время и жители Иудеи нанимали евреев, особенно на такие работы, как подрезание ветвей и прививки, для которых требуется знание и умение. Но как только арабы научились выполнять эти работы, евреям стали отказывать и брали арабов, которые беспрекословно подчинялись.

Итак, наши друзья мечтали о поездке в Галилею, но, не имея средств на дорогу, сидели на месте и обивали пороги крестьян. Наконец Ицхак взвалил на плечи свои пожитки и пошел в Яффу.

4

Вернувшись в Яффу, он стал таскаться по разным конторам, канцеляриям и учреждениям. Куда бы он ни обращался, — везде встречал группы больных, измученных, изнемогающих от усталости людей, которых трясет лихорадка, и какой-то измазанной чернилами секретарь рычит им в ответ, а что — не разберешь.

Почему же Ицхак не шел к руководителям еврейского населения Палестины? Ведь видные деятели Галиции снабдили его рекомендательными письмами к своим друзьям. Оказалось, что польза от них не покрывает даже ущерб, нанесенного ботинкам этим хождением. Как-то раз подошел он к господину Шишкановичу — одному из важных шишек, речи ко-

того гремели на всю страну. Тот стоял перед картой Палестины, рядом с делегатом какой-то сионистской организации в диаспоре, и показывал ему, какие земли выгодно взять и что можно с ними делать. Стыдно было Ицхаку надоедать своими мелочами человеку, занимающемуся делами первостепенной важности. Стоял он, смотрел и восторгался. Это тебе не раскрашенный план поселения, а карта всей страны Израиля. Вот стоит человек и распоряжается, как будто вся земля в его владении, и он может делить ее, как ему заблагорассудится. Господин Шишканович оторвал глаза от карты и увидел Ицхака. Ицхак вытащил письма и показал их ему. Шишканович взглянул на них и сказал: "Ну, итак..." Казалось, он говорит: "Ты, конечно, восхищаешься ими, а я — ни капли; поверь мне, нечем восхищаться". Он ни о чем не спросил Ицхака и ничего не сказал ему.

С тех пор Ицхак не был ни у одного из общественных деятелей. Вполне возможно, что кто-либо из них готов был помочь ему советом, но известно, что обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду.

От нечего делать отправился Ицхак в порт. Пароходы приходят и уходят. Грузчики и носильщики нагружают и разгружают разные товары, которых нам никогда в жизни и видеть не приходилось. Весь порт гудит и грохочет. Торговцы и агенты, чиновники и комивояжеры шумят и мечутся, а продавцы напитков, нагруженные кувшинами и стаканами, звонко побрякивают своей посудой, и запах кофе проникает Ицхаку во внутренности. Его воображение разыгралось и стал он грезить наяву. Вот чудится ему, что пришел он сюда по неотложному делу. Как это случилось? Благодаря коммерсанту, объезжающему разные страны, который пригласил его к себе на работу. Вот и странствуют они по морским путям и путешествуют по далеким островам. Вдруг разразилась страшная буря, и корабль пошел ко дну. Ицхак прыгнул в море, взвалил хозяина своего на плечи и доплыл с ним до берега. Хозяин привел его к себе домой и молвит: "Ты спас меня от смерти, а я спасу тебя от голода". Немедленно

приказал он своим счетоводам честно оценить все имеющееся у него имущество и тут же поделил его с Ицхаком поровну. И то, что выпало на долю Ицхака, во много раз превышало стоимость всего, что имели палестинские общественные деятели вместе взятые.

Бродит Ицхак по порту, и грезы его бредут с ним вместе. Но чудеса свершаются не с каждым, и во всяком случае не с такими, как Ицхак, которого Всевышний не считает достойным даже такого чуда, какое не нарушает законов природы. Еще более усталый и измученный возвращался Ицхак из порта, еле волоча ноги по кривым и острым камням мостовой и по жгучему песку, в котором ступни жарятся, как на углях. Грезы покинули его, не имея желаний, видимо, следовать за ним в места труднодоступные.

Вдруг он увидел пещеру, одну из тех, которые служили ночлегом для первых еврейских иммигрантов, приехавших в страну отцов. Долгие годы была Яффа в развалинах, и ни у кого из новоприбывших не было возможности найти в ней жилье. Все, кто приезжали в ту пору для того, чтобы быть похороненными в Иерусалиме, ночевали в пещерах и нишах до тех пор, пока не находили верблюда, на котором они могли бы добраться до Святого города.

Спустился Ицхак в пещеру, чтобы охладить изнывающую от зноя душу и усыпить немного голод. Но голод не давал ему сомкнуть глаз. Лежал он с открытыми глазами и говорил себе: "До чего горе омрачает ум! Лежит человек и глупеет от своих собственных причудливых фантазий". В тот момент он самому себе показался таким незначительным, что и думать перестал о себе. И как только он перестал думать о себе, немедленно сподобился стать вместилищем дум о людях праведных и честных, как, например, богобоязненный прадед его реб Юдл и его три скромные дочери-девственницы, которых, как только невзгоды и муки стали непосильными, привел Всевышний к пещере, где они обнаружили клад. Ицхак приподнял голову, осмотрелся и сказал: "Здесь клада нет". И тут же он стал посмеиваться над самим собой за то,

что ожидал найти здесь кошелек с деньгами или хотя бы две-три медяшки на ломоть хлеба.

Вряд ли стоит говорить о том, что он ничего не нашел; стоит, однако, упомянуть, что было ему очень грустно от того, что он ничего не нашел, ибо не было у него ни малейшего шанса заработать естественным путем хотя бы грош для покупки еды, которая спасла бы его от голода.

Глава четвертая: Ремесло

I

Не про вас будь сказано, друзья: Ицхак был на грани полного отчаяния, но Бог пожалел его и ниспослал ему избавление — неожиданно, нежданно.

Как-то раз бродил Ицхак по городу. Дойдя до немецкого квартала, он зашел отдохнуть в парк имени барона Ротшильда. Напал на него сон, и он задремал. Проснувшись, он увидел, что перед ним стоит старик. В руке у него зеленый горшок, а в горшке малярная кисть. Обращается к нему старик и говорит:

— Возьми инструменты и кончай работу.

Как видно, старик нанял рабочих и по ошибке принял Ицхака за одного из них. Возможно, однако, что он по виду Ицхака заключил, что тот заснул, так как был голоден. Пожалел его старик и дал ему работу, чтобы Ицхак мог заработать на кусок хлеба и не умер с голоду.

Взял Ицхак инструменты и последовал за стариком. Тот показал ему забор для покраски. Сам того не сознавая, вошел Ицхак в работу. Работа была нетрудная и не было надобности в предварительной подготовке. Все, что требовалось от него, — это обмакнуть кисть в краску и провести ею по прутьям забора. Вечером заплатил ему наниматель два бишлика и сказал:

— Если увижу, что ты не ленишься, дам тебе больше.

Радость Ицхака не поддается описанию. Сколько дней и недель метался он, чтобы заработать пару грошей на чай и на хлеб, и вдруг выпали ему на долю целых два бишлика одновременно, да к тому же обещано, что завтра он получит еще больше.

Принес себе Ицхак хлеба и молока. Макал хлеб в молоко и ел, чего не делал ни вчера, ни долгое время до того, обходясь черствым хлебом и водой, так как не имел за душой лишнего гроша на покупку чая. Поев досыта, разлегся он на постели, готовясь к завтрашнему дню.

И явился к нему тот, кто вызывает у нас тревожные думы, и начал одолевать его своими опасениями. “Дай Бог, — говорит, — чтобы ты завтра не понапрасну вышел на работу; ведь может случиться, что хозяин увидит, что ты вовсе не маляр, и отошлет тебя, да еще укорять будет. И дай Бог, чтобы твоя сегодняшняя трапеза была не последней“. Все же Ицхак не отчаялся: “Тот, кто сотворил со мной чудо сегодня и ниспослал мне два бишлика зараз, сотворит чудо и завтра и не позволит мне умереть с голоду“. Он подтянул выше одеяло, сомкнул глаза и заснул.

Сладок был его сон. С тех пор как он прибыл в страну, он ни разу не имел такого удовольствия от сна, как в эту ночь. Кровать тепло и доброжелательно приютила его. Даже вечные враги его — мухи и комары — помирились с ним и дали ему выспаться.

2

Несмотря на то, что Ицхак не учился никакому ремеслу, он умел выполнять различные работы, как большинство людей из бедноты, которые собственно-ручно чинят и красят свои вещи, и таким образом учатся различным ремеслам. Тем более Ицхак, который был самым старшим в семье и мастерил для своих братьев волчки на Хануку, колотушки на Пурим, луки на Лаг-Баомер и разные другие безделушки, а порой и другие нужные вещи. Да и те дни, когда он помогал помощнику повара, пошли на пользу, ибо

тогда он научился держать кисть в руках. Теперь, получив работу маляра, он старался выполнить ее как можно лучше.

Старик заметил это, и Ицхак полюбился ему. Когда кончилась работа у него, он привел его к своему соседу, а когда и у соседа кончилась работа, привел его к другому.

Если нет сегодня работы, она найдется завтра. С тех пор Ицхаку перестал угрожать голод.

3

Уплатил Ицхак долги и стал сам себе хозяином. Покупал вещи, где хотел, обедал и ужинал, где вздумается. О том, что он снял себе комнату, и говорить не приходится. Ведь с того дня, как Ицхак вернулся в Яффу, он ночевал в коридоре у одного врача, который уехал за границу лечиться и оставил сторожа стеречь его дом. Сторож этот разрешил Ицхаку ночевать вместе с ним. Между тем врач умер, вещи его распродали, дом сдали и сторожа уволили. Остался Ицхак без крова и стал ходить от товарища к товарищу, из комнаты в комнату, пока не снял собственную комнату. Купил он себе легкую одежду, легкую шапку, легкие ботинки, которые ступают по песку, но не вязнут в нем. Теперь уже он не утруждает больше солнце тяжелой одеждой и не парится в ней. Земля Израиля дает новую душу народу, но одежду должен каждый кроить себе по своему телу.

Увидев его в новом платье, люди стали забывать прозвище "новичек", приставшее к нему с первого дня его пребывания в стране, а в ту пору оно означало то же самое, что неудачник. Да и страна стала для него более просторной. Прежде стыдился он своих кредиторов и обходил их лавки. Ныне же, когда Ицхак никому не должен ни гроша, он разгуливает везде, где только вздумает.

И еще кое-что сделал Ицхак: купил себе спиртовку, чайник, стаканы, горшки, кастрюли, ложки, хлеба, чая и маслин. Стал сам варить и не тратил времени

в столовках: удовольствия от них мало, а денег тра-
тишь много. Дни проводил он вне дома, а к ночи воз-
вращался в свою комнату, зажигал лампу, черпал себе
воду из ведра и ставил чайник на огонь. А потом пил
чай и ел все, что хотел: и хлеб, и помидоры, и мас-
лины. Он уже научился ценить целебные свойства
маслин: они насыщают сердце и предохраняют от
лихорадки. Бывало, приходит к нему гость из города
или из поселения, сидят они вместе, пьют чай, а порой
не откажутся порадовать себя и стаканчиком вина.
Напрасно вы думаете, что вино предназначено только
богатым; случается, и простой рабочий балуется им.
Поев и выпив вдвоем, Ицхак стелет кровать товарищу.

Сама по себе страна Израиля настолько благопри-
ятствует каждому в ней живущему, что нет у них на-
добности в излишних удобствах. Крыша над головой,
каменная мостовая под ногой — больше ему ничего
и не надо. Положит он одежду под голову, укроется
чем попало, и сон тут как тут — сам собой приходит.

КНИГА ВТОРАЯ

ИЕРУСАЛИМ

Глава четырнадцатая: Уличная собака

1

Как-то раз работал Ицхак в квартале Реховот,
называемом Бухарским кварталом. Богатый еврей из
Бухары прибыл в Иерусалим помолиться Богу на Свя-
тых местах и поклониться могилам праотцев и пра-
матерей наших, любимых и почитаемых Всевышним.
Когда пришло время возвращаться домой, больно ста-
ло ему оставлять святой город Иерусалим, ибо каж-
дый, кто покидает его, чувствует, будто он погружа-
ется в ад. Но дел у него было дома много, и жена,

сыновья и дочери, — все уговаривали вернуться. А он подумал про себя: “Ведь я только-что приехал и уже должен уезжать? Я подобен летающей в воздухе птице, тень которой летает вместе с ней”.

Так откладывал еврей из Бухары свой отъезд от одного парохода на другой и оставался еще на день, еще на неделю, а по ночам не мог уснуть из-за огорчения, что ему придется покинуть Иерусалим. Сжалились над ним небеса и внушили ему мысль увековечить свою память перед Богом. А так как Бог любит бедняков, вселил Он в сердце его намерение построить дом призрения для бедных. Построил он каменное здание и прикрепил к нему мраморную плиту, на которой было написано, что дом этот всецело посвящен бедноте, и не следует его выкупать до пришествия Мессии.

Ввиду того, что Ицхак Кумер прославился как искусный маляр, краски которого никогда не стираются, богач пригласил его, чтобы выкрасить плиту самыми лучшими и самыми красивыми красками. Не стал он торговаться насчет цены, только бы сделал Ицхак работу как полагается, и не скупился бы на краски. Взял Ицхак свои кисти и стал раскрашивать плиту. Имя благотворителя покрыл золотым цветом, запрет выкупать дом — красным, бедноту — черным, да и другие слова получили каждое свой цвет, так что вся плита возликовала от обилия цветов и красок.

Поглядел Ицхак на дело рук своих и остался доволен. Хорошо мастеру работать у щедрых людей, дающих ему возможность выполнить свое задание честно и добросовестно. И как только собрался он вытереть свои кисти, пробежала мимо уличная собака с короткими ушами, острой мордой, выщипанным хвостом и с шерстью не то белой, не то коричневой, не то желтой — из тех собак, которые бродили по нашей земле еще до того, как англичане вошли в нее. Взял Ицхак одну кисть, сам не зная, намеревается ли он грозить ею собаке или вытереть ее о собачью шерсть.

Собака высунула язык и впилась в него глазами. Нельзя сказать, что она собралась лизнуть кисть —

краски ведь соленые, а собаки не любят соли, — но безусловно ей хотелось, чтобы не вышло так, что человек с кистью протянул свою кисть даром. Рука Ицхака прстерлась сама собой и задрожала. Кисть потянулась к собаке, а собака — к кисти. Ицхак погладил собаку по шерсти, как писарь гладит бумагу перед тем, как начать писать на ней. Вновь обмакнул он кисть и, наклонившись к собаке, вывел на спине ее несколько букв. Нам неизвестно, намеревался ли он написать то, что он написал, или лишь потом показалось ему, что написанные им слова были заранее задуманы. Впрочем, нам нет никакой надобности мучиться этими сомнениями, лучше присмотримся к действиям. Оба они не двинулись с места, пока один из них не закончил выводить на другой тщательно вырисованными буквами слово “собака“. Ицхак похлопал собаку по спине и подумал: “Впредь никто не ошибется, и все будут знать, что ты собака; да и сама ты отныне не будешь забывать этого“.

Приятно было собаке войти в связь с представителем рода человеческого, державшим в руке какое-то орудие, с которого стекали капли жидкости в самый разгар жары, когда землю как бы выскребли, воздух сух и в Иерусалиме нет ни капли влаги. Поэтому неудивительно, что она не двигалась с места и ждала дальнейших капель. Глядевшую на него собаку, Ицхак спросил:

— Чего еще тебе нужно? Хватит того, что я истратил на тебя целую кисть краски.

Собака завиляла хвостом и, фыркнув, залаяла. В лае ее слышалась мольба.

— Ты что, взбесилась, что ли? — усмехнулся Ицхак. — Может быть, тебе хочется, чтобы я испестрил твою спину пятнами или разукрасил золотом твое имя?

Собака приподняла свой мокрый нос и снова фыркнула — на этот раз как бы вполголоса, заискивающе. Руки у Ицхака зачесались, как у мастера перед началом работы. Чтобы избавиться от такого ощущения, он потер руку об одежду, но это не помогло.

Снова обмакнул он кисть и протянул руку. Собака тоже потянулась к нему и стала с любопытством разглядывать кисть. На самом деле это было не любопытство, а вожделение.

Все более и более выгибала она спину вверх, пока между нею и кистью не осталось почти никакого расстояния. И не успокоилась кисть, пока на собачьей спине не оказалась надпись: "Бешеная собака".

Посмотрел Ицхак на собаку и остался доволен. В старину, когда наши законоучители в земле Израиля предавали человека анафеме, они привязывали к хвостам черных собак записки. В них было написано: "Такой-то предан анафеме". Собак рассылали по всему городу предостерегать народ, чтобы он отвернулся от грешника. Но никто до него не писал на собачьей спине. И все же нет ничего нового под солнцем. Что бы человек ни делал и ни вздумал делать впредь, кто-то где-то опередил его, да и того уже опередили. Помнится, в Иерусалиме был случай, когда предали анафеме одного мудреца, попытавшегося исправить свою общину, но не так, как это мыслили себе стражи еврейских законов и традиций. Привели тогда свору собак и написали на их спинах: "Такой-то и такой-то отлучен от синагоги и предан анафеме".

Стал Ицхак глядеть вокруг себя как мастер, удачно завершивший работу над художественным произведением, который оглядывается в надежде, что кто-то заметил это. Но было уже после полудня, в обеденный час, когда даже тот, кому нечего есть, сидит дома, стыдясь показаться на улице. Жаль стало Ицхаку, что мир не видит дела его рук, но тут же утешился тем, что, вероятно, мир еще увидит это в будущем. Он пнул собаку ногой, чтобы та стала бегать по улицам, показывая всему свету его искусство. Собака разинула свою пасть и удивленно поглядела на него: "Как же это так? Ведь только что он был так ласков и вдруг начал пинаться!"

Опустив свой взор, она убедилась, что глаза человека улыбочивые, а ноги сердитые. Разве ноги эти не знают, что он улыбается? Постепенно настроение со-

баки упало, кончик ее носа остыл и хвост опустился. Так и стояла она перед ним, покорная, скромная, с опущенным хвостом. А Ицхак перестал обращать на нее внимание. Он собрал свои инструменты и отправился к заказчику, чтобы получить свою плату, но собака прыгнула и стала тереться у его ног. Он пошел направо — собака за ним, он свернул налево — она за ним, вздымая густую пыль. Ицхак прикрикнул на нее, отгоняя от себя. Он зашагал, и собака стала извиваться между ногами, тянулась мордой к кисти. Наткнувшись на банку с красками, она чуть не опрокинула ее. Ицхак ударил ее ногой, и на морде выступила кровь. Собака громко залаяла, потом завывала, подняла лапы и убежала.

2

Бежала она, сама не зная куда. Но куда бы она ни бежала, везде натыкалась на что-то, что причиняло ей боль. Тут вонзался в нее терн, а там — выступ в стене, здесь — бараний рог, а там — дорожный кол. И вот уж от головы и до когтей лап не осталось на ней ни одного неповрежденного места. Глядела она на все, что причиняло ей страдания, и гневалась, досадовала на себя за то, что покинула место, где жила припеваючи, и отправилась в места, где ждут ее лишь беды и невзгоды. И в собачьем лае слышалась жалоба: “Ох, ох, на себе я испытала справедливость изречения — собака достойна палки, потому она и бита“. Осуждающе посмотрев на себя, она сказала: “Что же ты валяешься здесь, как падаль? Проворней двигай лапами!“ Она приподняла хвост, оторвала лапы от земли и побежала легко и ловко, как бегают собаки, ступающие только на пальцы в отличие от человека или медведя, которые ступают сначала на пятки, а уж потом на пальцы. Так бежала она легко и ловко, пока не добежалась до своего места в квартале Меа-Шеарим.*

* Меа-Шеарим — один из первых кварталов но-

Но как только она добежала до Меа-Шеарим и прыгнула в свою нору в надежде на покой и на отдых после стольких бедствий, весь квартал был потрясен, и все двуногое население — мужчины, женщины и дети — бросились бежать без оглядки. Собака подумала, что все бегут слушать проповедь из уст проповедника-моралиста. А так как бежали все без исключения, она была убеждена, что проповедует сегодня сам рабби Грунем Шви-Мессиян, на проповеди которого сбегается весь Иерусалим, ибо ему доподлинно известно, чем грешен человек и в чем он должен покаяться. Побежала и собака; уж так она создана: увидев, что кто-нибудь бежит, и она сразу же бежит — либо за ними, либо вместе с ними. Но тут она поняла, что ошиблась. Вся эта беготня не имела никакого отношения ни к рабби Грунему и ни к какой-то проповеди вообще. Случилось что-то новое, и ничего подобного доселе не случалось.

Стала она водить носом во все стороны, пытаться разнюхать, в чем дело, но тщетно. Нос ее ничего не распознал. Тогда отважилась она спросить громким лаем: “Куда это вас ноги несут?” Но все, кто слышал ее лай и видел надпись на ее спине, разбежались с отчаянным визгом: “Бешеная собака! Бешеная собака!”

Когда много голосов вопят зараз, трудно их различить, но стоит кому-либо одному завизжать, его сразу слышно. Итак, разнесся визг по всему кварталу, но что случилось — это так и осталось загадкой для собаки. Подумав, она решила подождать, пока люди успокоятся, и тогда задать им вторично свой вопрос.

Между тем она разинула свою пасть чуть ли не до глаз, как бы стараясь помочь им разглядеть все окружающее. И тут лавочники стали бросать в нее железные гири и камни. Увидев это, она решила, что суд прислал своих людей проверить правильность гирь и весов.

вого Иерусалима, в котором и по сей день сосредоточена еврейская религиозная ортодоксия.

“Да разве могу я, — взмолилась она, — проглотить все фальшивые гири, чтобы утаить их от глаз посланцев суда?”

Если бы гири были полновесными, она, несомненно, была бы убита, но Всевышний сжалился над собакой и умалил их вес. Взмолилась собака: “Господи Боже! Дети Твои грешили, а я несу за них наказание”. Пока собака вопила, все мужчины, женщины и дети заперлись в своих домах. Весь Меа-Шеарим опустел, и не осталось на улице ни одного живого существа, кроме нашей собаки.

Вдруг почувствовала она мучительный голод. Весь этот день она ничего не имела во рту, ибо с тех пор, как она вышла из своей норы в поисках пропитания, приключился с ней целый ряд происшествий, которые заставили ее забыть о еде вообще.

Теперь, когда ей нечего было делать, все ее внутренности стали во всеуслышание требовать пищи. Сначала она пыталась перехитрить их и стала глядеть вокруг себя, делая вид, что не знает, откуда доносятся эти голоса. Тут увидела она открытую мясную лавку и лежавшее на полке мясо. И не только мясная лавка была открыта — все лавченки Меа-Шеарим остались открытыми, а на полках лежали разные сорта мяса. И если бы она только захотела, то могла бы наполнить ими свое брюхо, и никто не стал бы мешать ей. Но она была настолько поражена событиями этого дня, что не притронулась ни к мясу, ни к чему-либо другому. И пока внутренности ее дивились тому, что она отказывается от мяса, сама она дивилась всему свету, который столь недавно вдруг взбодоражился и столь внезапно успокоился. Снова глядела она во все четыре стороны и убедилась, что мир совершенно пуст. Лишь изредка человеческий образ выглядывал из того или иного окна. Но стоило ей взглянуть на него, как он сейчас же исчезал. Вдруг послышался звук, напоминающий бой часов. Собака приподняла уши и напрягла слух. По натуре своей любила она вслушиваться в разные звуки, пытаясь таким путем установить время. Стала она считать:

раз, два, три, но вскоре прекратила это занятие и взглянула на небо: звезды и планеты блестели в предназначенных для них испокон веку местах, как каждый вечер, когда евреи идут на вечернюю молитву. Сегодня же никто никуда не шел — ни в синагогу, ни в молельни, ни в те частные дома, где обычно люди собираются на молитву... Подняла собака свою морду к запертым домам и плотно закрытым ставням и завывала протяжным воем. Прекратив на несколько минут свой вой, она стала прислушиваться, нет ли ответа. Нет, никто не отзывался. Не жалея голоса, она завопила снова, но, убедившись, что все напрасно, помахала в отчаянии хвостом и затрусилась по улице.

3

Сначала пошла она вправо от своего хвоста, который в тот момент указывал на Шаарей-Пина.* Понюхав вокруг себя, она вприпрыжку добежала до домов Витенберга. Немного понюхав и здесь, обогнув несколько лачуг, она дошла до Варшавских домов. Оттуда, после очередного обнюхивания, она перенеслась к скалам, что возле Бухарских домов. В тот час сидели там парочками юноши и девушки, как обычно в летние вечера, и говорили друг другу такое, чего даже Адам не говорил Еве в раю. Почувяв человеческий запах, собака с радостью подпрыгнула и остановилась среди людей. От радости голос ее зазвучал громче, и лай разносился от скалы до скалы.

Услышав его, влюбленные тут же забыли о только что данной клятве, что даже смерть не разлучит их. Пальцы молодого человека, вплетенные в пальцы девушки, выскользнули, и кавалеры бросились наутек, ибо уже прошел по городу слух, что по улицам бродит бешеная собака. Парочки разбежались во все стороны, и скалы вновь остались голы, как утесы пустыни — без людей и без любви.

* Здесь и далее — названия старых кварталов Иерусалима вне стен Старого города.

По морде собаки пробежало удивление, а в пасти, казалось, метался вопрос, повисший затем на языке: "Что же это такое? Стоит мне появиться на глаза у людей, как тут же швыряют в меня камни либо бегут без оглядки". Ее начало мучить чувство одиночества. Загрустив, она подняла морду и наострила уши. Не слышно было ни шагов человеческих, ни запаха людского.

Вдруг раздалась какие-то звуки, но они оказались всего-навсего биением ее сердца. Страшная слабость напала на нее и, как бы превратившись в самостоятельное существо, охватила все собачье тело. Наконец, стала она ощущать каждый орган своего тела в отдельности, будто именно он болит. И вновь зароптало все нутро, и снова стал терзать голод. Тут собака решила покинуть скалы и отправиться в Меа-Шеарим.

Все дома этого квартала были заперты, и ни одного живого человека не осталось на улице. Зато все магазины были открыты, а в них были всевозможные съестные припасы.

Отведала собака всего, что лежало перед нею, и наелась досыта. Наполнив брюхо, она вернулась к своей норе. Обойдя ее несколько раз, она зашла вовнутрь и погрузилась в сон.

4

Хорошо спать ночью, в особенности тому, кого преследовали днем, а тем более, когда преследователи спят и твой сон не тревожат.

Прохладный ветерок охлаждает пыл блох и комаров, притупляет их жало. Лежала себе собака в своей норе и плотью своей испытывала то сладкое ощущение, которое приходит, когда рана начинает заживать, и ты нежишься и блаженствуешь, будто кто-то любовно гладит тебя. И все, что произошло с нашей собакой наяву, стало казаться ей сном. От времени до времени она помахивала хвостом, как во сне, и бессмысленно взвизгивала. Но как только наступила вторая треть ночи — пора собачьего лая, — и нашей собаке захо-

телось подняться и лалть, она почувствовала, что тело отяжелело, и она не может встать. Тогда квартал Меа-Шеарим стал закидывать ее тенями до того, что вся она покрылась ими. Из теней выпрыгнул волчий скелет и превратился сначала в шакала, потом в лисицу и наконец в особого рода собаку, подобно которой нет на всем Божьем свете. Шерсть собаки оцетинилась, включая и ту часть спины, на которой маляр написал два слова, коих лучше не упоминать. Тут застучали кости скелета, и череп заскрежетал: "Не бойся, ведь мы твои родители, а ты наше чадо". Не про вас будь сказано — такие жуткие сны. Даже загробная жизнь язычников слаще столь ужасных сновидений.

Сон приходит, сон уходит, а между тем проходит и ночь. Вышла собака из своей норы и стала глядеть во все стороны. В сердце не было радости, на душе было беспокойно. Согнула она свою шею и дотянула голову до хвоста. Хвост как будто бы на месте, но нюхом чует она какой-то непорядок. Вдруг видит она ящички с мясом и рыбой, с овощами и фруктами, и ковриги хлеба лежат, и пирожные, лепешки сдобные, бублики и булки — все это валяется в мусоре. То были самые разнообразные яства, выброшенные лавочниками, которые опасались, что бешеная собака прикасалась к ним ночью и отравила их своей слюной, когда они оставили свои лавченки открытыми и разбежались.

Если бы Господь Бог не задержал прежнюю пищу в ее чреве, она бы и теперь принялась за еду, и никто бы ей не помешал. Начала она расхаживать среди ящичков, как купец, торгующий плодами седьмого года, которые запрещено снимать с полей, и не знала, за что приняться. Наконец решила она взять понемногу из всего, что здесь находится, и принести в свою нору, вырыть еще несколько запасных ям, чтобы в них хранить все съестные припасы, как поступают торговцы фруктами.

Но пока она обдумывала свой план, выступили все жители Меа-Шеарим с оружием в руках — деревянными и каменными, глиняными и стеклянными

сосудами, с горшками и мисками, графинами и кувшинами, ведрами для керосина и печками из глины, негодными подсвечниками, поддельными жемчугами и носовыми кольцами. Все это градом посыпалось на собаку. И каждый, кто не остался охрипшим со вчерашнего вечера, заорал во все горло.

Тут завопила и собака, лаем выражая свое возмущение: "Чего вы хотите от меня? Что я вам сделала плохого?" Так вопила она до тех пор, пока они не разбежались и не спрятались.

Не успела собака дать себе отчет в том, что видели ее глаза и слышали ее уши, как в нее угодил камень. Не успела она разглядеть, откуда он полетел, как на нее обрушился второй камень и третий. Завизжала собака и бросилась бежать. И куда она только не бежала... От Меа-Шеарим — к домам Натана, от домов Натана — к Венгерским домам, от Венгерских домов — к домам Зибенбургера, от домов Зибенбургера — к Сихемским воротам, а от Сихемских ворот — обратно к тем местам, с которыми она издавна свыклась. Так бежала она из квартала в квартал и от подъезда к подъезду до тех пор, пока не добежала до домов крестившегося отступника, по соседству с кварталом Нахалат-Шива. Тут она помочилась и продолжала свой бег.

Ввиду того, что собака побывала в нескольких местах и все же не нашла себе надежного места, мы предполагаем, что она отправилась к Яффским воротам и оказалась затем в Старом городе, окруженном крепостной стеной, но мы не знаем, вошла ли она через ворота, или же проникла через брешь, пробитую в стене властями в честь императора Вильгельма, ибо, когда император Вильгельм посетил Иерусалим, власти пробили в его честь брешь в крепостной стене.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Отрывок из последней главы романа)

В тот день, когда был похоронен Ицхак, небо заволокло тучами, солнце закуталось в облака, подул ветер и принес с собою гром и молнию. От сильного грома содрогнулась твердь небесная и стала источать редкие, теплые капельки. А назавтра тучи рассеялись, засветило солнце, и все мы поняли, что напрасны были наши ожидания. Даже ветры, которые, как мы надеялись, немного освежат нас, не принесли облегчения, ибо были горячими и впивались в тело, как пиявки.

Однако ночью ветры похолодали, и мир стал понемногу остывать. А назавтра показалось солнце, потускневшее и зажатое в облаках. Не успело оно завершить свой путь, как его совсем не стало видно. То самое солнце, что пылающим огнем палило своим сильным жаром, сжигая полевые травы, иссушая деревья, испаряя ручьи и родники, теснилось теперь со всех сторон темными тучами, пока не осталось на небе ни одного уголка, откуда бы его не вытеснили. А когда мы подняли взоры к небесам, чтобы посмотреть, не обманут ли нас тучи, полились благодатные дожди. Совсем недавно молили мы Господа о влаге небесной, и вот уже поем мы ему благодарственные гимны.

И как полились дожди, так уж не переставали они лить ни днем, ни ночью. Журчит вода наверху и внизу, на крышах и под полами. Потоки уносят с собою наши вещи, того и гляди, домишки смоят. Зато водоемы наполняются водой. И вот уже есть у нас вода и для питья, и для варки, и чтобы хлеб испечь и руки помыть.

Шесть-семь дней шел дождь, иногда чуть переставая и вновь возобновляясь. Наконец дожди прекратились, тучи рассеялись и засветило солнышко. А когда мы вышли из дому, то увидели, что земля заигра-

ла ростками и цветочками. И со всех концов страны пришли пастухи со своими стадами, и с насыщенной влагой земли послышалось блеяние коз и овец. Им вторили птицы небесные. И великая радость объяла мир. Не бывало доселе радости такой.

Все деревни, что в Иудее и в Галилее, в изменности и на горах, снимали урожай с полей, и вся страна стала подобной саду Господнему. От каждого кустика и каждой травинки исходил сладкий аромат, а об апельсинах и говорить нечего. Благодатью была вся земля наша, и живущие на ней, казалось, удостоились благословения Божьего.

А вы, наши избранные братья, в Кинерете и в Мерхавье, в Эйн-Ганиме и в Ум-Гуни — она же Дега-ния, — все вы вышли работать в полях и в садах, на ту самую работу, которой не удостоился друг наш Ицхак. Ицхак не удостоился работать на земле, пахать и сеять, но зато он сподобился, как его прадед реб Юдл и некоторые другие благочестивые праведники, быть погребенным в Святой Земле. Пусть же все скорбящие скорбят и об этом мученике, погибшем от несчастного случая. А мы расскажем о делах наших братьев и сестер, сынов вечного народа, которые трудятся на земле Израиля во славу, в честь и во хвалу Господню.

ГОСТЬ НА ОДНУ НОЧЬ

(Главы из романа)

Глава седьмая: Притча и мораль

Вначале я думал, что все местные калеки — жертвы войны. Но Даниэль объяснил мне, что иные, и в том числе он сам, изувечены в погоне за хлебом насущным. Пока он был на фронте, — оставался цел и невредим, но как только пришлось впрягаться в ярмо, чтобы заработать на жизнь, он потерял правую ногу.

Когда после войны он вернулся в свой город, то обнаружил, что остался без крова, что его деревянный дом — это груда пепла и развалин, а на них сидит его жена с детьми и льют горючие слезы, раскаиваясь, что сюда вернулись.

Как только умолкли пушки, народ по простоте душевной подумал, что наступили времена Мессии. Люди валом повалили на насиженные места, и среди них была жена Даниэля с детьми. Они ведь не знали, что Мессия все еще перевязывает и бинтует свои раны, мир еще далек от исцеления, и нет такого места, где не было бы своих особых бед и болячек.

Теперь у Даниэля Баха осталась только одна дочь да еще больной младенец, родившийся уже после войны. Но в тот день, когда он вернулся с фронта, у него были три дочери. Одна из них скончалась вскоре после его возвращения, другая умерла сразу, как только началась эпидемия испанки. Это — не считая сына, которого мать похоронила по дороге, когда они удирали от русских.

Так вот, его жена и дочери сидели голодные, босые и раздетые на пепелище; весь город был разрушен, большинство домов сгорело. вся торговля замерла, средств к жизни не было никаких. Отец его где-то болтался в другом конце страны, от него не было ни слуху ни духу. Наконец он сам объявился — голодный, босой, оборванный, как и все прочие.

Горше всех терзали муки голода Даниэля Баха. Пока он был в армии, император заботился о его довольствии, а если его кормили и не досыта, — страх быть убитым смягчал муки голода. Теперь же человек просыпался голодным, и ночью голод мешал уснуть. Голод наяву и голод во сне...

В городе появились посланцы разных благотворительных обществ. Они кое-как накормили голодных и многим помогли заняться торговыми и прочими делами насущного хлеба ради. В число счастливицов попал и Даниэль, у него появилось свое собственное дело. Понятно, не такое, какое было до войны — скромное, небольшое дельце по продаже мыла.

Мыло стало после войны очень ходким товаром, все вдруг обнаружили, что они перепачканы с ног до головы и захотели хоть немножко почиститься. Даже иноверцы, которые никогда в жизни не видели мыла, — и те стали покупать его.

Дела Даниэля пошли в гору. Он стал прилично зарабатывать. И однажды он подумал: Исав* хочет отмыть до бела руки от крови, которую он пролил во время войны, а я на этом хорошо подзаработаю. И он снизил цену на мыло. Но как только он это сделал — пришел конец его доходам. Настали тяжелые времена, так как товар с трудом расходился, и не было денег, чтобы обернуться. И снова его и домочадцев стал мучить голод, а терзал он пуще прежнего, ибо они уже успели привыкнуть к еде, но есть было нечего. В это время началась первая волна погромов. И снова пришли сюда благотворители и дали пострадавшим денег. Даниэль на эти деньги купил сахарин, который в те дни стал очень выгодным товаром. После войны было очень много диабетиков, которые пили чай и прочие напитки с сахарином и употребляли сла-

* Единоутробный брат праотца Иакова Исав, продавший Иакову за чечевичную похлебку свое первородство, символизирует в еврейском фольклоре низменные инстинкты, насилие и разбой.

дости и кондитерские изделия, приготовленные на сахарине.

Но люди, продававшие сахарин, должны были очень остерегаться, чтобы их не поймали, так как торговля сахарином была государственной монополией, и власти тщательно следили за тем, чтобы никто не покушался на доходы государства. Всякий, у кого есть мозги в черепной коробке, действовал осторожно. Но ведь известно, что голова расположена далеко от ног, тем более у такого высокого и рослого человека, как Даниэль Бах. И случается, что пока ноги успевают осознать то, о чем думает мозг, дело уже сделано... Однажды он на ходу вскочил в поезд, и его правая нога попала под колеса. Поезд мчался, волоча за собой отрезанную ногу, и лишь далеко от станции он отбросил ее в сторону.

Казалось, по закону ему обязаны были уплатить какую-то компенсацию за увечье и инвалидность. дать пособие на лечение, однако ему не только ничего не уплатили, но даже оштрафовали на 600 злотых, так как в чулке на отрезанной ноге нашли крупницы сахараина... А теперь скажите, пожалуйста, как ему жить и чем кормиться? У него дома есть изрядное количество строительного материала, дров для отопления, а жена его — повивальная бабка. Но в настоящее время никто здесь не строит новых домов и никто не топит печей. Зато, когда вырастут те дети, которых приняла его жена, им, несомненно, придется строить себе новые дома, и в них, несомненно, будут печи, которые придется топить, а уж тогда у Даниэля не будет отбоя от клиентов, и деньги к нему потекут рекой. Но вся беда в том, что с тех пор, как народ стал возвращаться с войны, среди евреев стало много закоренелых холостяков, не желающих обзаводиться женой и детьми, и если бы не дочери инородцев, то, вероятно, итскак бы на земле род человеческий. Но дочери необрезанных не нуждаются в акушерках, к их помощи обращаются лишь в самых крайних случаях, когда жизни роженицы или младенца угрожает опасность.

Куда только ни обратишь свой взор — всюду одни

лишь невзгоды или нищета. Есть в городе только одно место, где ты не чувствуешь рядом беды, — это наша старая синагога, ключ от которой находится в моих руках. С тех пор как я это уяснил, я стал проводить там вдвое больше времени, чем раньше. Если прежде я там находился обычно до обеда, то теперь просиживаю несколько часов и в послеобеденное время. Иногда я погружаюсь в изучение наших древних книг, а иногда стою у окна и гляжу на гору, что высится как раз напротив нашей старой синагоги.

Гора эта была некогда вся заселена, там жили носильщики и ремесленники. И была там красивая синагога, которую люди, жившие на горе, построили собственными руками при свете луны, так как днем все они были заняты своей обычной работой в городе. И был там свой постоянный меламед, который аккуратно учил с прихожанами те главы Пятикнижия, которые читаются вслух по субботам, а также "Поучения отцов". Когда началась война, молодые люди погибли на фронте, старики умерли от голода, вдовы и сироты были убиты во время погромов, оставшиеся в живых разбрелись по белу свету, а от синагоги не осталось камня на камне. Одним словом, гора опустела и стало неинтересно глядеть на нее. Иное дело книги. Чем больше их читаешь, тем шире твой кругозор и тем веселее у тебя на душе.

Но я изучаю эти книги вовсе не для того, чтобы расширить свой кругозор или набраться ума и познать сокровенный смысл дел Творца вселенной. Меня можно уподобить человеку, который шел по дороге, а солнце невыносимо жгло голову, камни ранили ноги, дорожная пыль слепила глаза, и все тело изнемогало от усталости. И вдруг он увидел шалаш. Путник в него вошел — сразу перестало жечь голову, камни больше не ранят ног и дорожная пыль не слепит глаз. И так как он изнемогает от усталости, то думает только об отдыхе и ни на что не обращает внимания. И лишь как следует отдохнув, он стал рассматривать шалаш и все, что там было. И если он не принадлежит к числу неблагодарных, то непременно воздаст

хвалу тому, кто приготовил для него этот шалаш и все прочее, что необходимо человеку.

Этим путником был я, а шалашом — наша старая синагога. Я странствовал под палящим солнцем, бродил по камням, в пыли — и неожиданно оказался в синагоге. И так как я не принадлежал к числу неолгодарных, то, естественно, воздаю хвалу Творцу вселенной, славословлю Его имя и разглядываю принадлежности моей обители, то есть книги.

Что в них написано? Всевятыи — благословенно имя Его! — сотворил вселенную по Своей воле, избрал нас из всех народов и дал нам Свое учение, дабы мы знали, как служить Ему. И если мы изучаем Тору и выполняем Его заветы, — ни один народ, ни одно племя не может одолеть нас. Если же мы не соблюдаем Его учения, то даже малая народность может поразить нас. Тора наделяет своих приверженцев всеми добродетелями, делает их справедливыми и превозносит над миром. Но если мы отворачиваем свой взор от Торы, Тора отвращивает свой взор от нас, и мы становимся ниже и согбеннее всех прочих наций.

И почему именно нас избрал Всевятыи и на нас возложил все бремя Торы и ее заповедей? Ведь груз этот нелегок, и выполнять учение Торы трудно. Каждый толкует и объясняет это по-своему, а я хочу выразить свое личное понимание с помощью притчи.

Вот перед вами царский венец, сделанный из золота, драгоценных камней и жемчуга. Пока этот венец покоится на царской голове, — все знают, что это царь. Если же он снял венец со своей головы, — далеко не все знают, что перед ними царь. Может быть, царь не надевает короны, так как она тяжела? Напротив, он охотно носит ее и красуется в ней. И какая царю польза от того, что на голове у него корона, и все превозносят его, оказывают ему почести и кланяются ему? Какая царю выгода от такого почитания? Этого я не знаю. Почему? Потому что я не царь. Но, не будучи царем, я все же царский сын, царский отпрыск из царского рода, и должен был бы знать, что к чему. Но забыл человек и весь народ

Израилев, что он царского рода. А из наших священных книг всем известно, что такое забвение — худшее из всех зол. Что может быть хуже, когда царевич заывает о своем происхождении!

И младшая дочь хозяина нашего заезжего дома забыла, что она — царица, а когда я ей об этом напомнил, то лишь посмеялась надо мной. Эта девица, у которой еще не обсохло материнское молоко на губах, осмелилась выступить против человека, который пытался вразумить ее, и надерзила ему: "О чем вы говорите, — сказала она, — мелете какую-то чепуху..." Я не запомнил подробностей, но общий смысл был мне совершенно ясен.

Однажды поздно вечером я беседовал с ее отцом и почувствовал, что ему как-то не по себе, что-то его грызет. Я уже собирался уходить, но он меня задержал. Он сказал своей дочери, указывая на меня:

— Что ж, послушаем, что скажет нам этот господин.

Девушка подняла свои глаза и посмотрела на меня. А может быть, она просто подняла глаза и глядела мимо, не замечая моего присутствия. Я высказал ей свое мнение. Она скривила личико в гримасе и сказала:

— Почему я должна надеть на себя ярмо, которое носили минувшие поколения? Они шли себе своим путем, а я пойду своим. Что же касается того, о чем говорит этот господин, — будто каждая еврейская девушка должна чувствовать себя царицей, то я думаю, что трудно придумать большую глупость. Сейчас, когда царские короны лежат в музеях, и никто не обращает на них внимания, этот господин утверждает, что каждая еврейская девица обязана мнить себя царской дочкой...

Я, понятно, мог бы ей возразить, но промолчал. Пусть себе думает, что победила меня в споре. Я не знаю женщин, но уверен, что если тебя победила женщина, в конце концов она будет повторять твои же слова.

Я здесь рассказываю о Рахели — младшей дочери

хозяина заезжего двора, хотя это и не имеет прямого отношения к моему повествованию. Не могу сказать, что я ненавижу эту девицу, и нет причин, чтобы она ненавидела меня. В ее глазах я был лишь путником, остановившимся на ночлег. Сегодня он здесь, а завтра будет в другом месте.

Рахель уже давно не девочка, но она еще и не барышня. У нее тонкая шея, высокий лоб и печальные глаза, а на устах всегда блуждает некое подобие улыбки. На первом взгляд может показаться, что она немного дерзка, но опущенная голова свидетельствует о том, что она чем-то удручена и готова подчиниться каждому, кто сильнее ее. И просто удивительно, что цари и министры так мало значат в ее глазах, отца и матери она несколько не боится, а уж о почитании нашего Отца небесного не может быть и речи. Кто же, в таком случае, тот, перед которым она готова покорно склонить свою голову? Частенько она пожимает плечами, будто кто-то к ним прикоснулся, и слегка щурит глаза. Не так, как ее отец, который хочет мысленным взором проследить за событиями минувших дней, а как те, кто пытается проникнуть в день грядущий.

Чего ждет эта девушка? На что надеется? Ведь мир сейчас таков, что от него нельзя ждать ничего хорошего. Люди не принесут ей добра.

Я замкнулся в себе и погрузился в размышления. Не то, чтобы я считал себя лучше других, но мне не хотелось причинить зло той девице. Да, я доволен, что ничего ей не ответил и даже в малой мере не содействовал тому, чтобы она впала в отчаяние.

Взглянув на часы, я сказал, что уже поздно, далеко за полночь, и удалился в свою комнату, намереваясь лечь спать.

Глава восьмая: Отец и сын

Однажды ночью я застал здешнего старого кантора реб Шломо Баха в нашем заезжем дворе. Он

сидел весь согбенный, опираясь на палку. Когда я вошел, он встал и приветливо протянул мне руку. Мы с ним тепло поздоровались.

— Вы еще здесь? — сказал я ему. — А я думал, что вы уже в Эрец Исраэль.

Реб Шломо ответил мне, что он наполовину здесь, наполовину там. Товарищи его убитого арабами сына Иерухама — мир праху его! — уже прислали ему деньги на дорогу. И вот, узнав, что я прибыл "оттуда", он зашел ко мне за добрым советом, как лучше подготовиться к такой поездке.

Я ответил ему, что все делается очень просто. Надо пойти на станцию, дать деньги железнодорожному кассиру, и он выдаст билет. С билетом садятся в поезд и доезжают до Триеста, там же пересаживаются на пароход и после пяти дней пути морем прибывают в Яффу, а это уже Эрец Исраэль.

Пока я рассказывал ему о странствованиях за границей, мне казалось, что он меня почти не слушает. Но стоило мне упомянуть Яффу, как он сразу оживился, вперил в меня свои глаза и попросил рассказать обо всем подробнее.

В это время пришел его сын Даниэль.

— Жаль, сынок, что ты не слышал, о чем рассказывал мне этот господин, — сказал отец.

Даниэль посмотрел на меня с таким выражением, в котором легко можно было прочесть: "Сомневаюсь, чтобы этот господин мог изречь нечто такое, о чем стоит сожалеть, что этого не слышал".

Я сказал:

— Ничего особенного, я только рассказал вашему отцу про дорогу в Эрец Исраэль.

Даниэль подобрал под себя ноги и сказал как-то неопределенно:

— Так, так (мол, заранее можно было предвидеть, что этот господин не сообщит чего-нибудь особенного).

Я посоветовал ему взять листок бумаги и все записать, не надеясь на память, чтобы отец хорошо запомнил предстоящий маршрут и все, что с этим связано.

Записав все с моих слов, Даниэль попросил меня подробней рассказать, как надо добираться из Яффы в Рамат-Рахель — туда, где будет жить отец. Я сказал:

— Когда пароход прибывает, пассажиры пересаживаются в небольшое судно, которое и доставляет всех на берег. Если в это время там окажется какой-нибудь парень из той местности — отлично, если же нет — отец должен приобрести билет на автомобиль, идущий до Иерусалима. В Иерусалиме он должен пересесть в автобус, идущий в Тальпийот. В самом конце Тальпийота он увидит парней и девушек, направляющихся в Рамат-Рахель. Пусть он пойдет с ними и благополучно прибудет на место.

Когда я упомянул Тальпийот, то невольно вспомнил пережитый мною там погром. Арабы начисто опустошили мой дом, не оставив даже подушки, чтобы преклонить голову. В эту минуту я был печален, а реб Шломо радовался. Я печалился, что должен был покинуть это место, а он радовался, что едет туда.

В честь гостей я заказал чай с пирожками, и он, отломив кусочек пирожка, произнес над едой и питьем два кратких благословения. Затем он вынул письмо, которое получил из Рамат-Рахели. Развернув его передо мною, дабы я мог его прочесть, он сам внимательно читал его вместе со мною, хотя, несомненно, знал весь текст наизусть. Затем, сложив листки, положил их во внутренний левый карман, поближе к сердцу, и сказал:

— Значит, я все-таки еду в Эрец Исраэль.

Даниэль кивнул и подтвердил:

— Да, отец, ты едешь в Эрец Исраэль.

Реб Шломо продолжал:

— Насколько мне было бы легче перенести все дорожные тяготы и разлуку, если бы мой сын обещал мне, что пойдет по верному пути.

Даниэль возбужденно вскочил со стула, прижал правую руку к сердцу, левую же поднял вверх и воскликнул, обращаясь ко мне:

— Может быть, я свернул с пути истинного? Нет, это Он свернул не туда, куда надо!

— Успокойся, сын мой! — сказал отец. — Все, что делает Всевышний — благословен Он! — делается только для того, чтобы испытать нас. Если мы это испытание выдерживаем — хорошо, если же нет — Он посылает нам еще более трудное испытание.

— А что, Всесвятый — благословен Он! — разве не видит, — ответил Даниэль, — что люди не в силах выдержать самые первые испытания? Зачем же Он зря себя утруждает, наводя на нас каждый раз новые испытания?

— Вздорные мысли — большая помеха в жизни, — возразил реб Шломо, — но я, сын мой, не хочу сейчас спорить с тобой о разных мыслях и идеях. Единственное, о чем я прошу тебя, — соблюдай Его Закон и заповеди, а уж Он в конце концов очистит душу твою от вздорных мыслей... Мы уже слишком утомили этого господина. Произнесем заключительную молитву о трапезе и пойдем.

Реб Шломо, проведя рукой по бороде, удалил крошки, ополоскал рот последним глотком чаю, произнес благодарственную молитву о трапезе и собрался уходить.

Уже поднявшись с места, он сказал:

— Не полагается хвалить человека в его присутствии, лучше это делать за глаза, но немного сказать все же можно. Мой сын Даниэль всегда был правоверным евреем, из тех, что легкие заветы выполняют так же ревниво, как и трудные. Не так ли, сынок?

— Когда все евреи были правоверными и выполняли все заветы, не задумываясь над их сутью, я был такой, как все.

— А кто требует от тебя, чтобы ты задумывался? — спросил реб Шломо. — Разве это нужно Всевышнему? Он хочет, чтобы ты жил в страхе Божьем и любил Его.

— А за мою любовь Он мне платит ненавистью! — воскликнул Даниэль с особым чувством, и на лице его появилось выражение глубокой печали.

— Ты вспомнил случай с филактериями?* — спросил реб Шломо.

Лицо Даниэля Баха потемнело, лоб его покрылся морщинками. Взглянув на отца, он сказал:

— История с филактериями — одна из многих.

— Это произошло для того, чтобы испытать тебя, — возразил реб Шломо.

— Нет такой напасти и такой беды, которую не объясняли бы все тем же желанием испытать стойкость человека, — сказал Даниэль.

— А ведь сказано: “Люби Господа Бога твоего всей душой”, то есть, даже если он отнимет ее у тебя. Как можно иначе доказать Ему свою преданность? — сказал реб Шломо.

Даниэль, не в силах более сдерживать себя, закричал:

— Да, человек может сам себя расплатать на жертвеннике и жизнь отдать во славу Господню, провозглашая при этом: “Бог един!”, пока не испустит последнее дыхание. Но так можно только раз в жизни. Каждый же день и каждый час распластывать себя на семи жертвенниках, сегодня дать отрубить и сжечь одну часть тела, завтра другую, потом третью — это не каждый может. Я же всего-навсего человек, рожденный женщиной, я только плоть и кровь, и когда плоть моя гниет, а кровь моя источает зловоние, — уста мои не могут произносить слова хвалы Всевышнему, благословен Он! А если я даже выражаю ему свою хвалу и благодарность, — то во славу ли Всевышнего, чтобы консервная банка с гниющим мясом или бурдюк вонючей крови восклицали: “Ты прав во всем, что со мной случилось, а я грешен и виноват!” И, несмотря на это, Он не снимает с человека своей карающей длани и продолжает осыпать его стрелами...

* Филактерии (тефилин) — молитвенные принадлежности в виде двух небольших кубиков с цитатами из Библии внутри. Мужчины накладывают для утренней молитвы эти филактерии на левую руку и на лоб.

— Зачем нам вторгаться в таинства Божьи, которые выше нашего понимания? — спросил реб Шломо.

— На всякую беду, которая сваливается на человека, у тебя всегда наготове изречения наших мудрецов.

Реб Шломо провел рукой по бороде и сказал:

— Напротив, сын мой, нам следует воздать должное нашим древним мудрецам, которые растолковали нам слово Божье и объяснили все события, ибо если бы не они, мы сами должны были бы тяжело трудиться, чтобы все понять. Сейчас, когда они растолковали и объяснили нам каждое слово Священного Писания, нам осталось только служить Творцу, выполняя все Его заповеди и заветы, все, о чем пишет Тора, и не надо терять время на размышления. Особенно, сын мой, человек обязан превозмогать себя тогда, когда должен выполнять те предписания, которые ему даются с трудом, как, например, у тебя с филактериями.

Сын ему ответил:

— Отец мой, благо выполняющему то, что предписано, и благо не выполняющему того, что не предписано.

— К чему это ты? — спросил отец.

— А все к тому же, о чем ты толкуешь, — сказал Даниэль.

— Например?

— Например, о накладывании филактерий. Клянись своею честью, что филактерии я надевать не буду.

— Как же можно клясться не выполнять то, что предписано нам выполнять еще на горе Синай? — спросил реб Шломо.

Тогда уж я вмешался в разговор и спросил Даниэля Баха:

— Почему вы так говорите?

— Э, глупости, — ответил вместо сына реб Шломо. — Тут один случай произошел с ним во время войны. Даниэль вскочил разгневанный со стула и воскликнул:

— И ты называешь это глупостью?

Я спросил:

— Что за случай?

— А вы, господин, сами были на войне? — ответил он вопросом на вопрос.

Я сказал ему, что болел, и врачи нашли меня непригодным к военной службе, так что за императора воевать не пришлось.

— А я ушел на фронт сразу, как только вспыхнула война, и был на фронте до самого конца, пока не рухнула Австрийская империя. Я был большим патриотом нашей страны, как и все наши евреи. С течением времени мой патриотизм все ослабевал, но кто влез в это пекло, выбраться назад уже не мог. Все дни в окопах я не ел трэфного, я соблюдал все Божьи заветы, а уж о том, что ежедневно накладывал филактерии и говорить не приходится.

Реб Шломо взглянул на сына с признательностью и любовью. Он покачал бородой и коснулся ею палки, на которую опирался. Его теплые глаза загорелись внутренним огнем.

Даниэль продолжал:

— Я был так привязан к выполнению этого завета, что если мне не удавалось по какой-либо причине наложить филактерии, я весь день постился, не прикасался к еде.

Однажды я всю ночь пролежал в траншее, все глубже погружаясь в рыхлую и влажную землю. Орудия врага вели непрерывный губительный огонь, то и дело вздымая груды земли и затем яростно низвергая их в траншею. Кругом стоял тошнотворный запах гари и жареного человеческого мяса. Мне казалось, что я ранен, обгорел, заживо сгораю. И не думалось мне тогда, что я выйду из этого пекла живым. Если не сгорю, то буду засыпан горячей золой.

В это время занялась заря, на небе показались лучи солнца и настала пора утренней молитвы. И я сказал ангелу смерти: подожди, пока я выполню заповедь о наложении филактерий. Я протянул руку за мешочком, в котором они у меня хранились, и рука моя коснулась кожаного ремешка. Я тогда подумал: видно, пуля пробилла мой мешочек и разбросала филактерии в разные стороны. Пока я тянул ремешок, чтоб нащу-

пать наконец филактерий, я почувствовал дурной запах и увидел, что один филактерий повязан на руке мертвеца... В траншее была братская могила, и эта рука принадлежала солдату еврею, которого разорвало на части снарядом, когда он стоял и молился...

Реб Шломо вытер ладонями обеих рук глаза, уронив при этом свою палку. Подавив усилием воли вздох, он с жалостью взглянул на сына. Несомненно, он уже много раз слышал эту историю, но каждый раз она его трогала до слез. Даниэль нагнулся, поднял палку и подал отцу, и тот грузно оперся на нее всем телом. Даниэль подобрал под себя ноги, потер правым коленом левое, и на его устах появилась растерянная улыбка, как у ребенка, который провинился и был пойман на месте преступления и пристыжен взрослыми.

*

Все в заезжем дворе уже спали, а мы с реб Шломо и его сыном Даниэлем все еще сидели молча. Улыбка на лице Даниэля исчезла, и на устах его лежала сейчас печаль, которая, постепенно расплываясь по лицу, залегла во впалых щеках.

Я взял руку Даниэля Баха и сказал ему:

— Хочу рассказать вам историю, которую я вычитал в книге "Колено Иегудино". Речь идет о евреях из Испании, которые пыгались бежать на судне от своих притеснителей. В пути многие беженцы были поражены чумой. Хозяин судна выбросил их на пустынном берегу. Большинство умерло от голода, а остальные, напрягая последние силы, пошли искать какое-нибудь жилье, людское поселение. В дороге одна женщина потеряла сознание и скончалась. Тогда ее муж взял на руки двух малолетних сыновей и продолжал путь. Оба они потеряли сознание от голода. Он же брел как во сне, а когда пробудился, то увидел, что оба сына мертвы. Тогда он произнес: "Творец вселенной! Ты все делаешь для того, чтобы я оставил свою веру. Так знай, что вопреки всем небожителям я был и останусь евреем, и не поможет никакое зло из тех, что Ты насылаешь

на меня, или еще нашлешь!" Он покрыл тела умерших землей и травой и продолжал поиски жилья. А шедшие вместе с ним евреи не ждали его, дабы не умереть с голода. Каждый из них целиком ушел в себя, в свою собственную беду и не замечал бед своих товарищей по несчастью.

— Что же было дальше с этим человеком?

— Я не знаю.

— Может быть, Всевышний привел его в такое место, где живут евреи, и он снова женился, и жена родила ему сыновей и дочерей?

— Возможно.

— Но если даже так, я не вижу в этом должного воздаяния. Ведь праведный Иов мог утешиться после смерти своих детей и жены, достойно пройдя все испытания. В награду за это Всевышний наделил его другой женой и еще лучшими детьми лишь потому, что он не существовал на свете, и это лишь красивая и поучительная притча. Но живой, настоящий человек вряд ли бы смог утешиться такой наградой.

Реб Шломо провел рукой по бороде и сказал:

— Был человек, у которого сын пошел по дурному пути. И направился отец за советом к Бешту,* а тот посоветовал ему удвоить свою любовь к сыну.

Даниэль улыбнулся и сказал:

— Вы знаете, почему вам отец рассказывает об этом? Потому что он меня любит. Жаль, однако, что сам Всевышний — благословен Он! — не следует примеру Бешта...

— Почему ты так думаешь? — спросил его отец.

— А ты, папа, все еще можешь думать как прежде, после всех несчастий, которые выпали на твою долю?

— Вот именно, — возразил старик, — ведь тот, кто всегда благоденствует, от обилия добра может и не заметить Его милостей — да будет благословенно и превознесено Его имя! Напротив, именно мне подобает

* Бешт — аббревиатура рабби Исраэля из Меджибожа ("Баал шем тов"), основателя хасидизма (1700—1760 гг.).

сказать, что ежечасно и ежеминутно я вижу Его доброту и благость. И дай Боже, чтобы я не грешил своими устами и сердцем перед Ним, различая Его деяния и говоря: это — хорошо, а это — нехорошо. Но я надеюсь, что когда сподоблюсь жить в стране наших предков, Всевышний откроет мне глаза, и я тогда воочию узнаю, что все Его деяния хороши. А теперь, когда мы закончили наш разговор добрыми речениями, пожелаем господину спокойной ночи и пойдем к себе.

Глава девятая: В огне и воде

Когда они ушли, я зажег свет в своей комнате и растянулся на кровати с книгой на сон грядущий. Но не успел я прочесть и несколько строк, как отвлекся от чтения нахлынувшими мыслями. И о чем я только не думал в тот вечер...

Вот сидит передо мной этот согбенный старец, чей подбородок чуть ли не касается палки в его руках, на лице его блестят морщинки и излучают свет, лучики которого растекаются по бороде. Рядом сидит его сын и гладит свои ноги — иногда ту, что родилась вместе с ним во чреве матери, а иногда другую, которую ему приделали впоследствии, и трудно сказать, какая из них ему милее: та ли, что дарована небом, или та, что создана руками человека. И говорит этот одноногий своему отцу:

— Папа, уже прокатилась война Гога и Магога, а Мессия из рода царя Давида еще не пришел.

Отец же ему доказывает:

— Сын мой, война Гога и Магога ведется всегда, во всех поколениях и во все времена, каждый час и за каждого человека — внутри его дома, в его сердце и в сердцах его детей. Молчи, сын мой, молчи. Ведь уже сказал пророк Иеремия: “Ты близок их устам, но далек от их совести”. И слова эти еще поныне вызывают из сердец израилевых.

И я думаю про себя: завтра этот старец отправится в Эрец Израэль. С точки зрения материальной

это для него очень хорошо. Воздух страны отцов делает человека здоровее. Товарищи его покойного сына Иерухама дадут ему кров, пропитание, окружают его почетом. Но, может быть, этот старец в угоду своей славе пожертвует славой Отца своего небесного и, увидев, что некоторые заповеди Божьи, как, например, соблюдение святости субботы, здесь нарушаются, — промолчит. Бывает, что человек отворачивает свои глаза от дурных дел родного сына, но не отворачивает их от дурных дел его товарищей. А может быть, любовь к людям дорога ему, как любовь к собственному сыну, — и так иногда бывает у стариков, которым довелось много испытать на своем веку, и они учили себя все принимать с любовью. Не так, как большинство нынешних молодых людей, которые — рабы своих страстей, и если им выпадает случай выполнить Божью заповедь, то нечистая совесть удерживает их от этого. Сколько разных уступок делает человек в своей жизни и не боится, а как только дело касается выполнения заветов Торы, — появляются разные опасения... Но зачем мне, думал я, ломать свою голову над вещами, которые исправить я не в силах? Давай-ка лучше закрою глаза и усну.

И, засыпая, я уже знал, что эта ночь не пройдет для меня без сновидений. Так и было. Я ведь сам дал повод для разных фантазий, которые должны были явиться и дразнить меня. Но я преодолел фантазерасновидца, поставив его на свое место, и мысленно спустился на судно, полное евреями — стариками и старухами, парнями и девушками. Таких приятных людей я еще сроду не видывал. Если свет солнца красит мужчин, а лунный свет — женщин, то ведь и солнце, и луна попеременно заходят, и тогда их свет не виден, эти же люди излучали сияние непрерывно. Однажды, в Судный день, в пору предвечерней молитвы, я увидел чудесный свет в окне нашей старой синагоги, и тогда мне казалось, что не может быть ничего чудеснее этого. И вдруг я понял, что есть бо-

лее чудесное сияние. Там, в нашей старой синагоге, свет был неодушевленным, тут же он был живым, если хотите, — даже говорящим, в котором каждая искорка пела и играла. Но разве свет обладает голосом и может говорить и петь? Этого нельзя объяснить, но если бы даже можно было, — я бы этого не сделал, а только любовался бы этим светом.

Что же эти люди на судне делали в море? Старики и старухи сидели, сложив руки на коленях, и глядели на водную гладь. Юноши и девушки пели и плясали. И я тоже плясал с ними. А когда перестал — танцевали мои ноги, танцевали сами по себе и заставляли меня снова плясать.

Но вот какой-то старик схватил меня за рукав и сказал:

— Не хватает одного человека для миньяна.*

Я окутался в свой талит** и зашел со стариком в комнату, где совершалась молитва, и все удивились, ибо было время вечерней молитвы, когда не облачаются в талит.

Подошел старец к амвону и зажег свечу. Я пошел за ним, чтобы взять молитвенник. И тут свеча коснулась моего талита, и он загорелся.

Совершенно растерявшись, я прыгнул в море. Если бы я сбросил с себя талит, я бы спасся от огня. Я же так не сделал, я бросился в морскую пучину. И, спасаясь от огня, подверг себя опасности утонуть.

Я громко закричал, дабы все услышали, подняли тревогу и бросились меня спасать. Но никто не поднял тревоги, и не слышно было других голосов, кроме моих воплей, которые звучали как утешение сожженному и погруженному в траур городу. И подумал я про себя: а где же этот старец? Я поднял глаза и увидел, что он прижался к борту судна и не шевелится, даже не качает бородой.

* Миньян — в данном контексте десять мужчин, минимальное число для коллективной молитвы.

** Талит — молитвенное покрывало с “кистями видения” по краям.

Тогда явился какой-то другой человек, похожий на Даниэля Баха, но если у того была отрезана одна нога, то у этого — обе руки. Я уж совсем отчаялся и отдался на волю морских волн. Море меня понесло спокойно, и я очутился в каком-то другом месте. Увидев мерцающий издали свет, я подумал, что приближаюсь к поселению. Несомненно, тамошние евреи сжалятся надо мной и вытащат меня на сушу. Я стал приглядываться, откуда идет свет, но подул сильный ветер и свеча погасла. И тут я узнал, что это свеча, которую я зажег у своей кровати...

Я повернулся на другой бок, закрыл глаза и погрузился в сон.

...Позавтракав, я взял ключ и пошел в нашу синагогу, открыл ее, вошел вовнутрь, вынул книгу и начал учить. Меня тянуло к книгам, и я читал тогда с большой радостью.

Глава четырнадцатая: Рахель

Трудно понять характер владельца гостиницы. Видит он, что Долик, Лолик и Бабчи делают все, что угодно, — и молчит. Но когда видит свою младшую дочурку Рахель, которая тиха и нема, как овца, — он сердится. Стоит ей лишь зайти в комнату — и он сразу начинает усиленно попыхивать своей трубкой, и чувствуется, что внутри его все бурлит. Может быть, она хуже своих братьев и сестры? Я не открою секрета и не уподоблюсь сплетнице, если скажу, что уж слишком все они сухие и черствые.

Старшая дочь владельца гостиницы Бабчи носит прическу, на ней короткое кожаное пальто, а во рту всегда торчит папироса. И ведет она себя, как напши парни, при том далеко не как лучшие, скорее — как худшие. Это ее я встретил в ночь на Йом Кипур, курящей у реки в компании себе подобных.

Лолик — толстый и жирный парень с вялыми, пунцовыми щеками, свисающими до подбородка. Плечи у него узкие, покатые, и все его душевные по-

мысли обращены на то, чтобы сохранить наполеоновскую шевелюру, ниспадающую на лоб и частично даже на глаза, которые всегда улыбаются улыбочкой первого на селе красавца. Все, кто видят Долика и Баочи, сомневаются, что они родные брат и сестра.

Может быть, я слегка преувеличил, но суть передал, несомненно, верно, безо всяких преувеличений.

Не лучше их братьев Долик — зуоскал и грубиян. Если бы он насмеялся над преуспевающими, я бы сказал, что это не так уж плохо, от них не убудет. Но он глумится над несчастными, которые всю жизнь и без того мучаются, как, например, Ханох с женой или его собственная лошадь. И вот эта лошадь, стоит ей увидеть Долика, отворачивает морду в сторону и опускает от огорчения хвост.

В городе есть известный нищий Игнац, из бывших австрийских солдат, который на войне потерял нос. Именно эта часть его тела по воле случая подверглась самому тяжкому наказанию. Однажды Игнац пришел в нашу гостиницу собирать милостыню у постояльцев. Долик налил ему стакан водки. Нищий протянул руку за стаканом.

— Нет, — сказал Долик, — ты получишь водку, если выпьешь ее своим носом.

А ведь носа-то у него нет, — как мы знаем, нос был раздроблен осколком гранаты, и сейчас на его месте зияет дырка.

Я сказал Долику:

— Как может человек, рожденный еврейской матерью, быть таким жестоким, да еще по отношению к своему единоверцу? Ведь Игнац тоже человек, созданный по образу и подобию Всевышнего. И если за наши тяжкие грехи этот облик пострадал, разве можно издеваться над калекой?

Долик только усмехнулся и сказал:

— Если он вам так нравится, то пошлите его в новые еврейские поселения, пусть он послужит там образцом для наших девушек, и пусть они рожают таких красавцев, как он.

В эту минуту мне захотелось, чтобы с Доликом

случилось то же, что с Игнацом, но, поразмыслив, я решил, что хватит нам одного такого урода.

После того как я слегка приоткрыл перед вами поступки и облик этих троих, разве не достойно удивления, что хозяин гостиницы к ним весьма снисходителен, а к Рахели — более чем строг?

У меня нет никаких дел с ее братьями и с ее сестрой. Сначала они проявили ко мне определенный интерес, но когда убедились, что я от них отнюдь не в восторге, оставили меня в покое. Но ко мне они относятся с почтением, так как я вполне прилично одет, не отказываю себе в еде и при этом вроде бы ничего не делаю. А еще потому, что я долго жил в крупных городах.

Они тоже жили в большом городе — Вене, но этот город, куда они попали беженцами, во время войны не многим отличался от их родного Шибуша. Я же жил в Берлине и в Лейпциге, в Мюнхене и Висбадене, а также в других крупных городах.

А если так, то по какой причине я взял да уехал в Эрец Израэль?

Когда задают такие вопросы, я думаю, логичнее было бы спросить, почему я прибыл в Шибуш...

Во всяком случае, они знали, что там, в Эрец Израэль, я не был рабочим, не походил на тех, кого зовут халуцами и кто сами возводят себе дома и грызут зубами землю, вынужденные подчиняться каждому.

Нет у меня никаких дел ни с Доликом, ни с Лоликом, ни с Бабчи, но с Рахелью, младшей дочерью владельца гостиницы, я иногда беседую. Я не знаю, почему она выбрала меня в свои собеседники, может быть, потому, что я всегда был с ней приветлив? Но ведь все постояльцы с ней очень приветливы. Может быть, потому, что ко мне благосклонны ее отец и мать? Но разве симпатии родителей передаются их детям?

А может быть, мы с нею вовсе не беседуем, но все, что она мне говорит, даже если это всего несколько фраз, представляется мне целой беседой?

Попробую сосредоточиться, может быть, вспомню кое-что из ее слов.

Сам процесс воссоздания в памяти ее слов заслуживает удивления. Пока эта девчонка не появилась на горизонте, ты был полнокровным хозяином своих действий, мыслей и поступков. Но как только ты столкнулся с ею, и она произнесла несколько слов, — ты чувствуешь, что слова эти засели в твоём сердце, и какая-то частица твоей воли отошла от тебя к ней...

И о чем только Рахель мне не говорила... кое-что из ее рассказов я передал в другом месте; некоторые же ее слова имели значение лишь тогда, когда они были произнесены, теперь же они уже не столь важны. Так почему же я все-таки о них вспоминаю? Потому, что все, сказанное ею, в моем сознании запечатлелось, как ее неотъемлемая собственность, которой она вправе распорядиться по своему усмотрению. И еще она достойна того, чтобы помянуть ее добром, потому, что не целиком овладела волей внимавшего ей человека, и он в состоянии вспомнить сказанное не только Рахелью, но и другими окружавшими его людьми, как, например, ее матерью.

Когда началась война, Рахели было три года. За несколько недель до того она начала недомогать, страдала от головных болей, и силы ее иссякли. С лица ее сошла улыбка, девочка уже не играла с подружками, и часто ее лихорадило.

Трудно было поставить диагноз, ведь она была еще крохой, и из ее слов нельзя было понять, что ей болит и что она ощущает. Часто ее бросало в жар и холод, и это сказалось на органах пищеварения. А мать этого не понимала, она считала, что у девочки сильные запоры потому, что та очень мало ест.

Лихорадки, постоянное недоедание, полное отсутствие аппетита — все это привело к тому, что Рахель таяла на глазах. Эта малышка, которая раньше походила на наливное румяное яблочко, сейчас стала похожа на увядшую и морщинистую сушеную смокву. Кожа на ее руках и ногах стала, как ткань дождевого зонта, из которого убрали все спицы, оставив лишь стержень, а всю ее можно было уподобить иссушенному и опаленному солнцем колосу. Тот жирок, кото-

рый так приятно округляет ручки и ножки здоровых детей и придает им особую прелесть, исчез у нее окончательно, и тело ее было покрыто сухой и горячей кожей, которая, все более слабея, свободно облегла ее косточки.

На вторую неделю после заболевания утренняя температура у нее снизилась, но девочка по-прежнему оставалась молчаливой и безучастной ко всему, что происходило вокруг. Она неподвижно лежала на своей кровати, погруженная в дремоту.

С наступлением вечера у нее снова поднималась температура.

Спустя некоторое время лихорадка и по вечерам не так уж мучила ее, но Рахель молчала, была безразлична к окружающему, не просила ни пить, ни есть.

Через месяц лихорадка прошла окончательно, улучшилась работа желудка, она стала понемногу есть, и появились первые признаки выздоровления. Но внезапно опять поднялась температура и возобновилась болезнь. Вес ее все уменьшался и дошел до девяти килограммов.

— И все же мы не отчаивались, — рассказывала ее мама, — более того, у нас росла надежда, что она поправится, так как мы уже знали, чем девочка болеет. Это был паратиф, и смертельные исходы от него очень редки. Тогда мы еще не знали, что особенно подвержены этой болезни дети.

И действительно, дети, слава Богу, выздоравливали и не только поправлялись, но становились более здоровыми и полными. Излишне говорить, что наша Рахель, с Божьей помощью, стала краше, миловидней и привлекательней, чем до болезни.

Короче говоря, Рахели было всего лишь три годика, когда на нас свалилось это страшное бедствие — война. Прошел слух, что враг приближается к городским воротам. Тогда все жители снялись со своих мест и побежали, куда глаза глядят. Кто на телеге, а кто пешком. Потому что уже была конфискована для нужд фронта почти вся тяговая сила, и не осталось у жителей лошадей.

Что же сделала мать Рахели? Она взяла большой платок, положила в него малышку, обложив ее со всех сторон подушками и перинами, и прикрепила края платка к плечу и пояснице — это все для того, чтобы девочка не простыла и не простудилась, хотя на улице огнем пылало солнце.

Мать Рахели вышла из дому вместе с другими горожанами, с младшей дочкой на спине и с тремя другими детьми, которые держались за подол ее платья: Долик — с одной стороны, Лолик — с другой, Бабчи — с третьей. А Рахель выглядывала из-за подушек и перин и не издавала ни звука, как будто ее и не было. Время от времени мать оборачивалась, видела, что девочка спит, и снова присматривала за тремя детьми, болтавшимися под ногами и менявшими свои места, — то Лолик справа, то Долик справа... И так они шли несколько часов вместе со всем честным народом, со всеми беженцами, стариками и старухами, беременными женщинами, больными и детьми — все дороги были черны тогда от беглецов, покидавших насиженные места. А так как Долик Бабчи и Лолик были еще малы и слабы и держались за юбку матери, а Рахель висела на ее спине, женщина шагала медленно, чтобы дети не выбились из сил. Да и сама она не в состоянии была быстро идти, потому что стояла страшная жара, и она не привыкла шагать под обжигающими лучами солнца.

В конце концов она оказалась в самом хвосте колонны, и клубы пыли отделяли ее от последних рядов. Она закрыла глаза и шагала, как во сне. Жара все усиливалась, и пыль, пронизав солнечные лучи, постепенно окутывала дневное светило, а подушки и перины вместе с платком давили на тело, и оно покрылось потом. Из большого тюка, что висел у нее на спине, не раздавалось никаких звуков, не слышно было ни дыхания малютки, ни ее голоса, так что мать Рахели была уверена, что девочка спит. И она остановилась, чтобы воздать хвалу Всевышнему за то, что Он усыпил малютку, и та не испытывает сейчас дорожных мук и тягот. И полусонная, она обратилась к

другим детям со словами любви, чтобы утешить и подбодрить их. И еще она подумала о том, что муж ее, взятый на войну, даже не знает о страшном декрете, обязывающем всех жителей города немедленно его покинуть, не ведает и того, что его жена и дети преодолевают сейчас такой тяжкий путь. А может быть, сам Всевышний, — благословен Он! — о том не знает и не ведает, ибо если бы знал, разве он отвратил бы свой взор от их страданий? Весь свет был ей сейчас не мил, и если бы она не жалела детей, то просила бы у Бога смерти.

Дорога привела их к холму. Она и дети взобрались на него, а потом спустились вниз. И во время спуска маленькая Рахель выскользнула из платка, подушек и перин, а мать этого не заметила, поскольку тюк на ее спине продолжал давить на плечи — ведь девочка весила всего девять кило, много меньше, чем те вещи, в которых она находилась.

Внезапно дети остановились, а затем присели. Мать у них спросила:

— Может быть, вы хотите есть? Может быть, вы хотите пить?

И она повернула голову, чтобы вынуть съестные припасы из сумки. И тут она увидела подушки и перины и не увидела Рахели. Потому что во время спуска с холма женщина споткнулась, развязался узел платка на поясице, и Рахель выпала из своего убежища.

Мать разразилась громкими воплями, и она кричала так сильно, что ее услышали в последних рядах беженцев. Люди обернулись, подошли к ней, но возвращаться ей не советовали, так как уже слышались раскаты вражеских орудий. Не обращая внимания на их слова, она передала кому-то из земляков своих троих детей, и сама повернула назад. Дети плакали и кричали: “Мама, мама, мы не хотим оставаться без мамы!” Но она бежала, как одержимая, и нашла малютку возле колючего кустарника, окруженную осами, подбиравшимися к ней все ближе, чтобы ужалить ее... Мать схватила девочку, крепко прижала к груди и

побежала с ней через поля, леса и долины (она почти потеряла рассудок и не разбирала дороги), но не нашла своих земляков, тех, кому оставила Долика, Лолика и Бабчи, — они свернули на другую дорогу. Женщина остановилась и закричала:

— Дети мои, дети!

В это время сюда накатилась другая волна еврейских беженцев. Мать примкнула к ним и зашагала вперед, держа в руках свою Рахель, — не каждый день случается такое чудо.

Спустя несколько дней они достигли другого конца страны. Над нею сжалилась одна вдова нееврейка и приютила в своем доме мать с ребенком.

— Все, что у меня есть, — сказала она, — считай своим. Может быть, пока ты здесь живешь у меня, мой родной сын нашел приют и кров у твоей сестры. Как я поступила с тобой, так она поступила с моим сыном, и тем самым мне воздалось сполна.

Мать прожила некоторое время у вдовы и вылечила ноги, которые поранила в пути, немного пришла в себя, окрепла. Она ухаживала за Рахелью, и та тоже поправилась.

Но не принято у людей долгое время безвозмездно пользоваться чужой добротой, поэтому мать с дочерью не задержались у этой вдовы, тем более, что между женщинами начались пререкания: вдова по доброте душевной корила мать за то, что она сама не ест ничего вареного и больному ребенку не дает ни кусочка мяса, ни ложки бульона.

Оставив эту бескорыстную, на редкость отзывчивую вдову, мать пошла в город и нанялась служанкой в гостиницу — за еду и койку для ночлега. Там она работала до тех пор, пока до нее дошли слухи, что ее дети находятся в Вене. Взяв Рахель, она отправилась туда и нашла их — босых, голодных, раздетых, разутых, с ранами на теле — в разных местах города, у разных людей. Она сняла комнату, собрала своих детей и вылечила их. Добрые люди нашли для нее работу. Особенно старался помочь ей раввин Шви Перец Хаит — память его благословенна! — который

самоотверженно боролся, чтобы облегчить положение евреев, был их ангелом-хранителем. Она добывала себе пропитание тем, что шила солдатские сумки, а когда эта работа кончилась, нашла другую, чтобы прокормить себя и детей. У нее хватило даже денег на посылку махорки мужу на фронт. Он мог отказывать себе во всем, но без курева обойтись был не в состоянии. Вначале, когда он еще и не воевал, он и не курил даже. Но когда попал на фронт, — начал курить, потому что табак туманит мозги и отвлекает человека от всего, что делается вокруг.

Когда война окончилась, люди стали понемногу думать о возвращении на старые места, и мать взяла своих детей и вернулась в Шибуш. Не день, не два и не три они были в пути, а скитались несколько недель, так как все поезда были битком набиты людьми, возвращавшимися после войны домой. Те, что не смогли втиснуться в вагоны, ехали на крышах, и немало из них было покалечено, немало погибло. Пусть Всесвятый сжалится по доброте своей над их останками, разбросанными по всем дорогам, и утешит их скорбящих родных и близких.

Короче говоря, в конце концов они добрались до Шибуша, изнемогая от голода, жажды и усталости. А Шибуш в ту пору был начисто разрушен, и его жители бродили среди развалин пришибленные, удрученные, истерзанные, и никто не знал, где приклонить голову и где достать пропитание. Через несколько дней вернулся ее муж — пришибленный, угрюмый, и, само собой разумеется, без гроша в кармане. Зато у него была железная медаль, которой его наградило государство за героизм, проявленный на фронте.

Чем он мог сейчас заняться? Снова продавать шляпы, как до войны? Но разве тут был хоть один человек с головой на плечах?..

И тогда сказала его жена госпожа Зуммер:

— Многие приезжают в наш город, чтобы посмотреть на разрушения, им нужен стол и кров над головой. Открою-ка гостиницу или заезжий дом и тем, что останется от постояльцев, буду кормить семью.

После больших усилий и тяжких трудов ей удалось открыть гостиницу. Постепенно в город стали возвращаться его жители, и жизнь стала понемногу входить в обычное русло. Стали прибывать посланцы благотворительных обществ, стали приезжать торговые агенты и другие люди, и, с Божьей помощью, все как-то живут и существуют, иногда перебиваясь с хлеба на воду, а иногда в сытости и довольстве, одним словом, так, как хочется Вседержителю — благословенно имя Его! — а в общем, лучше, чем мы того заслуживаем по делам нашим.



И вот я живу в этой гостинице, пребывая иногда в дурном настроении, а иногда — в хорошем; все — по Его святой воле. В этом заезжем доме, где я остановился, есть нечто такое, что доставляет истинную радость каждому, кто с ним соприкасается.

Вот сидит Рахель, младшая дочь владельца гостиницы, вдевает нитку в иголку или держит кончик нитки в губах, а я гляжу на нее и наблюдаю за всеми ее движениями, будто она своими действиями являет мне божественную милость. А так как я не принадлежу к неблагоприятным тварям, то я затеваю с ней приятный разговор, чтобы ей веселее работалось.

И о чем только я с ней не говорил... А если бы все это происходило сейчас, я бы рассказал ей сказку о царевне, которой было не то семнадцать, не то восемнадцать лет и которая была стройна, как молодая халуца* в день своего прибытия в нашу страну. Когда я впервые ее увидел, у меня остановилось сердце, и мне захотелось плакать. Стало жаль, что такую красоту и такое очарование Всевяты́й разбросал среди народов земли. Может быть, такая красота служила утешением самим царям из дома Давидова — ведь то была еврейская девушка, и, следовательно, она из их

* Халуц — пионер, зачинатель освоения заброшенных и гиблых мест в Палестине.

потомков. Когда царица Савская была у царя Соломона, он давал ей все, что ей хотелось иметь, и она родила ему царей Абиссинии.

Увидев Рахель, я приподнял шляпу, приветствуя ее. Она в ответ кивнула мне с благодарностью, и белки ее глаз засверкали, как чудесный перламутр. Однажды, осенним днем, я нашел такой перламутр на берегу Иффы. Тогда еще жила маленькая Рухама. Я знаю, что вам известно имя Мэль Хайот, а о Рухаме вы даже не слышали. Я, однако, хочу сказать вам, что Рухама мне дороже, чем Мэль Хайот. Но если так, спросите вы, почему я оставил Рухаму и устремился за Мэлью Хайот? Потому что тогда еще не созрел мой разум, и я вел себя, как наши парни, которые убегают от тех, кто подходит им, и гонятся за теми, кто для них совсем не подходит. И не только незрелые юнцы так поступают, но и все люди, и даже неживая природа.

Но вы спросите, как может убежать неживая природа, связанная корнями со всем своим окружением? На это я отвечу вам, что сам наблюдал подобный феномен. Когда я был так привязан к нашей старой синагоге, она убежала от меня, а когда я прибыл в Эрец Израэль, эта страна тоже убежала от меня...

...Теперь расскажу коротко о волосах той царевны. Волосы ее черны и отливают чудным блеском. И волосы Рахели черные и тоже отливают чудным блеском, но волосы царевны все же лучше, чем у Рахели. Не сами волосы лучше — они одинаковые, но у той волосы длинные, а не подстриженные, они сплетены в косу и совсем не колючие, в то время как подстриженные волосы немного колются.

Рахель провела рукой по своим волосам, подняла на меня глаза и сказала, что ее волосы тоже не колются, хотя они и коротко подстрижены. Я ответил ей, что, может быть, и не колются, а, может, все же и колются, — если не в буквальном смысле слова, то в моем воображении.

— А это, Рахель, — сказал я, — много хуже. Кроме того, у тебя не хватает волос, а может быть, те, что срезаны, были главными...

В довершение разговора о царевне, я должен добавить, что на ней приятная одежда, которая очень ей к лицу. На ней было женское платье, а не современные одеяния, по которым не различишь девушки от парня, и изящная обувь — неширокая и неглубокая.

А теперь, Рахель, оставим в покое эту княжну, которую я видел всего дважды — в тот раз, о котором говорил, и еще вторично. Ее сопровождали две фрейлины и главным визирь царя, ее отца. Само собой разумеется, что я вторично поздоровался с ней. Я — человек, верный своим привязанностям, и если я уже однажды поступил хорошо, я и впредь буду действовать так же. Поздоровавшись в первый раз, я, естественно, отвесил ей поклон и при второй встрече, чем поверг в крайнее изумление сопровождавшего ее визиря. Но если бы он был мудрым человеком, он бы не удивлялся — ведь она же царевна. И хотя у отца ее отнято царство, оно остается все же незыблемым.

Я уже говорил тебе, Рахель: горе тому, кто забывает, что он царевич. Но так как она не забыла, что она царевна, я об этом тоже помню.

Рахель — современная девушка, и она не очень склонна верить сказкам про царевичей и царевну. Она предпочитает слушать истории о таких девушках, как она сама, как, например, Яэль Хайот, или маленькая Рухама.

Но человеку в моих годах не подобает рассказывать о девушках, поэтому я поведал ей историю Тирцы и Акавы.

— Это надо бы тебе послушать, — сказал я Рахели. — Акавья Мазал был известным человеком, а по возрасту своему он был равесником отца Тирцы Минц и о ней не смел грезить даже во сне. Так эта Тирца пошла и сама повисла у него на шее... Разве это не чудо из чудес? Как? По-твоему, "все очень просто"?.. "Подобные дела происходят повседневно, и если это не случилось сегодня — случится завтра"? Благословен тот час, когда ты это сказала.

А так как я очень ценю все хорошее, что мне дает жизнь, я захотел засечь точное время, когда Рахель

это сказала. Я вынул свои часы и взглянул на них. Тогда Рахель спросила:

— Почему вы смотрите на часы?

Я ей ответил:

— Уже настала полночь. Что ты об этом думаешь?

Она взглянула на меня и ответила:

— Ничего не думаю.

Я сказал ей:

— Хочешь, я тебе скажу, о чем ты подумала?

— Я ни о чем не думала.

— Ты подумала о маленькой Рухаме.

— А кто эта Рухама?

— А разве я тебе о ней не рассказывал? — спросил я.

— А не зовут ли ее Яэль Хайот? — спросила она.

Я ответил:

— Яэль Хайот — сама по себе, Рухама — сама по себе. Это та маленькая Рухама, которая притаилась, как луч солнца в густых облаках...

Отец небесный, как забывчивы бывают девушки!..



Я вошел к себе в комнату и зажег свечу. Посмотрел в зеркало, дабы узнать, нет ли печали на моем лице.

Нет, я не был печален, напротив, я был весел. А если вы мне не верите, — спросите зеркало, не видело ли оно меня смеющимся...

В это время послышались шаги, и можно было различить стук деревянной ноги о панель. "Это наш сосед Даниэль Бах возвращается домой, — подумал я, — открою-ка окно и спрошу, что пишет ему отец из Эрец Исраэль".

Но одолевающая меня лень была причиной того, что я так и не открыл окна и не справился о здоровье реб Шломо. Я сел на кровать, погасил свечу и растянулся во весь рост. И тут же мной завладела дремота, и мои глаза сомкнулись.

ИДО И ЭИНАМ

(Повесть)

1

Герхард Грейфенбах и жена его Герда, два моих добрых друга, собрались поехать за границу — отдохнуть от трудов на родной земле и повидать родственников в диаспоре. Когда я зашел пожелать им счастливого пути, то заметил, что они чем-то озабочены. Мне это показалось странным. Ведь они ведут размеренный образ жизни, прилично зарабатывают, живут в мире и согласии и ничего не предпринимают, не посоветовавшись друг с другом; и если они решили ехать, значит, все препятствия и помехи заранее устранены. Почему же они столь мрачны и озабочены?

Мы сидели и беседовали за стаканом чаю о странах, которые они собирались посетить. Со времени войны осталось не так много стран, которые открывают свои ворота перед туристами, да и те, что не отгородились от них, не очень-то приветливо принимают гостей. Все же, если турист достаточно сообразительный, он сумеет остаться довольным своей поездкой.

Все время, пока мы беседовали, тревога не покидала их. Я начал строить разные предположения, но ни одно из них не показалось мне правдоподобным. Наконец я подумал: “Ведь эти люди — мои друзья, принимают меня как родного, а после кровавых событий 1929 года, когда арабы разрушили мой дом, и я остался без крова, они предоставили свой дом в мое распоряжение. Да и в те тяжелые дни, когда людям, выходящим в город, не удавалось подчас вернуться домой из-за комендантского часа, который внезапно объявляли англичане, я не раз ночевал у них. Почему бы мне прямо не спросить, что их тревожит?” Я затруднялся, однако, сформулировать свой вопрос.

Вдруг я заметил, что госпожа Грейфенбах сидит

и глядит перед собой, как человек, которому показали что-то приятное, и он хочет запечатлеть это в памяти, чтобы опознать, когда ему вновь доведется это увидеть. Вглядываясь, она говорила, будто сама себе:

— Тяжело нам уезжать. Дай Бог, чтобы, когда мы вернемся, наш дом не закрыл бы своих дверей перед нами, и нам не пришлось бы судиться с захватчиками.

Грейфенбах закончил ее мысль:

— Ну и времена настали. Мы даже не уверены в крове над голозой. Открываешь газету и читаешь о взломщиках, выходишь на улицу и слышишь, что к такому-то ворвались в дом и заняли его. До того дошло, что люди стали бояться выходить из дому погулять: как бы не заняли его. А нам-то в особенности приходится опасаться. Наш дом стоит в стороне, далеко от города. Правда, одна комната сдана в нем доктору Гинату, но от такого жильца нет никакой пользы. Его обычно нет дома, и когда мы уезжаем, дом остается без присмотра.

Когда я это услышал, у меня дрогнуло сердце. Из-за того, что упомянули о Гинате, как о реальном, живом человеке. С тех пор как он прославился во всем мире, мне не довелось встретить человека, который сказал бы, что он лично с ним знаком. Гината упоминали только в связи с его книгами. И вот теперь вдруг я слышу, что он живет в доме, где я так часто бываю.

Еще опубликовав свою первую статью “99 слов на языке Идо”, Гинат обратил на себя внимание большинства лингвистов, а когда он издал книгу о грамматике языка Идо, не осталось ни одного филолога, который бы не занялся им. Но истинное признание к Гинату пришло, безусловно, когда он обнаружил Эйнамские гимны, и не только потому, что историки и лингвисты нашли в них недостающее звено, связывающее начало истории с предшествовавшими ему поколениями, но и благодаря их духовной мощи и поэтическому гению. 99 слов на языке, о котором раньше ничего не знали, — это само по себе великое

дело, а тем более — книга и грамматика этого забытого языка; однако Эйнамские гимны неизмеримо ценнее: в них раскрываются тайны, которые, помимо того, что они были неизвестны и загадочны, оказались еще значительны и замечательны сами по себе. Недаром лучшие исследователи сейчас не могут обойтись без них, и даже те, кто вначале сомневались, действительно ли они написаны по-эйнамски, теперь пишут комментарии к ним.

Но есть во всем этом что-то мне непонятное. Все эйнамоведы утверждают, что эйнамские боги и жрецы были мужского пола. Как же они не почувствовали, что в напевности гимнов слышится тонкая женская нежность? Возможно, однако, что я ошибаюсь. Ведь я не исследователь, а просто читатель, испытывающий удовольствие при чтении подлинно художественного произведения.

Госпожа Грейфенбах заметила, что я взволнован, но не знала причины этого. Она налила мне второй стакан чаю и снова заговорила о том же. Рука моя держала стакан, а сердце стучало, и сквозь этот стук донеслось до меня эхо, как бы подымавшееся из глубины души. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как с того дня, как я прочел Эйнамские гимны, мне слышится это эхо — отголосок первобытной песни, по сравнению с которой первичная стадия истории не что иное, как ее праправнучка.

Преодолев глубокое волнение, я спросил:

— Он здесь?

И тут же сам удивился своему вопросу: ведь я никогда ранее не был в доме, стены которого видели Гината.

— Его здесь нет, — ответила мне госпожа Грейфенбах.

Я подумал: «Ясно, что его здесь нет. Но если они говорят, что сдали ему комнату, то не может же быть, что они его не видели; а если они его видели, то, возможно, говорили с ним; а если они говорили с ним, то, может быть, они могут рассказать о нем кое-что. Когда великий человек избегает славы и ничего о себе

не рассказывает, что бы ты ни услышал о нем — даже самую малость, — это все равно, что неожиданная находка“.

— Будьте добры, — попросил я, — скажите мне, что вы знаете о Гинате?

— Что мы знаем о нем? — отозвался Грейфенбах. — Самую малость, можно сказать — ничего.

— Каким образом он попал к вам?

— Очень просто, он снял комнату и поселился в ней.

— Но как он попал к вам?

— Как он попал к нам? Если уж вы хотите знать все-все, с самого начала, то так уж и быть — я расскажу вам, хотя, в сущности, мне нечего рассказывать.

— Все же расскажите, — настаивал я.

— В один из летних дней, — начал Грейфенбах, -- сидели мы в послеобеденный час на веранде и пили чай. Приходит один — этакий бродяга, и спрашивает, не сдадим ли мы ему комнату. Мы комнат не сдаем, а к тому же этот тип не настолько мне понравился, чтобы из-за него менять свои привычки и сделать его нашим квартирантом. С другой стороны, подумал я, есть ведь у нас здесь одна комната, что все эти годы стоит пустая, и нет в ней никакой надобности; комната с отдельным входом, с душем и т.д. Может быть, стоит ее сдать, если не ради денег, то хотя бы, чтобы сделать одолжение человеку, который ищет себе приют в таком уединенном месте и, следовательно, любит покой. А человек этот снова заговорил: “Я обещаю, что не буду вас слишком затруднять. Я все время в разъездах и в город приезжаю только для того, чтобы передохнуть от одной поездки до другой. Гостей я не привожу“. Тогда я еще раз взглянул на него и убедился, что ему стоит сдать комнату. Не из-за тех доводов, что он привел, а просто потому, что он мне понравился до такой степени, что я сам удивился, как это я сразу не заметил, что такой он занятый человек. Взглянул я на Герду и понял, что и она согласна, чтобы он у нас жил. “Хорошо, — говорю

я ему, — комната за вами с условием, что без всяких услуг, и мы даем вам только кровать, стол, стул да лампу, а квартирная плата — такая-то“. Он вынул деньги и уплатил за год вперед. Условия мои он выполняет по сей день и никогда ничего у нас не просил. Это все, что я о нем знаю, кроме того, что читаю о нем в приложениях к газетам. А это и вы, вероятно, читали, а может быть, вы читали и его гимны. По правде говоря, и мне приходилось встречаться тут и там с его гимнами, но я так и не уразумел, в чем их значение. Я обычно не высказываю мнений по вопросам, в которых я не сведущ, но одно могу сказать: в каждом поколении кто-нибудь делает открытие, которого, казалось бы, уже никогда нельзя будет превзойти, но в конце концов оно забывается, так как за это время появляются новые открытия. Таковы, вероятно, и открытия доктора Гината.

Я не придавал особого значения словам Грейфенбаха и вернулся к моей главной теме, т.е. к доктору Гинату.

— Мне думается, — ответил я Грейфенбаху, — что Герда сможет рассказать больше.

Госпожа Грейфенбах с недоумением взглянула на меня, удивляясь, что я приписываю ей осведомленность, которой у нее нет. Она немного помолчала, а потом, подумав, сказала:

— Я тоже знаю ничуть не больше того, что рассказал вам Герхард. В комнату ведет отдельный вход, мы не обязаны ее убирать, а наша усердная домработница Грация, вы ведь знаете ее, не охотница до лишней работы. С тех пор как мы ему дали ключ, я не заходила к нему и не видела его. Переспав в своей комнате одну ночь, он ушел и вернулся только через несколько месяцев.

Рассказав все это, она снова завела речь об их поездке. И, как бы между прочим, укрепила меня:

— Наш квартирант до того засел вам в голову, что вы не слышите, о чем мы говорим.

— Возможно, — ответил я.

— Не говорите “возможно“, скажите “да, не слышу“.

— Хорошо, — согласился я, — не стану спорить, а вы будьте добры и расскажите мне о Гинате.

— Да разве я вам не говорила, что он пробыл в своей комнате всего одну ночь, а наутро исчез? Отправился в путь-дорогу.

— Но ведь вы сказали, что он вернулся. Так что же он делал после того, как вернулся?

— Что он делал? Закрыл дверь и сидел взаперти в своей комнате. Что он делал в своей комнате? Рисовал ли пирамиды в натуральную величину или писал третьего Фауста, — вот уж чего не знаю, того не знаю.

Я пристально взглянул на нее. Она заметила мой взгляд и рассмеялась:

— Вы что, сыщика из меня хотите сделать?

— Сыщика из вас сделать не хочу, но хочу, чтоб вы рассказали мне что-нибудь о Гинате.

— Ведь я уже сказала вам, что с тех пор как мы дали ему ключ, я ни разу не говорила с ним.

— Что же он делал после того, как вернулся?

— После того, как вернулся, он, вероятно, делал то, о чем я вам уж говорила. Что именно — этого я и не старалась узнать.

— Герда, — заметил Грейфенбах, — не обладает чертой, присущей всем женщинам: в ней нет ни капли любопытства.

Герда притронулась своими длинными красивыми пальцами к его волосатым рукам и сказала:

— Зато у тебя его вдвойне. Так рассказывай ты!

— Я? — удивился Грейфенбах. — Чего нет, о том и нечего рассказать.

— Значит, — сказала госпожа Грейфенбах, — ты хочешь, чтобы именно я рассказала. Да разве не ты говорил, что доктор Гинат сотворил себе девицу?

Грейфенбах рассмеялся и долго заливался веселым смехом.

— Вы знаете, что она имеет в виду? Она имеет в виду сказку о поэте-отшельнике, не помню, как его звали, о котором рассказывают, что он сотворил себе

девицу для того, чтобы она обслуживала его. Вам знакома эта сказка?

— Поэт этот, — ответил я, — Шломо Ибн Габироль.* А если вас интересует конец сказки, то вот он каков: “Слух об этом распространился среди людей и дошел до короля, а тот приказал привести ему созданную женщину. Увидев ее, он тут же в нее влюбился. А она и бровью не повела. Тогда привели к нему Ибн Габироля. Представ пред королем, он показал, что она вовсе не цельное существо, а собрана из деревянных деталей“. Но какое отношение имеет эта сказка к Гинату?

— А вот какое, — начала госпожа Грейфенбах. — Как-то поздним вечером сидим мы с Герхардом и читаем Гете. Вдруг слышим какие-то звуки и чей-то голос из комнаты Гината. Поняли мы, что Гинат вернулся, сидит в своей комнате и читает книгу. Мы возобновили чтение. Опять слышим голос. Герхард отложил книгу в сторону и говорит: “Это женский голос“. Не успели мы удивиться тому, что Гинат привел к себе в комнату женщину, как стали дивиться тому языку, на котором она говорила. Такого странного языка мы никогда не слышали. Герхард шепнул мне: “Как видно, Гинат сотворил себе девицу, и она разговаривает с ним на своем родном языке“. Больше мне нечего рассказать о Гинате. Но если вы хотите знать больше, обратитесь к Герхарду. Он любит строить предположения и принимать их за достоверные факты.

Грейфенбах, занимавшийся забавы ради исследованием происхождения языков, стал рассказывать об их тайнах, а также о новых открытиях в лингвистике. Я тоже добавил кое-что из того, что узнал, изучая кабалистические книги, опередившие в этой области многие ученые труды.

Госпожа Грейфенбах вмешалась в нашу беседу.

* Ибн Габироль — один из выдающихся еврейских поэтов средневековой Испании (1021—1056).

— Свои песни эта женщина пела тоже на том незнакомом нам языке, — заметила она. — Если судить по голосу, то женщина эта была удручена и печальна. Герхард, куда ты спрятал подарок, который дал тебе наш квартирант после той вечеринки? Жаль, дорогой, что вас не было тогда с нами. Вы ведь знаете, что свадьба наша состоялась без огласки, зато мы десять лет спустя устроили пирушку. Герхард, лентяй, может быть, ты поднимешься и покажешь, что дал тебе Гинат?

Грейфенбах встал, открыл железный ларец и вынул из него два старых коричневых листа, похожих на листья старого табака. Он с явным удовольствием разостлал передо мной эти листья, и по глазам его было видно, что он сознает, что показывает мне прелестную вещь, и следит за тем, как я буду реагировать.

— Что это? — спросил я, поглядев на листья.

-- Вглядитесь хорошенько, — ответил он.

Я снова стал рассматривать листья, но ничего на них не обнаружил, кроме странных линий и странных фигур, в которых при желании можно было увидеть таинственные знаки или шифрованные письма.

— Что же это? — повторил я свой вопрос.

— Я и сам ничего не знаю, кроме того, что говорил мне Гинат. А он говорил, что это своего рода амулеты. Он не сказал, в чем их магическая сила, но зато рассказал, что у него есть целая коллекция амулетов, а таких листьев в ней — по два, и что привезены они из далекой страны.

— Жаль, что нет в них заклинаний против взломщиков, — заметила Герда. — Может быть, среди тех амулетов, что остались у Гината, есть и такие.

Грейфенбах разжег маленькую трубочку и погрузился в раздумье. Спустя некоторое время он высыпал из нее пепел и взял сигарету. Прикуривая ее, он сказал:

— Вот видите, в любом разговоре пробивается забота о нашей квартире. А что касается взломщиков,

то, может быть, они и правы. Возвращается парень с войны, ищет себе крышу над головой — и не находит. Что же ему остается делать? Вот что я вам расскажу. Стою я как-то в субботу вечером на автобусной остановке. Автобус битком набит, а люди все лезут. Водитель гудит, и автобус трогается. Все оставшиеся на остановке стоят удрученные и ждут следующего автобуса, но его нет, так как — чем больше пассажиров, тем меньше автобусов, так уж водится у нас в Иерусалиме. И вот стоят себе два человека, парень и девушка. Она смотрит на него влюбленными глазами и говорит: “Гюнтер, вот уже больше года, как мы повенчались, а еще ни одной ночи мы не были вместе“. Обнимает юноша плечи своей молодой жены, сжимает зубы и молчит, озлобленно и тоскливо. Гюнтер с женой не нашли квартиры, где они могли бы жить вместе. Живут они где-то, каждый в отдельности. А хозяйева изводят их, не разрешают приходить друг к другу, чтобы им опротивели их комнаты, и они бы их оставили, потому что за это время увеличился спрос на квартиры, а сдающихся комнат стало меньше и поднялась квартплата. Вот и встречается эта парочка в кафе или в кино, а потом они прощаются и расходятся в разные концы города, каждый в свою комнату, так как нет у них общей квартиры. Теперь вам понятно, почему мы так встревожены? Дошло до того, что как-то Герда разбудила меня ночью, потому что ей показалось, что кто-то расхаживает у нас по крыше.

— Ты всегда рад обо мне посплетничать, — сказала госпожа Грейфенбах. — Почему ты не говоришь о том, что на это ответил?

— Разве я ответил? Не помню, чтобы я что-нибудь сказал тогда.

— Ты хочешь, чтобы я тебе напомнила?

Герхард засмеялся. Смеялся он сочно и от души.

— А если я не захочу, ты не расскажешь?

— Если бы это не было смешно, я бы не рассказала, — заметила Герда. — Знаете, что этот радио-

налист сказал мне тогда? Это, видно, говорит, разгуливает по крыше та девица, которую сотворил Гинат.

Грейфенбах отложил в сторону сигарету и снова взял свою трубку.

— Вы верите, что я это сказал?

— Герда такая милая девушка, — заметил я, — что ей нельзя не поверить.

Госпожа Грейфенбах рассмеялась.

— Хороша девушка, — заметила она, — которая уже больше десяти лет замужем.

— Неужели вы уже десять лет женаты? — спросил я.

— Эти листья, которые Гинат дал Герхарду, были подарены к десятилетию нашей свадьбы. Такие листья, попади они в руки невежды, были бы истолчены и пошли бы на табак для его трубки, и он никогда не узнал бы, что они обладают магической силой. По правде говоря, и мы-то толком не знаем, в чем заключается эта сила. Но поскольку говорил нам об этом Гинат, мы ему верим, потому что он не обманщик. Итак, завтра мы уезжаем, и я не знаю, радоваться ли мне этому или огорчаться.

Тогда я, недолго думая, заявил Герде:

— Вы не должны огорчаться. Я буду смотреть за вашей квартирой, и если надо будет, — переночую здесь две-три ночи.

Грейфенбахи искренне обрадовались.

— Теперь мы можем спокойно ехать, — воскликнули оба в один голос.

— Не думайте, — продолжал я, — что вы мне чем-нибудь обязаны. Напротив, это я должен быть вам благодарен, так как в вашем доме можно спокойно выспаться. Я в этом убедился, когда ночевал у вас во время комендантского часа.

Тут мы стали вспоминать те тяжкие дни, когда, бывало, выходил человек в город и не мог вернуться домой, так как мандатные власти внезапно объявили комендантский час, и каждого, кто оказывался на улице, так как жил далеко и не мог найти себе убежища,

полицейские ловили и держали всю ночь в тюрьме, а родные волновались и беспокоились, не зная, куда человек запропастился. От этой темы мы перешли к деспотическим декретам, которые издавали мандатные власти и без которых, как казалось тогда, не могла обойтись страна. Затем мы снова вернулись к комендантскому часу. Хоть и были это горькие, зловещие ночи, была в них и некоторая польза: мужчины были вынуждены сидеть дома, уделять внимание семье, чего обычно не делали прежде, так как проводили ночи на собраниях, съездах, заседаниях и других подобных занятиях, уводящих человека от самого себя, не говоря уж о его семье. И, если хотите, для общественных дел это тоже оказалось полезным, так как ввиду сокращения числа собраний и дискуссий, дела шли своим естественным ходом и сами по себе как-то улаживались.

Так сидели мы, Грейфенбахи и я, и беседовали до тех пор, пока я не решил, что пора и честь знать. Грейфенбах дал мне ключ от дома и показал все входы и выходы. Затем мы распрощались, и я отправился восвояси.

2

Как-то на закате вышел я из дому купить себе хлеба и маслин. Жена и дети уехали в Гедеру, а я остался один и питался тем, что сам себе покупал. С хлебом и маслинами в руках бродил я среди магазинов. Возвращаться домой не хотелось, потому что там никого не было, чем-либо заняться мне тоже не хотелось, так как день уже прошел. Вот я и плелся, куда несли меня ноги. Так добрал я до долины, где стоял дом Грейфенбахов. Изумительная тишина иерусалимских долин на закате, кажется, таит в себе все земные блага. Чудится, будто эти долины где-то за тридевять земель от города, и вся вселенная в них погружена. В особенности прелестна эта окаймленная деревьями долина с ее чистым, прозрачным воздухом.

“Уж если я сюда добрался, — подумал я, — пойду и посмотрю, как поживает дом Грейфенбахов. А раз ключ у меня в кармане, то я, пожалуй, и загляну вовнутрь”.

Зайдя в дом, я зажег свет и стал рассказывать по комнатам. Во всех четырех красиво обставленных комнатах царил образцовый порядок, чувствовалась рука хозяйки, хотя прошел уже месяц с тех пор, как Грейфенбахи уехали. Хорошая хозяйка следит за своим домом даже издали...

Меня не мучили ни голод, ни жажда, но зато одолевала усталость. Я потушил все лампы, открыл окно и сел отдыхать. Из таинственных глубин ночи пришла тишина и окутала меня так, что, казалось, можно глазами разглядеть этот покой. Я решил переночевать здесь и тем самым выполнить данное Грейфенбахам обещание. Поднявшись со стула, я зажег настольную лампу и взял книгу, чтобы почитать в постели. Заметив у кровати лампочку, я был доволен, что мне не придется переносить с места на место лампы в чужом доме. Казалось, пока ключ у меня, я имею право распоряжаться здесь как дома, но, как видно, я чувствовал себя скорее пришельцем, чем хозяином.

Сидел я на стуле Грейфенбаха и думал: “Вот сижу я здесь, в доме Грейфенбаха, а ведь, возможно, в этот самый час Грейфенбахи ищут себе ночлег и не находят его, а если и нашли, то он им не по вкусу. И чего это они решили оставить уютный дом, полный красивых вещей, и странствовать по чужбине? И почему и другие люди покидают свои дома и скитаются по разным странам? Таковы законы природы или все это причуды необузданной фантазии, как гласит поговорка: “Там хорошо, где нас нет”.

Я снял ботинки, разделся, взял книгу, потушил настольную лампу, зажег лампу у кровати, лег, открыл книгу и почувствовал, что тело мое засыпает. Мелькнула мысль: “Обычно я не могу заснуть даже после полуночи, как же это мне вдруг захотелось спать в самом начале ночи?” Я отложил книгу в сторону,

потушил лампу, повернулся к стене и закрыл глаза, продолжая беззвучно разговаривать сам с собой: "Здесь, в этом месте, в этом доме, когда ни один человек на свете не знает, что ты здесь, можно спать, сколько угодно, и никто не придет искать тебя".

Вокруг царила тишина и спокойствие, которые можно найти лишь в иерусалимских долинах, сохраненных Господом для любящих покой. Недаром опасались Грейфенбахи за свой дом. Если бы взломщик проник сюда, здесь некому было бы даже заметить его. Медленно гасли мои мысли и чувства, пока не осталось лишь смутное ощущение, что все члены моего тела погружаются в сон.

Вдруг я услышал непривычный звук: не то птица клюет, не то скребется кто-то. Так как маслины и хлеб я спрятал в жестяную банку, то за них я не боялся, а испугался я того, что мышь может прогрызть одежду, книги или же те листья, которые Гинат дал Грейфенбаху. Насторожившись, я разобрал, что не мышь издает эти звуки, а человек, нащупывающий дверь с улицы. Если это не взломщик, то, видимо, доктор Гинат вернулся домой и перепутал двери. Пойду открою ему, решил я, и познакомлюсь с ним лично.

Я встал с постели и открыл дверь. Передо мной стоял человек и нащупывал звонок. Я нажал кнопку выключателя и зажег свет. То, что я увидел, меня настолько поразило, что я на миг онемел. Ведь я ни одному человеку на свете не говорил о том, что проведу эту ночь у Грейфенбахов, да и сам я этого не знал, откуда же это стало известно Гавриэлю Гамзу?

— Господин Гамзу, — сказал я, несколько оправившись от изумления, — это вы? Подождите минутку, я что-нибудь на себя накину.

Я вернулся в комнату и оделся, все еще дивясь неожиданному гостю. Знаком он, что ли, с хозяином дома, или с его женой? Ведь Грейфенбах не охотился за еврейскими книгами, и, во всяком случае, не за старинными рукописями и изданиями. Он с трудом

научился немного ивриту. И хотя он похвально знает, что досконально знает язык и грамматику, на самом деле его знания ограничиваются лишь грамматикой библейского иврита, которую он изучил по книге Гезениуса о структуре древнееврейского языка. Жена намного сильнее его в иврите, хотя грамматики не знает и Гезениуса не изучала. Зато она свободно сговаривается со служанкой Грацией, с лавочниками и разносчиками. Но и она не имеет дела с древнееврейскими книгами.

Что же в таком случае могло привести сюда Гамзу? Волей-неволей приходишь к выводу, что он пришел ко мне, зная, что будет в любое время желанным гостем (и не только для меня, но и для всех своих знакомых), потому что человек он ученый и знаком ему почти весь мир. Он объездил далекие страны и добрался до таких мест, где ни один путешественник не был до него. Из этих дальних краев привез он поэтические произведения еврейской литургии, написанные неизвестными нам поэтами, а также рукописи и первые издания таких книг, названия которых мы даже не знали.

Ныне, однако, он не выезжает и все время проводит со своей женой. Человек этот, так много прежде путешествовавший, теперь, в расцвете сил, должен целый день ухаживать за больной женой. Молва говорит о том, что с брачной ночи она не сходит с постели. Верны ли эти слухи или нет, но факт остается фактом: дома у него неизлечимо больная женщина, и он вынужден ухаживать за ней, мыть ее и кормить с ложки. А она не только не благодарна ему за то, что он губит из-за нее свою жизнь, но даже бьет его, кусается и рвет на нем одежду. Поэтому он выходит из дому только по ночам, стыдясь показываться на людях в разорванной одежде и с разбитым лицом. И вот теперь он пришел ко мне. Зачем?

В свое время он съэкономил двенадцать фунтов, чтобы заплатить за место в больнице для своей жены. Опасаясь потратить эти деньги, он не решился дер-

жать их у себя и отдал их мне на хранение. Случилось так, что однажды я поехал на прогулку в окрестности Мертвого моря, а его деньги оставил дома. И как раз в этот день воры обокрали мой дом. Они забрали и деньги Гамзу. Я послал к нему человека сказать, чтобы он не беспокоился, а он, как видно, решил узнать, намерен ли я на самом деле вернуть ему деньги. Не найдя времени прийти раньше, он появился теперь. Так я, во всяком случае, предполагал. Но вскоре я убедился, что мое предположение неверно. Не ради денег пришел он, а совсем по другому делу.

3

Итак, одевшись, я вернулся к Гамзу.

— Вы пришли за вашими деньгами? — спросил я.

Он посмотрел на меня грустными глазами и сказал сдавленным голосом:

— Разрешите войти.

Я пригласил его в дом, усадил в кресло. Он огляделся вокруг и через некоторое время, заикаясь, с трудом пробормотал:

— Моя жена... — Выждав немного, он добавил. — Я пришел домой и не застал ее.

— Что же вы намерены делать? — спросил я его.

— Простите меня, — ответил он, — что я так внезапно появился в вашем доме. Представьте себе: возвращаюсь из синагоги после вечерней молитвы, захожу домой, хочу перестелиться жене на ночь кровать и вижу — кровать пуста. Тут же я отправился на поиски. Иду к югу и делаю круг на север — кружится, кружится ветер и возвращается на круги свои...* и вдруг я очутился в этой долине. Один Бог знает, что привело меня сюда. Смотрю: стоит дом. Так и потянуло меня войти. Знаю, что нет смысла заходить, а все же иду. Хорошо, что нашел вас. С вашего разрешения я малость посижу и уйду.

* Цитата из первой главы Экклесиаста.

— Простите, господин Гамзу, — говорю я ему, — я слышал, что ваша жена не сходит с постели.

— Да, не сходит с постели, — подтвердил Гамзу.

— Как же, — продолжаю, — вы говорите, что кровать ее пуста? Если она не может двигаться, как же она вдруг спустилась с постели и вышла из дому?

Он прошептал:

— Она лунатик.

Я остолбенел и долго не мог произнести ни слова.

— Она лунатик? — переспросил я наконец.

— Она лунатик, — ответил Гамзу.

Я взглянул на него так, как глядит человек, услышавший какую-то вестъ и не знающий, как к ней отнестись.

— В полнолуние, — продолжал он, заметив мое смущение, — жена моя встает по ночам и идет туда, куда ведет ее луна.

Невольно я спросил с явным упреком:

— И вы не запираете дверей?

Гамзу лукаво улыбнулся.

— Запираю.

— Если вы запираете, как же она может выйти?

— Даже если бы я повесил на дверь семь замков, замкнул бы каждый из них семью ключами и каждый ключ бросил бы в одно из семи морей Израиля, — даже тогда моя жена нашла бы их все, отперла бы двери и вышла бы.

Опять я сидел некоторое время молча. Он тоже молчал. Затем я вновь обратился к нему:

— С каких пор вам стало известно, что она такая, то есть лунатик?

Он сжал лоб ладонями, большими пальцами уперся в виски и переспросил:

— С каких пор я знаю, что она лунатик? С того самого дня, как я с ней познакомился, я знаю, что она лунатик.

Я снова помолчал, но на этот раз недолго.

— И все же, — спросил я, — это вам не помешало жениться на ней?

Он снял свою шляпу, достал ермолку, надел ее на голову и наконец переспросил:

— Что вы сказали?

Я повторил свой вопрос.

Он улыбнулся.

— Все же, — сказал он, — это не помешало мне жениться на ней. Напротив, когда я впервые увидел ее, стоящую на вершине скалы высотой с гору, на которую ни один человек не смог бы забраться — луна освещала ее, а из уст ее лился напев: “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма“, — тогда я подумал, что если она не один из ангелов божественного бытия, сливающихся воедино с архангелами Господа, то она — один из двенадцати знаков зодиака, воплощение созвездия Девы. Я отправился к ее отцу и сказал ему: “Прошу руки твоей дочери“. “Сын мой, — спросил он меня, — ты знаешь о недуге Гмулы и все же хочешь на ней жениться?“ “Всемиловейший, — говорю я ему, — смилуется над нами“. Поднял он лицо к небу и обратился к Господу Богу: “Властелин вселенной, если этот человек, пришедший издалека, сжалился над ней, Ты, что так близок нам, и подавно пожалеешь нас“.

— Назавтра он позвал меня к себе и сказал: “Пойдем со мной“. Мы пошли. Я следовал за ним, пока мы не дошли до высокой горы, одной из гор, возвышающихся до небес. Вместе с ним поднялся я на нее, прыгая с утеса на утес. Дойдя до крутой скалы, он наконец остановился, посмотрел во все стороны и, убедившись, что никто за нами не следит, нагнулся, копнул землю под скалой и поднял камень. Перед нами открылась пещера. Он вошел в нее. Когда он вышел, в руках у него был глиняный кувшин. “Пойдем назад“, — сказал он.

— Потом он открыл кувшин и показал мне пучок сухих листьев, самых странных из всех листьев, какие я когда-либо видел, а на них — непонятные письмена странного, неизвестного мне алфавита. Цвет этих букв, то есть цвет чернил, которыми писаны буквы, не похож на знакомые нам цвета. С первого взгляда мне

показалось, что писавший эти письма смешал золотую, голубую и пурпурную краски со всеми основными цветами радуги и этой смесью начертал буквы. Однако за то время, что я стоял и смотрел на них, краски изменились на моих глазах и превратились в цвета извлекаемых из морских глубин водорослей, из тех, что доктор Рахниц выуживал на яффском берегу моря.* А между ними, казалось, протянуты серебряные нити, подобные тем, что иногда видны на луне. Я смотрел на листья, смотрел на буквы и смотрел на Гмулиного отца. И чудилось мне, что он перенесся в другой мир. То, что я считал воображением, постепенно превращалось в явь. Если вы спросите меня, что все это означает, я не смогу ответить вам, хотя лично мне все совершенно ясно. Вот и теперь я сам удивляюсь тому, что говорю. Ведь не слов же мне недостает. И все же в моем сознании это вырисовывается намного более четко, чем целый ворох слов. Во всяком случае, в тот момент язык у меня не поворачивался, и не было сил о чем-либо спросить.

— Не от этих листьев и букв я онемел, а от того, что происходило с Гмулиным отцом. Что касается букв, то все цвета, видневшиеся мне в них поначалу, исчезли или изменились до неузнаваемости, и я до сих пор не знаю, каким образом эти буквы выцвели и когда именно они изменились. Пока я дивился этому, Гмулин отец сложил листья обратно в кувшин, объяснив мне простыми словами: “Это — земные растения, но есть в них сила влиять на высшие сферы“. Через год, за ночь до венчания, он сказал мне: “Ты помнишь растения, что я показал тебе на горе? Знаешь, что они собой представляют?“ Он наклонился к моему уху и прошептал: “Есть в них магическая сила, я точно не знаю, в чем она заключается, но мне известно, что она может каким-то образом влиять на сферу, окружающую луну, да и не только на саму луну.

* Речь идет об исследователе водорослей, герое рассказа Агнона “Клятва в верности“.

Я отдаю тебе эти листья, и пока они в твоих руках, ты сможешь направлять шаги Гмулы так, чтобы она не спотыкалась и не падала. До сих пор я их не вынимал из того тайника, где они были запрятаны. А знаешь почему? Потому что, пока Гмула жила в мире и согласии сама с собой, и душа ее пребывала в цельности и в гармонии и была окутана поксем, не было в этих листьях нужды; но теперь, когда настала для нее пора любви, она соединится с мужем своим и через него начнет питаться корнями другого, чуждого ей бытия. Когда наступят лунные ночи, возьми эти растения, положи их на окно против дверей, прикрой так, чтобы никто их не заметил, и, я ручаюсь тебе, если Гмула уйдет из дому, она вернется к тебе до того, как луна возвратится в свои покои“.

— Этой ночью, — сказал я Гамзу, — вы забыли совершить все то, о чем наставлял вас ее отец?

— Я не забыл, — сказал Гамзу.

— Если так, то как же все это произошло?

Гамзу протянул руки, показал свои пустые ладони и произнес, как бы говоря с самим собой:

— Пропал твой амулет, Гавриэль.

— Листья утратили свою магическую силу? — спросил я.

— Не листья, — ответил он, — утратили свою силу, а я утратил листья.

— Ваша жена их разорвала?

— Не жена моя их разорвала, а я их погубил. Продал. По ошибке продал. Как-то состоялся здесь съезд ученых. Со всего мира съехались ученые в Иерусалим. Некоторые из них пришли ко мне купить рукописи и книги. Пока они копались у меня — тот ощупывает книги, откладывает их в сторону, другой разглядывает книгу, выбранную товарищем, — амулет затерялся в кипе рукописей. Я его продал и не помню кому. Не помню, хотя должен был бы помнить, так как нет ни одной проданной мною рукописи, кроме этой, о которой я бы не помнил, кому она продана. А вырученные за нее в недобрый час деньги —

12 фунтов — я вручил вам, чтобы снять для Гмулы место в больнице для хроников.

Гамзу потер лоб и сдавил пальцами виски. Затем пальцем потер свой мертвый глаз. Один глаз у Гамзу мертвый, и когда его одолевают думы, он трет его так, что тот становится красным, как живая плоть. Вытерев палец, он вопросительно посмотрел на меня.

“Что я могу ему сказать? — подумал я. — Ничего я ему не скажу“. Я сидел против него и молчал.

— Иногда мне кажется, — начал он снова, — что Гмула знает, кто этот покупатель. Это тот самый Иерусалимский хахам,* который добрался до Гмулиных мест, когда я был в Вене. На это у меня есть два доказательства. Во-первых, в тот день она пела свою песню “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма“, чего она не делала за все то время, что она здесь; а, во-вторых, она вдруг заговорила на языке, на котором говорят в ее местах, чего она не делала с того дня, как рассталась со своим отцом. Причиной был, вероятно, тот покупатель, так как, увидев его, она вспомнила свои края и те дни, когда этот человек появился у них. А у них он появился облаченным в одежду иерусалимского хахама, так как всякий, кто приезжает в те края, выдает себя за иерусалимского хахама, ибо святость нашего города хранит его от иноплеменников.

Гамзу снова потер свой мертвый глаз, который, казалось, улыбался сквозь его пальцы, смеялся над его горем и как бы давал и мне знак, чтобы и я посмеялся над этим человеком, продавшим вещь, от которой зависит его жизнь и жизнь его жены. Но я не смеялся над ним. Напротив, я жалел его. У меня мелькнула мысль, что доктор Гинат присвоил себе амулет Гамзу: ведь от Грейфенбаха я слышал, что у Гината есть коллекция амулетов, и он отдал ему один из двойников.

* Хахам — дословно мудрец. В общинах евреев восточных стран пост хахама соответствует посту раввина в еврейских общинах Европы и Америки.

— На чем написаны эти магические буквы, — спросил я Гамзу, — на бумаге, на коже или, может, на пергаменте?

— Не на бумаге, не на коже и не на пергаменте, — ответил он, — а, как я вам уже сказал, эти магические буквы написаны на листьях.

Я прикинул в уме время и решил, что Гинат никак не мог быть этим таинственным покупателем. Когда состоялся съезд ученых? После того, как исполнилось десять лет со дня свадьбы Грейфенбахов. И даже если съезд состоялся до того, трудно себе представить, чтобы человек с такой европейской внешностью, как Гинат, облекся в одежду иерусалимского хахама, и люди ему поверили.

Гамзу много читал, многому учился. Многие знаменитые ученые были его учителями. Он объездил полсвета. Не было буквально места, где жили евреи, которого бы он не посетил. Кроме древних рукописей и старинных изданий, он привозил из разных мест сказки, обычаи, притчи мудрецов, всевозможные поговорки и рассказы путешественников, и для каждого происшествия у него всегда был рассказ о том, что, мол, аналогичный случай уже произошел когда-то, как будто каждое событие в настоящем для того только и происходит, чтобы отразить то, что уже случилось в незапамятные времена. Бывало, говорят люди о чем-нибудь, а Гамзу, как услышит, так и начнет рассказывать о том же разные случаи. Вот и теперь, отогнал он от себя свое горе, вызванное потерей листьев, и заговорил о магической силе амулетов и о том, как надо ими пользоваться.

Гамзу свернул маленькую сигаретку и стал рассказывать о целебных свойствах амулетов, превосходящих действие лекарств.

— На большинство лекарств, — пояснял он, — упоминаемых в старинных книгах, нельзя в наше время полагаться, так как человеческий организм изменился с тех пор, а поскольку изменились некоторые процессы в теле человека, изменились и лекарства.

Зато магическая сила амулетов нерушима, и по сей день их природа и свойства сохранились неизменными, ибо они связаны с созвездиями зодиака. А созвездия вечны, неколебимы и не поддаются никаким изменениям с тех пор, как были они расставлены в небе. Действие их ощутимо во всех тварях Божьих, а больше всего — в человеке, ибо под какой звездой родился человек, такова его натура и такова его судьба, как сказано в Талмуде: “Все зависит от счастливой звезды, то есть звезды небесной”. И еще говорили мудрецы: “От звезды ума наберется, от звезды обогатится”. Недуги человеческие тоже зависят от созвездий, ибо Господь Бог дал созвездиям силу влиять на низшие миры, к добру и ко злу. Да и земля изменяется соответственно знакам зодиака, как сказано в комментарии Ибн Эзры к книге Исхода, что различные места на земле меняются в зависимости от звезды, что над головой. “Все это, продолжает тот же комментатор, понятно мудрецам, сведущим в учении о созвездиях”.

— Однако знакам зодиака не следует приписывать независимую силу или самостоятельную волю, ибо вся их сила и вся их воля исходят от Творца, от Создателя, который занимает их земными делами, как в свое время в ночь накануне Судного дня занимали первосвященников, чтобы они не засыпали. Для чего же понадобились Господу Богу созвездия? Вероятно, для того, чтобы и они, как все прочие Его творения, славили Его благодарственными гимнами, о чем уже писал царь-псалмопевец Давид: “Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь”. А все, что сотворил Господь Бог, создано Им ради Израиля, чтобы сыны его знали, как восхвалять Господа Бога и как вещать славу Его, и для того, чтобы осуществились слова пророка: “Народ, созданный Мною, да будет возвещать славу Мою”. А созвездия подобны ангелам: одна половина их мужского пола, другая — женского. И этим небесные сферы подобны земным, ибо числовое значение букв, составляющих слово “небо” на иврите, равно числовому значению букв,

составляющих слова “мужчина и женщина“.* И если они уж так устроены, то они тоскуют друг по другу наверху точно так же, как внизу, ибо таково уж свойство мужчины и женщины, что они тянутся друг к другу, каждый под своей звездой. На что же тогда полагались сыны племени Веньяминова, похищая себе в виноградниках жен из дочерей Шило?*** Разве они не должны были остерегаться того, что дочери Шило не были предназначены им судьбой? Но дело в том, что они знали: на вершине одной из гор в земле Веньяминовой будет построен Храм,*** который будет принадлежать всем без исключения сынам Израилевым. Потому цвет герба колена Веньяминова был похож на цвета гербов всех других колен, и, следовательно, сыны Веньяминовы были уверены, что похищенные ими жены предназначены им самой судьбой.

4

Всякий человек, развивающий свои идеи, может распространяться о них до бесконечности и может прекратить говорить о них, как только пожелает. Так и

* Каждая буква еврейского алфавита имеет, кроме вокального, также и числовое значение. Числовое значение букв слова “небо“ (на иврите): $300 + 40 + 10 + 40 = 390$; слов “мужчина и женщина“: $7 + 20 + 200 + 6 + 50 + 100 + 2 + 5 = 390$.

** По библейскому преданию, до построения Иерусалимского Храма скиния Завета находилась в городке Шило. Сюда приходили израильтяне на праздники в период судей. Девушки Шило устраивали пляски и хороводы. И когда за жестокий поступок, совершенный в наделе колена Веньяминова, другие колена Израилевы отказались выдавать дочерей сынам Веньяминовым, последние воспользовались праздничным хороводом дочерей Шило и похитили многих из них.

*** Речь идет о Иерусалимском Храме, который находится в наделе колена Веньяминова.

Гамзу, который все рассказывал и рассказывал о магической силе амулетов и о законах, относящихся к знакам зодиака, пока не перестал и принялся рассказывать о своих путешествиях.

— Если вы хотите, — сказал он, — узнать евреев времен танаев,* поезжайте-ка в город Амадию, там живут сорок еврейских семейств, богобоязненных и верных заветам предков. Каждое утро они чуть свет встают и идут на молитву, но молиться они не умеют, только произносят одну фразу из наших молитв: “Слушай, Израиль, Господ Бог наш — Бог единый” и вторят кантору словом “аминь”. И обряда накладывания филактерий они не соблюдают, кроме хахама и еще одного старика. Все то время, пока продолжается богослужение, они сидят и молчат. Когда кантор произносит благословения, они добросовестно подпевают ему “аминь”, а когда он доходит до молитвы “Слушай, Израиль”, их охватывает страшное волнение, и всю эту фразу они произносят, пребывая в страхе великом и содрогаясь от трепета душевного, как будто пробил их час, и они идут на заклятие для спасения мира. А около Амадии бродят пастухи, высокорослые и длиннородые. Они ночуют в горных ущельях вместе со своими стадами, и о законе Моисеевом знать не знают и ведать не ведают и на молитву не ходят даже на Рош Гашана. Их и им подобных подразумевает Мишна, говоря о тех, кто проходил позади синагоги и слышал звук шофара**. Раз в год

* Танаи — еврейские мудрецы и законоучители в Палестине в первом и втором веке н.э. Их так называемое “устное учение”, в отличие от “письменного учения”, т.е. библейского Пятикнижия или Торы, было собрано в Мишне — своде законов, включенном впоследствии в Талмуд.

** В некоторые праздники в синагогах по древней традиции трубят в бараний рог — шофар. Шофар символизирует также пришествие Мессии, который провозгласит свой приход трубным гласом бараньего рога.

приходит к ним вавилонский хахам, чтобы совершить обряд обрезания над детьми, родившимися в этом году.

— Ваша жена, — спросил я Гамзу, — из этих?

— Моя жена, — ответил Гамзу, — не из этих. Жена моя из других краев. С гор она. Сначала ее предки жили у многоводных источников, где простираются тучные пастбища. Соседи их шли на них войной, они же отражали их нападения и отгоняли обратно на прежние места. И настолько велика была их отвага, что несколько дружин из их воинов совершали набеги на чужие земли. По их поверью, они происходят из колена Гадова. А о Гаде ведь сказано: “Благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову”.* Но они не знали, что благословение это в силе, когда евреи — в стране Израиля, а не когда они рассеяны в странах изгнания.

— Однажды, — продолжал Гамзу, — все иноплеменники собрались на них походом, победили их, многих убили, многих взяли в плен и обратили в рабство. Оставшиеся бежали в горы и там обосновались. Живут они там и по сей день, не ведая страха перед иноплеменниками; лишь раз в несколько лет приходят к ним сборщики взимать налоги. Кто хочет — платит, кто не хочет — берет свое оружие и скрывается в горах, пока сборщики не уйдут. Иногда такой беглец не возвращается обратно, становясь добычей орлов. И все эти годы ждут они часа, когда смогут вернуться в страну Израиля, так как сам Господь Бог дал им устами блаженной памяти Моисея обещание в том, что все они вернутся, ибо сказано о Гаде: “Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам” и, таким образом, все дружины колена этого вернутся по пятам своим во владения свои, в Заиорданье, все до единого.

* Речь идет о благословении, данном Моисеем перед смертью всем двенадцати коленам Израилевым. В этом благословении (Второзаконие, 33:20) колена Гадово представлено как воинствующее и могущественное.

Более того, вернутся они очень богатыми и много ценностей привезут с собой. В тот период, — продолжал Гамзу, — они сами себе казались ничтожными, и многие из них сердцем изболелись от того, что изгнанию нет конца и края, а их надежды и чаяния веками не сбываются. Однако в сердцах их будет жить память о тесте моем Геварии, сыне Геуэля, потому что он читал им легенды и толкования библейских текстов, переводил комментарии на их язык и укреплял их в вере, так что они вскоре запомнили наизусть все обещания, данные нам Господом, и все миссии, возложенные на нас в связи с приходом Мессии. Итак, — говорил далее Гамзу, — Гевария, сын Геуэля, был мужественнейшим из мужей. Лик его, словно лик льва, сила его, словно сила вола, а бег его легок, как полет орла. Славословия Богу у него на устах, и меч обоюдоострый в руке его. В синагоге он кантор, а в мастерской своей он кует оружие. Он же лечит больных, изготавливает амулеты и учит невест плясать и петь свадебные песни. И все это делает он безвозмездно. А дочь его Гмула помогала ему, ибо она знала все песни как те, что пелись во времена, когда они жили при источниках, так и те, что они пели в горах.

— Эх, если бы вы могли видеть, — продолжал Гамзу, — моего тестя Геварию, стоящим на утесе скалы, с голубым тюрбаном на голове, с развевающимися великолепными кудрями и бородой, со светящимися, как два солнца, глазами, с босыми, отливающими золотом ногами. Пальцами ног он давил на скалу, и скала вздымалась, извлекая песнь из глубин бездны. Попеременно простирал и сгибал он руку свою, а тем временем глос его дочери Гмулы вибрировал в пении, и от двадцати двух до двадцати семи благородных девиц — писаных красавиц танцевали под ее пение. Если бы глаза ваши все это видели, вы бы узрели крупицу тех славных времен жизни Израиля, когда дочери Израилевы пускались в пляс в виноградниках.

Каким же образом Гамзу попал к ним?

— Я поехал искать рукописи, — рассказывал

Гамзу. — Сперва ехал морем, а потом сорок дней бродил по пустыне. Однажды разразилась песчаная буря. Не успел я припасть к земле (так делают путники в пустыне, припадая лицом к земле и ожидая, пока буря прснесется), как песок засыпал мне глаза, ослепил меня, и весь мир для меня померк. Предводитель каравана посочувствовал мне в несчастье, и, когда мы несколько дней спустя добрались до населенного пункта, привел меня к одному человеку и сказал ему: “Это сын вашего народа“. Человек этот был Гевария, сын Геуэля. Он дал мне лекарство и целебные снадобья, а дочь его Гмула ухаживала за мной, пока я лежал в постели.

Около двенадцати лет было Гмуле в ту пору, и лик, и голос ее были краше всех красот мира. Даже когда она произносила самые простые слова, как, например: “Твоя повязка сдвинулась с места, Гавриэль“, или “Опусти глаз, я его смажу“, — душа моя радовалась так, будто мне поют песни или воздают хвалу. А когда она пела, голос ее был подобен голосу Грофит-птицы, самого сладкогоголосого существа на свете. Сначала я с трудом понимал их, даже когда они говорили со мной на святом языке, так как они растягивают гласные и отделяют согласные и большую часть слов произносят иначе, не так, как мы, да и говорят они в другом ритме, так что я не мог отличить святой язык от языка, на котором они говорят между собой. А язык этот, кроме них, никто не знает. И еще один язык был у Гмулы и ее отца. Много раз встречал я их под вечер, сидящих вместе. Белый ягненок лежит у Гмулы на коленях, над кудрями старика витает птичка небесная, и оба они беседуют то быстро, то медленно, а на лицах их то улыбка, то ужас. Слушаю я и ни слова не понимаю, пока Гмула не раскрыла мне по секрету, что это выдуманый язык, который они оба придумали для своего развлечения. Но с тех пор, как Гмула покинула родные места, она вырвала с корнем все эти языки, и с уст ее не срывается ни один напев, кроме как в полнолуние, когда она совершает свои хождения и при

этом поет. В тот день, когда я продал магические листья, она тоже говорила на тех языках и сладко пела свои напевы. А вечером сказала: "Мне очень хочется обжонков". Обжонки — это лепешки такие, что пекут на жарких углях, угли обжигают их, вот они и зовутся обжонками... А теперь я пойду и посмотрю, не вернулась ли моя жена.

Гамзу снял ермолку, надел шляпу и встал со стула. Он направился к двери, но, не дойдя до нее, вернулся и стал ходить по комнате, заложив руки за спину. Пальцы его левой руки нервно шевелились.

— Я сам себе удивляюсь, — начал он через несколько минут. — Зачем я пришел сюда, тем более, что я никого не видел и не знал, что вы здесь. Однако я уверен, что в этом есть какой-то смысл, и от того, что я не знаю причины моего прихода, смысл этот не пропадает. Кто здесь живет?

— Человек, которого зовут доктором Грейфенбахом.

— А где он?

— Уехал с женой за границу. Вы знакомы с ним?

— Нет, не знаком. Этот Грейфенбах врач?

— Врач, оставивший свою профессию. Почему вы спрашиваете?

Гамзу не обратил внимания на мой вопрос.

— А кто еще здесь находится? — спросил он.

— Я и вы. До отъезда Грейфенбахов я обещал им смотреть за домом, они боятся взломщиков. Их много развелось после войны. Теперь я выполняю свое обещание. Пришел сюда ночевать.

Гамзу насторожился.

— А жильцов здесь нет?

— Есть один жилец, которого никогда не бывает дома. Почему вы спрашиваете?

Гамзу покраснел и промолчал.

— Как зовут этого жильца? — спросил он, однако, несколько минут спустя.

Я назвал ему имя.

— Возможно ли, — спросил он, — что это знаменитый доктор Гинат?

— Разве вы с ним знакомы? — спросил я в свою очередь.

— Я не знаком с ним, — ответил Гамзу, — но я слышал о его трудах. По правде говоря, я их не читал. Я никогда не заглядываю в книги возрастом моложе четырехсот лет.

— Книгам Гината, — ответил я, — не то что четырехста, а все четыре тысячи лет и более.

Гамзу улыбнулся.

— Я сужу о вине, — заметил он, — по сосуду, а не по качеству.

— Коли так, — улыбнулся я, — через четыреста лет вы заглянете в книги Гината?

— Если в моем третьем или четвертом перевоплощении я буду иметь дело с книгами, то, может быть, загляну и в книги Гината.

— Ведь сказано в Писании, — ответил я, — “Все это делает Бог два-три раза с человеком“.* А в другом месте Писания говорится: “За три преступления Израиля и за четыре не пощаду его“.** Следовательно, евреи могут пройти всего через два-три перевоплощения в нашем мире, — все, кроме тех, которым осталось завершить выполнение хоть одного из шестисот тринадцати заветов,*** обязательных для каждого еврея. Эти могут перевоплощаться хоть тысячу раз, а все другие — нет. Как же вы говорите о четырех перевоплощениях?

— Виноват, — сказал Гамзу, — это я по ошибке. Ведь вам известно мое мнение: ни один еврей не должен произнести что-нибудь, чему нет обоснования в Библии, а тем более противоречащее тому, о чем ясно сказано в Библии. Ради Бога, не приводите мне доводов тех, кто подвергает критике библейские тексты,

* Книга Иова, 33:29.

** Книга Амоса, 2:6.

*** По еврейской традиции каждый еврей обязан выполнить 613 заветов, включающих 365 повелений негативного характера, т.е. запретов.

ибо они вверх дном переворачивают слова самого Господа Бога. Этому они научились у иностранных ученых, хотя в глубине души они сами знают, что ни одна фраза в Библии не подлежит изменению и каждое слово должно сохраниться в той форме, в какой традиция сохранила его для нас. Однако даже хасидские цадики искажают библейский текст, но они хотя бы делают это с благими намерениями, вводя таким путем какую-нибудь божественную, морально-религиозную идею, а критики, не обладающие такими добродетелями, просто коверкают смысл Библии так, как им заблагорассудится. Итак, вы говорите, что Гинат живет здесь? Вы знакомы с ним?

— Нет, — ответил я, — не знаком и вряд ли мне доведется познакомиться с ним. Он прячется от людей, и даже хозяева не видят его.

— Это говорит в его пользу, — сказал Гамзу, — я люблю таких ученых, которые стараются не афишировать себя. Вот я вам кое-что расскажу. Приезжаю я как-то в Лондон, рассказываю одному ученому, что привез с собой рукопись. Он сразу же соизволил явиться ко мне в сопровождении двух человек — журналиста и фотографа. Разложил он все книги, что я ему показал, уселся, как великий мудрец, и смотрит в них, а фотограф снимает его. Дня два-три спустя мне приносят газету. Смотрю я и вижу физиономию, окруженную книгами, а вокруг — сплошные похвалы этому ученому, который якобы обнаружил драгоценные книги, о существовании которых никто до него не знал. Каково ваше мнение об этом?

— Мое мнение то же, что и ваше.

Гамзу укоризненно посмотрел на меня и сказал:

— Ведь вы же не знаете моего мнения. Как же вы говорите, что ваше мнение то же, что мое? Смеесть вы, что ли, надо мной?

— Не над вами, — ответил я, — а над тем ученым и ему подобным, что тратят свое время на внешнюю суету. А ведь если бы они посвящали свои силы делу, может быть, они бы прославились гораздо больше.

— Нет, — сказал Гамзу, — больше они бы не прославились.

— Коли так, — говорю я, — они правы, поступая подобным образом.

— А теперь я уйду, — сказал Гамзу в заключение.

Около полуночи он попрощался и ушел. Я пошел проводить его.

Было полнолуние, и весь город светился бледным, лунным светом. Видишь такую ночь и перестаешь удивляться тому, что лунатики покидают свои постели и выходят бродить вместе с луной. Дойдя до квартала около Шхемских ворот, где живут грузинские евреи, я попрощался с ним и пожелал ему найти жену. Он достал платок, вытер глаза и сказал:

— Дай Бог.

— Если вы захотите мне сообщить что-нибудь, вы найдете меня дома. Я собираюсь утром вернуться к себе домой.

5

Я вернулся в дом Грейфенбахов и лег в постель. Наконец пришел ко мне сон, и я задремал, но лишь до тех пор, пока не встрепенулся от лязга колес поезда. Поезд дошел до Гармиша и остановился. Дверь вагона открылась. Показались высокие горы и водные источники, и послышался голос, поющий: “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма“. Голос этот увлек меня. Я было собрался пойти за ним, но дверь передо мной закрылась. Вдруг появилась луна и укрыла меня своим светом. Я улыбнулся ей одним глазом, а она рассмеялась мне всем своим лицом.

...Поезда не было. Я лежал на кровати в комнате Грейфенбахов. Повернувшись на бок, я закрылся одеялом выше глаз и, защищаясь от светившего мне в лицо месяца, раздумывал о замкнувшемся в себе мире, где пути туда, куда бы нам хотелось добраться, закрыты для всех, кроме луны, которая разгуливает

себе по всему свету и напевает: “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма”.

Пообедав в ресторане, я вернулся к своей работе. Когда я собрался сварить себе кофе, оказалось, что в кране нет ни капли воды. Я поднялся на крышу и проверил водяные баки. Баки накалились на солнце, а воды на дне их было всего несколько капель, каждая величиной с крупинку. Раскаленный Иерусалим страдал в ту пору от недостатка воды. Я оставил свою работу и отправился к Грейфенбахам, так как у них во дворе была цистерна, где собиралась дождевая вода, как в старых домах Иерусалима, жители которых в былые времена пили дождевую воду.

Даже дома в Иерусалиме проходят через разные стадии перевоплощения. Пожалуй, нет ни одного дома в городе, о котором нельзя было бы рассказать множество историй, тем более о первых домах, построенных вне крепостной стены, окружающей Старый город. Около семидесяти лет назад один богач из Галлиполи, синьор Гамлиэль Гирон, прибыл в Иерусалим доживать остаток дней своих в Святом городе. Ему не удалось найти себе квартиру по своим потребностям, так как все еврейское население ютилось в старых дворах внутри города, окруженного стеной, и в каждом дворе жило по нескольку семей, и каждая семья состояла из множества людей. Тогда он купил две тысячи локтей земли вне города, под Шхемскими воротами, построил себе там просторный дом и вокруг него посадил сад. Так как дом стоял вдалеке от центра города и поблизости не было синагоги, он отвел одну комнату под молельню и нанял людей, чтобы они молились в ней. Умирая, он завещал этот дом благотворительному обществу.

Однажды руководителям общества понадобились деньги для уплаты военного налога, и они заложили дом. Несколько лет дом был заложен и не было денег выкупить его. В один прекрасный день собрались должники и продали его. Дом достался одному немцу по имени Готхольд Гензиклейн, председателю секты

“отрешившихся“, являющейся ответвлением секты “Гемайншафт дер герехтен“,* созданной в Герлице Готфридом Грейлихом. Зажил Гензиклейн в этом доме со своей женой и с матерью жены, собирал своих сектантов и проповедовал им о трех истинных отрешениях, приводящих к освобождению плоти и к расширению границ души человеческой.

Как-то раз произошла ссора между женой Гензиклейна и ее матерью. Во время ссоры дочь откусила нос своей матери, чтобы вызвать к ней отвращение ее мужа. Об этом узнали, и Гензиклейну пришлось со стыда покинуть страну.

Тогда появились трое выходцев из Грузии. Все трое приходились друг другу зятьями и были специалистами по изготовлению сыра. Они купили этот дом и стали изготавливать сыры. Разразилась первая мировая война, и по приказу Джамаль-паши они были изгнаны из Палестины: их заподозрили в сионизме, так как на их сыре было обнаружено изображение шестиконечной звезды — щита Давида. После войны дом был арендован Комитетом еврейских депутатов для одного из своих почетных членов — Георга Гендинброда.

Дом был отремонтирован, мусор убран, сад восстановлен, а весь участок огорожен. Но не успел еще господин Гендинброд переехать в этот дом, как жена его Гиндлейн заявила, что не желает жить в Иерусалиме. Оба они вернулись в Глазго, а дом был превращен в учреждение.

Во время землетрясения дом был поврежден, крыша его расшаталась. Несколько лет стоял он без жильцов, но появился Герхард Грейфенбах и отделал его, провел электричество, водопровод, внес другие улучшения. Герхард Грейфенбах с женой прожили в этом доме несколько лет до того дня, когда им захотелось отправиться за границу, чтобы отдохнуть от трудов праведных в нашей стране, а я согласился следить

* “Общество праведников“ (немецк.).

за домом, чтобы не проникли взломщики и не захватили его. Герхард и жена его Герда странствуют себе по зарубежным странам, а я вот уже двое суток сижу в их доме.

Одиноко стоит он посреди сада в долине, светится лунным светом. А каков дом, таков сад и все, что находится в саду. Каждое дерево и каждый куст стоит сам по себе и не водится с другими. Только луна не признает различий и одинаково светит всем.

Стою я у окна и смотрю в сад. Все деревья и кусты спят; в саду, однако, слышатся звуки шагов. Если это не Гинат, вернувшийся из странствований, то это Гавриэль Гамзу. Провожая его вчерашней ночью, я попросил его сообщить мне о здоровье жены. Но, может быть, это не Гамзу, а Бог весть кто?

Светлый, добрый месяц не обманул меня. Шел не кто иной, как Гамзу. Я открыл ему дверь и провел в комнату. Гамзу взял стул и сел. Вытащив из кармана бумажку, он скрутил себе маленькую сигаретку, взял ее в рот, зажег и стал курить, не обращая внимания на то, что я стою и жду, чтобы он рассказал мне о том, нашел ли он свою жену или нет. Я обиделся и молчал.

— Вы ничего не спрашиваете о моей жене, — промолвил вдруг Гамзу.

— Если у вас есть что рассказать, рассказывайте, — ответил я.

— Да, — сказал Гамзу, — у меня есть что рассказать. Нет ли здесь пепельницы?

Я принес ему пепельницу. Он взял ее в руки и положил окурок. Затем, оглядев меня здоровым глазом, протер свой больной глаз, погладил рукой бороду и, лизнув руку кончиком языка, сказал:

— Я думал, что обжегся сигаретой, а оказалось, что меня укусил комар. В этом доме есть комары.

— Может, есть, а может, и нет, — сказал я. — Во всяком случае, обрадовавшись такому дорогому гостю, как вы, я не чувствую их.

Внезапно Гамзу, как бы очнувшись, воскликнул:

— Я нашел ее! Нашел! В постели нашел я ее, погруженную в глубокий сон.

“Следовало бы узнать, — подумал я, — каким образом нашел Гамзу свою жену. Я, однако, его расспрашивать не стану. Если он сам расскажет — с удовольствием выслушаю, не расскажет — не надо. А то он еще подумает, что я вмешиваюсь в его личные дела“.

Прошло некоторое время, а он не проронил ни слова. Казалось, он совсем перестал думать об этом. Вдруг он провел рукой по лбу, как человек, пробудившийся от сна, и стал подробно рассказывать о том, как он пришел домой, как открыл дверь и заглянул в комнату, не рассчитывая найти кого-либо. Совершенно неожиданно он услышал чье-то дыхание. Он подумал, что, поскольку у него в мыслях только жена, то ему кажется, что это ее дыхание. Однако, подойдя к кровати, он нашел ее, лежащей в постели. От радости он чуть было Богу душу не отдал, но ее дыхание вернуло и ему жизнь.

Я сидел молча и диву давался. Ведь я же ему вчера сказал, что возвращаюсь домой, и в эту ночь меня не будет у Грейфенбахов. Зачем же он пришел сюда? А больше всего дивился я тому, что он оставил свою жену одну в такую лунную ночь, после того как луна уже доказала ему, на что она способна.

— Вы удивляетесь тому, — сказал мне Гамзу, — что я оставил Гмулу?

— Верно, — ответил я, — я действительно удивляюсь, что вы оставили жену.

Гамзу улыбнулся не то живым, не то мертвым глазом.

— Теперь, — сказал он, — даже если Гмула проснется и если даже она встанет с кровати, она не пойдет в свои прогулки.

Тогда я спросил его, не нашел ли он свой амулет.

— Нет, — сказал Гамзу, — не нашел.

— Как же вы оставили свою жену? Сама луна дала вам, что ли, клятвенное заверение, что в эту ночь она оставит в покое вашу жену в ее постели? В самом

деле, уважаемый Гавриэль, откуда у вас такая уверенность?

— Я нашел лекарство.

— Вы обратились к врачу, и он дал вам рецепт?

— Я не обращался к врачам, так как не имею обыкновения к ним обращаться. Хотя они и знают названия всех болезней и всех симптомов, я на них не полагаюсь. Зато полагаюсь на тех, кто подверг себя очищению, изучая Тору, и, таким образом, приобрел знания, как исцелять каждый орган человеческого тела, а тем более те их них, в которых хранится душа.

— Вы нашли такого человека, и он дал вам лекарство для Гмулы?

— Лекарство было уже готово, — сказал Гамзу. — И вот каким образом. Когда я учился в ешиботе рабби Шмуэля Розенберга в Инсдорфе, пришла как-то одна женщина и рассказала ему, что у нее живет парень — сердечнобольной и лунатик. Каждый месяц, в новолуние, он вылезает через окно, поднимается на крышу и подвергает свою жизнь опасности. Если он когда-нибудь во время своих хождений проснется, он может упасть и убиться на смерть. Не раз она обращалась к врачам и все без толку. Рабби Шмуэль сказал: “Возьми какую-нибудь толстую ткань, погрузи ее в холодную воду и держи до тех пор, пока она не станет совсем мокрой, и положи у кровати твоего парня. Как только он сойдет с кровати, и ноги его коснутся мокрой одежды, он сразу же проснется от холода и вернется к себе в постель“. Так она сделала, и парень выздоровел. В эту ночь и я проделал так. Теперь я уверен, что если даже Гмула проснется и встанет на ноги, она вернется к себе в постель.

Моему удивлению не было границ.

Если это действительно способ лечения, отчего Гамзу не прибегал к нему до сих пор?

Гамзу заметил мое изумление и сказал:

— Вы удивляетесь и не можете понять, чего я ждал все время и почему не поступал так до сих пор?

— Не так уж я удивляюсь. Вы настолько поглощены сверхъестественным, что упустили из виду естественные методы лечения и обыкновенные лекарства.

— На это я могу вам дать два ответа, — сказал Гамзу. — Во-первых, сверхъестественные целительные средства — тоже лекарства. Я их на себе испытал. Как-то раз, во время моих странствий, я заболел в пути и вылечился, применяя средства, имеющие магическую силу. Когда я приехал в Европу и рассказал об этом врачам специалистам, они мне объяснили: “Средства, мол, которыми вы лечились, не что иное, как лекарства, и ими лечились ранее до тех пор, пока не нашли другие, более эффективные и более удобные для употребления. Тогда прежние перестали употреблять и сдали в архив“. Что же касается того, почему я ждал до сих пор, то на то была воля Божья. Господь заступился, по-видимому, за честь этого праведника рабби Шмуэля и за то, что я покинул его ешибот и предпочел ему другие ешиботы, он наказал меня тем, что я забыл об этом средстве и лишь сегодня совершенно случайно вспомнил о нем, когда уселся зашивать прореху в моей одежде. Держу ее в руках — и вдруг осенило меня. Я вскочил с места, погрузил одежду в воду, и когда убедился, что она мокрая, разостлал ее у кровати Гмулы.

— А теперь, — сказал я Гамзу, — я хочу вас вот о чем спросить: вы не нашли меня дома и поэтому пришли сюда?

— Я не ходил к вам домой и не думал идти сюда, — ответил Гамзу.

— Вы, однако, пришли.

— Да, пришел, сам того не сознавая.

— Вот видите, уважаемый Гавриэль, сердце ваше надежнее вас, оно и привело вас сюда, чтобы вы могли сдержать свое слово и рассказать мне о здоровье вашей жены.

— Дело было так, — начал Гамзу свой рассказ. — Сижу я у себя дома и вижу — Гмула спит. И мне пришла в голову мысль: а что если, пока она спит, я пойду и узнаю, как поживает Амрами? Я проверил одежду, разостланную у ее кровати, снова погрузил ее в воду, снова разостлал ее и вышел из дому. Иду и думаю: “Этот Амрами родился и вырос в Иерусалиме,

а после того как он сорок или пятьдесят лет пробыл за границей и вернулся на родину, у него ничего-то не осталось из всего того, что нажил он за эти сорок-пятьдесят лет, кроме маленькой внучки и нескольких еврейских книг“. От мыслей об Амрами я перешел к размышлениям о других уроженцах нашей земли, уехавших за границу сорок-пятьдесят лет назад и променявших жизнь на родине на легкие заработки на чужбине. Некоторые из них добились успехов и разбогатели. А когда разразилась катастрофа, они лишились всего, что у них было, и вернулись в страну Израиля. Теперь они жалуется на то, что страна чуждается их. Жалобы их я слышу, но особых страданий что-то не вижу.

— Вдруг раздался крик. Я бросился туда, откуда он послышался, и увидел девушку и парня. “Гюнтер, — причитает она, — дорогой, любимый Гюнтер, ведь ты жив, ведь этот араб не ранил тебя?“ А произошло вот что. Гуляли парень с девушкой в одной из загородных долин, как вдруг пристал к ним какой-то араб. Парень прикрикнул на него, чтобы тот отстал от них, а араб вытащил нож и стал грозить им. Девушка испугалась, решив, что араб ранил ножом ее возлюбленного. Между тем я незаметно сошел с дороги и, очутившись в долине, остановился и подумал: “Что я здесь делаю? Ведь я должен был пойти к Амрами, а пришел почему-то сюда, к этому самому дому“. Вам, может быть, это понятно, а мне — нет. Так же, как до сих пор, непонятно мне, почему я и вчера пришел сюда.

— Не так ли говорили наши мудрецы, — заметил я, — “Куда человеку суждено идти, туда его и ноги несут“. Только не всегда человек знает, для чего именно идти в то или иное место.

— Это верно, — сказал Гамзу, — куда человеку суждено идти, туда его и ноги несут. По своей воле или поневоле, — а ноги несут. Многие спрашивают: „Каким образом дошло до тебя песнопение Адизеля?“ И если вы вслух и не спрашивали об этом, то в душе вы не раз, вероятно, задавали мне этот вопрос.

— Неважно, спрашивал я или нет, — ответил я, — но вы мне действительно не рассказывали об этом.

— Если вы желаете, я вам расскажу, — сказал Гамзу.

— Если вы желаете, расскажите, — согласился я.

— Как-то раз, — начал Гамзу, — пришел я в одну деревню и вдруг чувствую — ноги мои отказываются покинуть ее. И говорю я самому себе: “Нет на свете ничего глупее, чем задерживаться в этой захолустной деревушке. Если и живут в ней евреи, то они малограмотны, придавлены бедностью и с трудом добывают себе средства на жизнь либо земледелием, либо тем, что скупают у соседей плоды деревьев и продают их торговцам фруктами из города. И у таких людей ты ищешь книги?”

— Пока я так рассуждал, наступила суббота. Я остановился у ремесленника, что плетет корзинки из ветвей смоковниц и финиковых пальм. Пошел я вместе с ним в синагогу, построенную из пальмовых бревен, почерневших от времени. Собрались все члены общины, сняли обувь, зажгли глиняные светильники и сидя читали книгу “Песнь песней”, а стоя произносили субботнюю молитву. Они прочли также молитву “Он, преисполненный милосердия, простит нам грехи наши” — будто день был будний. И хотя мелодии, на которые распевали они молитвенные гимны, непривычны нашему уху, они обладают притягательной силой для еврейской души. То же можно сказать и об их обычаях, перешедших к ним по традиции от их отцов и прадедов, вплоть до изгнанников времен вавилонского царя Навуходоносора, основавших эту синагогу. Когда Навуходоносор изгнал израильтян из Иерусалима, он повелел собрать все жернова в стране Израиля и водрузить их на плечи израильских юношей. И водрузили юноши жернова на свои плечи и отправились в изгнание. О них-то и говорит пророк Иеремия: “Юношей берут к жерновам”, а псалмопевец поет: “Изнурил он в пути силы мои”. Увидел Бог, что они в беде и наградил камни жерновов жизненной силой. Словно на крыльях взлетели камни ввысь и понесли юношей в края, где не было ни гонителей, ни притеснителей. Часть этих камней послужила фундаментом для сина-

гоги, а из оставшихся построили дома для изгнанников.

— Среди юношей были и глубоко сведущие в законоучении, познавшие тайны Священного писания и преисполненные святого духа. Не раз приходила мне в голову мысль о том, что их обычаи, возможно, более угодны Богу, чем наши. Итак, они использовали камни для синагоги и основали огромное поселение, величиной чуть ли не с целое государство. Все же были основания опасаться, что они бесследно исчезнут с лица земли, так как не было среди них женщин. Тогда прояснил их взор Всевышний, и они вдруг узрели выходящих из моря молодых девушек, из тех, о которых сказано в Библии: "От Васана возвращу, выведу из глубины морской".* Каждый взял себе в жены одну из них, породил с ней сыновей и дочерей, и все они прожили свой век в мире и довольствии.

— Так продолжалось несколько поколений, пока от хорошей жизни забыли они Иерусалим. И когда Ездра** в послании своем призывал их вернуться в Иерусалим, они отказались, говоря, что Бог заменил им этим краем Иерусалим, и тут они пользуются всеми благами. Однажды напали на них полчища чужеродных племен, уничтожили почти всех, оставив в живых только горсточку. Тогда уцелевшие принесли полное покаяние и вспомнили про Иерусалим, поняв, что все эти народы обрушились на них в наказание за грехи.

— А теперь я возвращусь к тому, с чего начал. Помолившись, они стали обниматься, целовать друг друга в плечо и в бороду, поздравлять с праздником светлой субботы и с благословением на устах разошлись. Я вместе со своим хозяином вернулся к нему домой и пообедал с ним, с его двумя женами и с его детьми.

Полулежа на циновках, все они ели, пили и распе-

* Одно из пророчеств о возвращении на родину пленных евреев (Псалмы, 67:23).

** Ездра или Эзра — один из духовных вождей евреев, вернувшихся из вавилонского плена. В одной из библейских книг, носящих его имя, подробно рассказано о его реформаторской деятельности.

вали незнакомые мне песнопения, которых я не нашел ни в одном из литургических сборников. Ночью, еще до зари, меня разбудило пение и, проснувшись, я увидел хозяина, сидящего на циновке и распевающего, покачиваясь, песни и хвалебные гимны. Я умыл руки, прислушался и такое услышал, чего весь мой век не слышал и не видел ни в одном сборнике литургических песнопений.

Я был так захвачен проникновенностью этих песен, что мне и в голову не пришло спросить, кто их автор и каким образом они попали к деревенским жителям. Но даже если бы я спросил, он бы мне не ответил, ибо в тех местах не принято разговаривать до утренней молитвы.

Закончив свое пение, он отправился со мной в молельню, так как по их обычаю молятся на рассвете. Вся община расселась в молельне вдоль четырех ее стен и распевала литургические гимны. Принято у них, что каждый громко читает один стих, четко выговаривая каждое слово, за ним — следующий и так до последнего. И кажется, что читающий проверяет себя, действительно ли он достоин представлять общину народа Израиля перед Всевышним. Поэтому, заканчивая стих, он понижает голос, как бы убедившись, что недостойн выполнять такую миссию. Их свитки Торы написаны на оленьей коже, и к чтению Торы не принято у них вызывать больше семи человек. Во время чтения приходят женщины и садятся у входа.* Слышал я, что это древний обычай, который никто из праведников и мудрецов не оспаривал, ибо, когда народу Израиля была дана Тора, ни у кого не было дурных помыслов. И до сих пор те, кто всей душой преданы Торе, не ведают дурных вожелений.

После молитвы я вернулся со своим хозяином к нему домой. Опять сел он на циновку и начал петь ласкающие слух песни, восхваляющие Бога за то, что он избрал народ Израиля и дал ему священный

* В синагогах (кроме принадлежащих к реформистскому течению) женщинам отведена отгороженная часть зала или балкон.

субботный день, и те, кто соблюдают святость его, сами этой святостью преисполняются. Потом мы умыли руки и приступили к трапезе. Уже давно закончилась трапеза, а песнопениям не было конца.

— Откуда эти песни? — спросил я его.

— От отца, — говорит он. — Отец мой был большим ученым и знал все, что написано в книгах.

— Где же эти книги?

Он засунул руку в отверстие в стене и вытащил рукописи литургической поэзии, преисполненной великого благоговения. Среди них и гимны рабби Досы, сына рабби Пнуэля, который написал субботный гимн “Бог — господин мой“, но из скромности не подписал его своим именем. Лишь в четвертой строфе, когда перед его взором предстали два великих ангела — Знание и Разум, создающие ореол Господа Бога, лишь тогда, воспевая деяния этих ангелов, он вплел свое имя в начальные буквы следующих строк. Я также обнаружил там стихотворения Адиэля, написавшего литургический гимн “Народ, созданный Тобой, будет блюсти Твои заповеди“, и еще ряд других произведений древних поэтов, скрывавших свои имена. Стал я уговаривать хозяина, чтобы продал он мне свою книгу, а он — ни за что.

— Даже если ты дашь мне взамен целого вола, я не продам ее.

— Так разреши мне хотя бы переписать два-три гимна.

— Даже если ты дашь мне взамен ягненка, я не разрешу тебе этого.

— Как видите, он не хотел продать даже за такую плату, как вол, и не разрешил переписать даже за такое вознаграждение, как ягненок. Я был очень угнетен его отказом и уехал в город. Через три дня он ко мне пришел и дал мне книгу. Я хотел заплатить ему за нее, но он не принял денег. Я набавил цену, но он стоял на своем.

— Тебе этого мало? — спросил я.

— Боже упаси, — говорит он, — я отдаю ее тебе без денег.

— Почему ты отдаешь мне ее без денег?

— Какая тебе разница? Тебе хочется получить эту книгу, вот я и даю ее тебе.

— Я не хочу брать ее бесплатно. Я уплачу тебе столько, сколько она стоит.

Он заложил руки за спину и ушел. Тяжело было мне брать у бедного человека такую вещь без денег. Я обратился за советом к ученым раввинам этого города. Увидев меня, они вскочили со своих мест, пошли навстречу и приняли меня с большим почетом.

— Господа, — сказал я им, — за что вы оказываете мне все эти почести?

А они в ответ:

— А как же! Ведь ты — желанный в небесах.

— Не достоин я того, что вы говорите обо мне, — отвечаю я им. — Откуда вам известно, что в небесах пекутся обо мне?

— Явился к нам, — говорят они, — человек из деревни и рассказал, что ему во сне велено было отдать тебе священную рукопись, унаследованную им от отца, а отцом — от деда, дедом — от прадеда и так в течение многих поколений.

— Вот именно в связи с этой книгой пришел я. Оцените, пожалуйста, ее стоимость, и я вам вручу за нее деньги.

Убедившись, что я непоколебим, они согласились взять с меня определенную сумму, и я вручил ее им. Так я и не знаю, взял ли бедняк предназначенные ему деньги или нет. Возможно, тот, кто явился ему во сне, повелел ему пожертвовать эти деньги на благотворительные цели. Такова история сборника песнопений, который случилось мне приобрести незадолго до того, как я познакомился с Гмулой.

6

Ясна, как луна, была Гмула. Глаза — словно искры огненные, лицо — словно блеск звезды небесной, а голос — сладкий и мягкий, как тени вечерние. Стоило ей раскрыть рот и запеть, казалось, врата всех песнопений раскрываются перед тобой. Она также умела

печь обжонки и жарить мясо на углях. Двенадцать лет было Гмуле, когда Гамзу впервые добрался до их мест, но мудрость ее излучала такой свет, словно она зрелая женщина. Ибо отец посвятил ее в тайны премудростей из наследия предков, так как не было у него, кроме нее, ни сыновей, ни дочерей. Рожая Гмулу, умерла его жена, а другой он не брал. Жаль стало ему, что так много знаний исчезнет бесследно, и передал он их своей дочери.

Около года прожил Гамзу в доме ее отца, пока не начал выздоравливать. Когда ему полегчало, он поехал в Вену долечивать свой глаз. Целый год он пробыл там, но глаз своей спасти ему не удалось.

Все то время, что Гамзу провел в Вене, он утешал себя, говоря: "Как только глаз мой снова станет зрячим, я немедленно поеду к Гмуле". Однако, когда он вышел из больницы, у него не было денег на дорогу, так как все его средства ушли на лечение. В ту пору встретился ему Амрами, который сказал: "Овадьа и Овадьевич ищут такого человека, как ты, который согласился бы разъезжать по далеким странам и привозить им книги". Отправился Гамзу к Овадье и Овадьевичу. Они указали ему те места, куда он должен был ехать, снабдили его деньгами на дорогу и уполномочили тратить за их счет столько, сколько понадобится. Миссия его закончилась удачно, и хозяева остались им довольны. На заработанные деньги Гамзу поехал туда, где жила Гмула.

За то время, что его не было, там произошло из ряда вон выходящее событие. Нечто такое, что случается раз в сто лет. Святой человек, хахам из Иерусалима, забрел в поселок Гмулы и провел в нем шесть месяцев. И хотя прошло столько же с тех пор, как он покинул эти края, все жители не переставали говорить о нем. Больные рассказывали, как хахам Гидеон избавил их от мучений, другие же — о том, как он обучил их многому такому, что облегчает жизнь. Он же научил их пресекать разные болезни без заклинаний и даже излечивать недуги детей, умирающих от дурного глаза. Денег он с них не брал, а когда давали ему подарок,

он, принимая его, давал подарок взамен. По мнению Гамзу, хахам Гидеон не был иерусалимским хахамом, а европейским ученым, этнографом или кем-то вроде этого, о чем свидетельствует то, что он записывал в свою записную книжку все песни, услышанные им из уст Гмулы. Даже беседы ее с отцом на выдуманном ими языке он тоже записывал.

Итак, Гамзу вернулся к Гмуле. Увидев его, Гмула обрадовалась, как невеста радуется жениху. Она зажарила для него ягненка, испекла обжонки и спела ему все те песни, которые хвалил хахам Гидеон, не обращая внимания на своего соседа Гади, сына Гаима, считавшего, что Гмула предназначена ему с той поры, когда одна грудь вскормила их обоих, ибо мать Гади вскормила ее, как родную дочь.

В ту ночь приключилась беда с Геварией — Гмулиным отцом. Как-то раз взобрался он на вершину горы, чтобы учиться у орлов возрождать свою молодость. Налетел на него орел и, несмотря на то, что Гевария пришел с мирными намерениями, без палки и без оружия, стал яростно клевать его. Гевария боролся с ним, и если бы ему не удалось его осилить, он погиб бы, растерзанный и заклеванный, в когтях орла. Однако орел успел все же вонзить когти в левую руку Геварии и искромсать ее. Гевария все же не считал рану опасной, но через некоторое время внезапно заболел и умер.

Незадолго до смерти он устроил для Гмулы ночь плясок. Таков у них обычай — за семь дней до обручения устраивается ночь плясок. В эту ночь приходят парни и похищают из среды пляшущих для себя невест. Зная, что Гади, сын Гаима, намеревается похитить Гмулу, Гамзу опередил его. Так ему удалось заполучить Гмулу и повенчаться с ней.

Семь дней и семь ночей продолжалось пиршество. Гевария лежал на циновке и здоровой рукой руководил плясками. Семь разных танцев устраивал он каждую ночь и восемь — каждый день, предвещая, таким образом, что в урсный час родит Гмула сына, над которым на восьмой день будет совершен обряд обрезания.

Как только завершились семь дней пиршества, закончилась и жизнь Геварии.

Семь дней и семь ночей оплакивала Гмула своего отца, напевая днем и ночью песни скорби и печали. А когда истек срок траура, она отслужила большой молебен по отцу с плясками и песнями, чудесными и таинственными. По прошествии тридцати дней Гамзу заговорил с ней об отъезде. Гмула слушала его и не понимала, что он, собственно, хочет от нее. А когда поняла, рассердилась. Все же постепенно удалось ему уговорить ее, но она откладывала свой отъезд с недели на неделю и с месяца на месяц. Все это время луна не оказывала на нее своего действия. Как видно, из-за скорби по отцу она перестала быть подверженной влиянию луны, да и амулеты с их заклинаниями и магической силой охраняли ее, хотя пока что в ней не произошло никаких изменений, и она была все еще подобна свежему плоду смоковницы, еще не опавшему с дерева и хранящему в себе свой сладкий сок.

Когда наконец прошел год траура, она сама заявила, что готова ехать. Гамзу нанял двух верблюдов, и на них добрались они до того места в пустыне, откуда отправляются караваны. Там они присоединились к одному из караванов и были в пути сорок дней, пока не добрались до населенного пункта. Здесь Гамзу купил Гмуле башмаки, платье и шаль, и они продолжали свой путь до большого порта, где Гамзу купил билеты на пароход, привезший их в страну Израиля. Зачел им, видно, Бог в заслугу то, что они отправились в Святую землю и оградил их в пути от всякого зла. А как доехали они до страны Израиля, так сразу лишил он их своей защиты.

В комментарии Альшейха* приводится талмудическая дискуссия о том, происходит ли суд над человеком ежедневно или только в Рош Гашана. Диспут этот относился к странам диаспоры. Что касается страны Израиля, то в ней ежедневно взвешиваются

* Рабби Моше бен Хаим Альшейх (XI век) — известный богослов и комментатор Библии.

человечески поступки, и каждый день совершает Господь Бог суд как человеком. Первый приговор Его по отношению к Гамзу заключался в том, что Гмула перестала петь свои замечательные песни. Потом она отказалась говорить. Потом напала на нее меланхолия и наконец ее одолел тяжелый недуг. Из-за своей болезни она с каждым днем все больше и больше угнетала его, и он становился все более жалким и обездоленным.

В то время как Гамзу рассказывал свою повесть, мне послышался звук отворяемого окна, а вслед за ним — человеческий говор. Я не испугался, но удивлен был не на шутку. Ведь, кроме меня и Гамзу, никого в доме не было, а из нас двоих никто не открывал окна. Мне вспомнился вчерашний сон о поезде и об окне, открывающемся посреди ночи. И вновь подивился я тому, что сон возвращается к нам наяву и предстает перед нами, как реальность. Звук повторился. Я прислушался и подумал: “Гинат вернулся и открыл окно, но откуда слышался мне говор?”

Гамзу заметил, что я отвлекся от его рассказа.

— Вы устали, — спросил он, — хотите спать?

— Я не устал и не хочу спать, — ответил я.

— Вы чем-то встревожены?

— Я слышу шаги.

— Если полагаться на мой слух, не слышно здесь ни шагов, ни других звуков.

— Значит, я ошибся, — сказал я, — вернемся к нашему разговору.

Гамзу стал вновь рассказывать о том, что произошло с ним и с Гмулой в Иерусалиме. Не раз была Гмула на волосок от смерти, и если бы не милость Провидения, вряд ли он смог бы выдержать все это. Но велика милость Всевышнего. Хоть и ниспосылает Он страдания человеку, Он же и дарует ему силы выдержать их и устоять.

Не запомнилась мне связь между отдельными событиями, но помнится, что он вернулся к рассказу об одежде, и, упомянув про нее, вновь стал говорить о своем учителе. Назвав его, он вспомнил свою

юность, проведенную в ешиботах. Каждому известно, что Гамзу человек общительный и светский, пользующийся хорошей репутацией у ученых Востока и Запада — они нуждаются в нем, так как он достает редкие книги и рукописи. Но в бытность свою в ешиботе, он, как и другие, каждый день недели кормился у одного из состоятельных членов общины города.

Однажды один из них послал его купить сокращенный “Шулхан Арух”.* У книготорговца Гамзу наткнулся на странную книгу, отличавшуюся от всех других. Каждая вторая строка начиналась с абзаца, и все буквы были огласованы.** Верстка книги напоминала не то 136-й псалом, не то молитву покаяния “Ал-хет”, читаемую в Судный день.*** Целый час разглядывал он ее, ибо никогда прежде не приходилось ему видеть ничего подобного. Заметив его интерес к этой книге, продавец сказал: “За сорок серебряных монет она твоя”.

Сорок монет — огромная сумма для ешиботника, который даже за свою одежду не смог бы выручить таких денег. Был у Гамзу сундучок, сделанный для него одним столяром за то, что Гамзу обучал его сына. Сундук этот был, в сущности, лишним, так как все свои личные вещи, кроме одежды, что на нем, мог он без труда завернуть в свою рубаху. Однако сундучок представлял для Гамзу определенную ценность, делая его обладателем красивой вещи. Все же он отдал книготорговцу свой сундучок в обмен на книгу. А книга эта была собранием стихотворений Иегуды Галеви,

* Свод законов и предписаний, регламентирующих быт религиозного еврея. Составлен раввином Иосифом Каро, жившим в Палестине в XVI в.

** На иврите гласные не являются частью алфавита, а обозначаются особыми знаками под или над согласными буквами.

*** И там, и здесь многократно повторяющийся рефрен печатается обычно отдельным столбцом с заметными интервалами между ними и основным текстом.

изданным Шмуэлем Давидом Луцатто.* Гамзу перечитал сборник бесчисленное количество раз, пока не выучил его наизусть. Но и тогда он не успокоился. Он стал копошиться в различных молитвенниках — на будние, субботние и праздничные дни — и переписывать для себя литургические песнопения. У него не было возможности купить себе столько бумаги, чтобы переписать все, что полюбилось ему. Тогда он стал записывать только вступления и начальные строфы. Литургические песнопения настолько увлекли его, что он оставил свой ешибот и начал работать у книго-торговца.

Хозяин магазина, убедившись, что Гамзу разбирается в книгах, стал посылать его по разным домам, где можно было достать их. Ко вдовам, покойные мужья которых оставили им книги, и к светским богатым, старавшимся избавиться от религиозных книг. С течением времени он стал покупать их и для себя, а потом начал ездить в дальние страны и добираться до таких мест, где никогда не ступала нога европейца. Он проник в самую глубь пустыни и нашел там книги и рукописи, о которых лучшие библиографы понятия не имели. Он обнаружил также сборники анонимных авторов, из скромности скрывавших свои имена.

Скрутил Гамзу маленькую сигаретку и отложил ее в сторону. Протер свой мертвый глаз, улыбнулся здоровым глазом и, зажав пальцами незажженную сигарету, сказал:

— Когда я отправлюсь на тот свет, меня положат туда, где полагается лежать таким смертным, как я. К стыду своему буду я там лежать, но в душе все же буду оправдывать тех, кто поместил меня в такое место, ибо нет у меня ни заслуг, ни добрых деяний, за которые полагалось бы мне лучшее место. А пока что

* Выдающийся исследователь в области еврейской филологии и Библии, поэт и историк литературы. Родился в 1800 году в Триесте, умер в 1865 году в Падуе (Италия).

целые вереницы злых духов, возникших из моих грехов, предстают пред судом Всевышнего с обвинениями против меня, чтобы еще глубже погрузить меня в бездны ада. Пока вершится суд, я стою и твержу все песнопения, которые я выучил наизусть, и до того увлекаюсь, что забываю, где нахожусь. И настолько переполняется чувствами душа моя, что я начинаю читать все громче и громче. Слушают светлые поэты-песнопевцы и говорят между собой: "Что за голос раздается из могилы? Пойдемте посмотрим". Приходят они к могиле моей и видят мою омраченную душу. Тут же они поднимают меня своими святыми руками и говорят: "Это ты — тот неизвестный, кто извлек нас из бездны забвения?!" С великой скромностью праведников они улыбаются мне и говорят: "Пойдем с нами, Гавриэль". Усаживают они меня рядом с собой, и с тех пор я пребываю в их светлой обители. Этим и утешаюсь я ныне в горестях своих.

Рассуждая так, Гамзу улыбался, как бы стараясь убедить самого себя, что все им сказанное не что иное, как шутка. Но я, видевший его насквозь, знал, что он верит в то, что говорит, больше, чем он в том сам себе признается. Молча вглядывался я в лицо его, лицо средневекового еврея, неведомо как оказавшегося в нашем поколении для того, чтобы доставлять старинные издания и рукописи современным исследователям и ученым, которые публикуют их со своими примечаниями и библиографией, и для того, чтобы такие, как я, читали их и наслаждались.

Гамзу безропотно сносит выпавшие на его долю муки и утешается тем, что уготовано ему в будущем. А пока что он пребывает в большой печали, ибо жена его неизлечимо больна. Я заговорил с ним о лечебницах, где больные получают необходимый уход.

— Хорошо бы, — начал я, — поместить Гмулу в больницу. А что касается платы, то на первое время у вас есть чем уплатить — я имею в виду те двенадцать фунтов, которые находятся у меня, а остальные деньги тоже найдутся.

— Эти двенадцать фунтов, — сказал Гамзу, слегка сдвинув ермолку на голове, — из тех денег, что я выручил за рукописи, проданные мной ученому вместе с экземпляром, в котором были амулеты.

— Разве вы подозреваете, — спросил я Гамзу, — что эти амулеты достались ему обманным путем?

— Я человек не подозрительный, — сказал Гамзу. — Возможно, в первую минуту покупатель не заметил их. Обнаружив амулеты, он, вероятно, рассуждал так: "Поскольку они оказались у меня, они — мои". Возможно, он считал, что эти магические листья входят в купленный им товар. Вполне вероятно, что иногда он думает так, а иногда иначе. Мораль испокон веков склонна к компромиссам, и никто не утратил еще своей порядочности от того, что он толкует ее по-своему, особенно в отношении книг.

— Думаете ли вы, что он знает, в чем заключается сила этих листьев?

— Откуда он может знать? Если бы мне попала такая вещь, и никто бы мне не сказал, в чем ее сущность, разве я знал бы? Кроме того, все эти ученые — люди современные, и если вы даже и разъясните им смысл магических сил, они засмеют вас, а купив листья, стали бы рассматривать их как фольклор. Ох, этот фольклор! Все, что не поддается исследованию, считается у них фольклором. Ведь и святое наше Учение они превратили либо в объект для научного исследования, либо в фольклор. Люди весь свой век живут в соответствии с Учением, жизнью своей жертвуют за традиции отцов, а приходят эти исследователи и превращают Тору в объект исследования, а вековую традицию — в фольклор...

Стал я обдумывать слова Гамзу и размышлять об ученых, приобретающих вещи, которые имеют магическую силу для тех, кто ими обладает, а для покупателя значат не более, чем некая дополнительная собственность. Думал я и о том жалком и несчастном человеке, которого Господь испытует страданиями и горестями. Если мы вправе судить о человеке по его

поступкам, то, безусловно, не за деяния, совершенные им в его нынешнем воплощении, осужден этот человек. Но все это не моего ума дело. Сам я довольствуюсь тем, что Господь пока как будто оставляет меня в покое. Я провел рукой по лбу, отгоняя мысли о самом себе, и еще внимательнее всмотрелся в сидящего передо мной Гамзу.

Тут я заметил, что голова его наклонена набок, а ухо обращено к стене. Это показалось мне странным. Прошло некоторое время, а он все еще оставался в том же положении.

— Вы, наверно, вслушиваетесь в беседу стенных кирпичей между собой, — заметил я.

Гамзу посмотрел на меня и ничего не ответил. И снова он стал прислушиваться, продолжая сидеть на прежнем месте и приклонив ухо к стене. Глаза его горели, и нельзя было отличить живой глаз от мертвого. Один из них выражал удивление, а другой — возрастающий гнев. Я было подумал, что он слышит нечто такое, что приводит его в ярость.

— Вы что-то слышите? — спросил я.

Он встрепенулся, как во сне.

— Нет. Не слышу ничего. А вы? Может быть, вы слышите что-нибудь?

— И я ничего не слышу, — ответил я ему.

— В таком случае, это обман слуха, — сказал он, потерев ухо.

Затем он стал ощупывать свои карманы и, достав табак, отложил его в сторону. Потом достал платок и тоже отложил. Проведя пальцами над верхней губой, он прошелся рукой по бороде и наконец промолвил:

— Разве вы не сказали, что вам послышались шаги?

— Когда я сказал это?

— Когда? Только что вы сказали, что слышали шаги.

— Ведь вы тогда возразили, что не слышите ни звука.

— Да, действительно, я так говорил, да и теперь я того же мнения, но если бы вы мне сейчас сказали, что слышите шаги, я не стал бы спорить.

— Значит, вы слышали что-то?

— Нет, не слышал.

— В таком случае вернемся к нашей теме. О чем мы говорили?

— Ей-Богу, не помню.

— Вы настолько безразличны к своим словам, что даже не помните, о чем говорили.

— Напротив.

— Что вы хотите этим сказать?

— Речь сынов Израиля подобна литургическим песнопениям. Всякий раз, когда пытаются ее повторить, она теряет свое первоначальное сладкозвучие. Вот в эту самую минуту мне пришла в голову мысль привести Гмулу в деревню Атруз.

— Почему именно в деревню Атруз?

— Потому, что Атруз — это Атрот, а Атрот Гад находился в наделе колена Гадова. Гмула, как известно, происходит из колена Гадова; почувствовав родной воздух, она выздоровеет. Никогда не забуду, как она обрадовалась мне, когда Гади, сын Гаима, пытался похитить ее, а я опередил его. Весь мир я отдал бы за то, чтобы еще раз увидеть Гмулу смеющейся, как тогда. А теперь я хочу вас спросить кое-что. Этот самый доктор... не доктор Грейфенбах, а доктор Гинат... Мне понравилось все, что вы говорили о нем. Наши древние мудрецы говорили: "Умен тот, кто знает свое место". Не будь обычая, запрещающего добавлять что-либо к их словам, я бы дополнил: "Но иным это место не известно". Как бы то ни было, мне странно, что вы живете с ним в одном доме и не знакомы. Старик он или молодой? Каково ваше мнение о его книгах? Вы возбудили во мне интерес к вопросам, которыми я никогда не интересовался. Чем это объяснить?

— Обратите внимание, — заметил я, — сколько у нас ученых, занимающих важные посты, которых

газетчики славят по всему миру, а нас они ничуть не интересуют. А вот этот ученый не занимает никакой должности, никто не пишет статей о нем, а мы вот все гадаем и стараемся разузнать как можно больше о нем. Даже вы, господин Гамзу, пообещав раньше прочитать его книги только во втором или в третьем перевоплощении, уже теперь им заинтересовались.

Вдруг на лице Гамзу стали меняться краски. Под конец лицо покрылось бледностью, затем почернело и утратило всякую форму. Но в этой бесформенной массе поражало выражение страшного испуга. На него глядя, и у меня волосы встали дыбом. За всю свою жизнь я никогда не видел живого человека, столь внезапно утратившего свой обычный облик.

— Что это? — пробормотал Гамзу, схватив меня за руку.

Я молча отнял руку, но он этого не почувствовал.

— Что с вами? — спросил я его.

Он встрепенулся и, смущенно улыбувшись, махнул рукой.

— Мое воображение дурачит меня, — промолвил он.

— Так что вы скажете? — обратился я к нему.

— Вы о чем? — спросил он.

— О лечебнице.

Он снова махнул рукой.

— Сейчас я не в состоянии думать об этом.

— А когда же?

— Во всяком случае не сейчас.

Я стал перечислять ему преимущества пребывания его жены в лечебнице.

— Гмуле там, безусловно, будет хорошо, — говорил я, — да и вы, господин Гамзу, восстановите свои силы и, может быть, вновь начнете путешествовать. Возможно, вам суждено еще сделать великие открытия. В наши дни земля раскрывает свои тайники и отдает все то, что в былые времена скрыли в ней наши предшественники. Вот, например, Гинат открыл то, что тысячелетиями было покрыто мраком неизвестности. Я имею в виду язык Идо и Эйнамские

гимны. Впрочем, зачем упоминать Гината? Разве вы сами не обнаружили ранее неведомые сокровищницы древних времен?

Гамзу смотрел на меня, но слух его был обращен к чему-то другому — то к дверям, то к окнам, иногда же он прикивал ухом к стене. Я обиделся.

— Вы действительно человек удивительно многогранный, милейший Гавриэль, — заметил я. — Вы не только одновременно прислушиваетесь к тому, о чем говорят между собой дверь, окно, стена, но и вдумываетесь в каждое слово, произнесенное таким простым смертным, как я.

Гамзу посмотрел на меня и спросил:

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Я был уверен, что слышал разговор.

— Коли так, — сказал я раздраженно, — скажите мне, на каком языке он происходил? Не на языке ли Идо? А может быть, по-эйнамски?

Гамзу заметил мое раздражение.

— Вы не поверите мне, — промолвил он сдавленным голосом, — но они разговаривали на том самом языке.

— На каком же?

— На том языке, на котором Гмула разговаривала с отцом. На том самом наречии, выдуманном ими забавы ради. Мои нервы до того расшатались, что я слышу совершенно невозможное. Еще немного, и я скажу, что мне послышался голос Гмулы.

Я сидел молча. Я не проронил ни слова. Что я мог сказать убитому горем человеку, желающему утешиться тем, чем наслаждался он в старое, доброе время? Кровинки не осталось в его лице, казалось, живы только уши. Он напряженно вслушивался, и, весь превратившись в слух, казался невменяемым. Наконец он махнул рукой.

— Болезненное воображение, — сказал он, смущенно улыбнувшись, и добавил. — Когда человека одолевают фантазии, ему и отражение какой-нибудь тени кажется чем-то существенным... Который час?

Пора возвращаться домой. Боюсь, что уже высохло платье, которое я разостлал перед кроватью Гмулы. У нас, в стране Израиля, даже луна греет сильнее, чем в других странах солнце.

Он привстал со своего места, но тут же вновь опустился. Глядя перед собой, он с прискорбием прошептал:

“И вот, ко мне тайно принеслось слово,
и ухо мое приняло нечто от него“.*

— У вас на душе грустно? — спросил я.

— Мне не грустно, — ответил он с улыбкой, — грустно было Иову, сказавшему эти слова.

Я глядел на него и хотел сказать слова утешения. Хотел извлечь их из глубины души, и я опустил руку в карман, как бы отыскивая их там. Из кармана я вытащил цветную открытку, полученную от Грейфенбаха и его супруги. Вглядевшись в нее, я увидел нарисованную луну, покоящуюся на крыше.

Гамзу вынул табак, папиросную бумагу и скрутил себе сигарету; послонявив и склеив края, закурил.

— Вы курите? — спросил он меня. — Я сейчас же скручу вам сигарету.

— Не беспокойтесь, — сказал я.

Достав табак, я тоже закурил. Задымились сигареты, и беседа оборвалась. Мы сидели вдвоем и курили. Я глядел на клубящийся дым и мысленно разговаривал сам с собой: “Если Гамзу подыметя и захочет уйти, я его не стану задерживать, а когда он уйдет, я не попрошу его вернуться. Постелю и лягу спать, а завтра, с Божьей помощью, напишу письмо Герхарду и Герде, что их квартира хорошо охраняется“.

Что же касается моей квартиры, то мне нечего бояться: ведь после того, как меня обокрали, я повесил новые, крепкие замки.

Между тем мысли унесли меня к жене и детям, гостящим в деревне. Они, вероятно, уже спят, так как

* Книга Иова, 4:12.

в деревнях рано ложатся спать. Да и я бы уже спал, если бы не Гамзу. А ведь удивительное дело: зачем он сюда пришел? И что бы он делал, если бы не застал меня дома? Я протянул руку и отвел лампу в сторону. Комнату озарила луна. Веки мои опустились, голова свесилась. Я напряг все силы и открыл глаза, чтобы взглянуть, не заметил ли Гамзу, что я задремал. Сжатым кулаком руки он прикрывал свой рот. “Что должен означать этот жест? — подумал я. — Если он дает мне знак молчать, так я ведь и так молчу”. От множества мыслей огромная тяжесть сдавила мне веки и голову. Наконец голова упала на грудь, а веки закрылись.

Мои глаза покоятся в своих орбитах и молят о капельке сна. Однако уши не дают им уснуть из-за шороха босых ног, ступающих по каменному полу в соседней комнате. Я напрягаю слух и слышу голос, распеваящий песню: “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма; ядл, ядл, ядл, ва-па-ма”. “Опять они пришли, сновидения”, — подумал я. Лунный свет проник мне в глаза. Я говорю луне: “Кажется, мы знакомы. Не ты ли явилась ко мне на цветной открытке?” В ответ мне снова послышался голос, поющий “Ядл, ядл, ядл, ва-па-ма”. Луна озарила этот голос, и внутри его показался образ женщины. “Как же так, — подумал я, — выходит, что Грейфенбах сказал правду, когда утверждал, что Гинат сотворил девицу... Но откуда вдруг эта боль в пальцах?”

Я открыл глаза и увидел Гамзу. Он стоял возле меня и держал мою руку. Освободив свои пальцы из его ладони, я изумленно посмотрел на него. Он вернулся на свое место. Свой живой глаз он так зажмурил, что тот погрузился в сон, но его мертвый глаз загорелся. “Зачем Гамзу жал мне руку? — подумал я. — Вероятно, чтобы я прислушался к песне”. Значит, действительно была здесь песня, наяву, а не во сне. Что же это за песня? Поет женщина, поет, пританцовывая.

Тут я стал смеяться над самим собой, потому что чуть было не подумал всерьез, что на самом деле

была здесь девушка, сотворенная воображением. Чтобы рассеять все сомнения, я решил обратиться к Гамзу и спросить его, каково его мнение обо всем этом. Гамзу закрыл оба глаза — зрячий и слепой, — и по лицу его разлилась улыбка наслаждения, как у юноши, услышавшего голос своей милой, желанной. Мне не хотелось мешать ему.

Я опустил глаза и продолжал сидеть молча.

Голос повторился. Он звучал снова. Но на сей раз это была не песня, а разговор. Что за язык? Ни один из наших языков. Я решил спросить об этом Гамзу, но, открыв глаза, увидел, что стул его пуст. Осмотрев всю комнату и убедившись, что она пуста, я обошел и другие, но нигде не нашел его. Вернувшись на свое место, я прождал около десяти минут. “Не случилось ли с ним чего-нибудь? — забеспокоился я. — Надо взглянуть, куда он подевался”.

Я поднялся со стула и вышел в коридор. Гамзу и там не было. “Лучше подожду его в своей комнате”, — решил я, но, не успев повернуть назад, очутился в предназначенной для праздника Куцей пристройке, которая теперь служила прихожей к комнате Гината. Вдруг я увидел Гамзу, стоящего за дверью. “Что он здесь делает?” — удивился я. Тут показалась чья-то ладонь и дотронулась до двери. И еще до того как я окончательно убедился, что все это действительно происходит у меня перед глазами, дверь отворилась и из комнаты блеснул свет. Я потянулся к свету и заглянул в комнату.

Вся она была освещена луной, а в центре стояла молодая женщина, закутанная в белое. Ноги ее были босы, волосы растрепанны, глаза закрыты. А за столом, у окна, сидел молодой человек и записывал чернилами на бумаге все, что говорила женщина. Я не понял ни одного слова из всего того, что она произнесла, и вряд ли есть на свете человек, понимающий этот таинственный язык. Но женщина все говорила, а перо писало. И было ясно, что тот, кто записывал

сказанные ею слова, был не кто иной, как Гинат. Но когда же он вернулся и когда зашел в свою комнату? Наверно, в то время, когда мы с Гамзу сидели в комнате Грейфенбаха, Гинат вернулся в свою комнату, а женщина, наверно, вошла через окно. Поэтому я и слышал звук открывающегося окна и шаги босых ног.

Все, что я увидел — одно за другим — настолько поразило меня, что я совершенно забыл про Гамзу и даже не заметил, что он стоит рядом со мной. Но Гамзу — о, Гамзу! Он вел себя очень странно. Забыв все приличия и хороший тон, он прыгнул в комнату и обвил руками талию женщины. Этот скромнейший человек, отдавший жизнь своей жене, пришел в чужую комнату и обнял чужую женщину...

С этого момента все перепуталось; я сам себе удивляюсь, что все еще помню последовательность событий. То, что произошло, длилось считанные минуты, но они казались вечностью.

Итак, я стою вместе с Гамзу возле комнаты Гината, дверь которой полуоткрыта. Я заглядываю в комнату, озаренную сжавшейся и проникшей туда луной. Оказавшись там, она вновь стала расширяться до тех пор, пока перед нашими глазами не осветилась вся комната и все, что в ней находилось. Я увидел женщину, стоящую в центре комнаты, и молодого человека, сидящего за столом и пишущего. Вдруг впрыгнул Гамзу и обвил руками талию женщины. Она отвернулась и воскликнула из его объятий: "Хахам!" Ее голос был подобен голосу молодой девушки, в душе которой созрела вся ее любовь. В ответ на ее восклицание молодой человек сказал:

— Иди, Гмула, иди со своим мужем.

— После всех этих долгих лет ожидания ты говоришь мне: иди, Гмула?

— Ведь он твой муж.

— А ты, хахам Гидеон, что ты мне?

— Никто.

— Никто? — усмехнулась Гмула. — Ты добрый,

ты красивый, на всем свете нет добрей и красивей тебя. Если ты оставишь меня у себя, я спою тебе песню, что Грофит-птица спела один единственный раз в своей жизни.

— Спой, — сказал молодой человек.

— Я спою песню Грофит-птицы, и мы оба умрем. Гавриэль, — обратилась она к Гамзу, — когда я и хахам Гидеон умрем, ты выкопаешь нам две могилы рядышком. Обещай мне, что ты это сделаешь.

Гамзу закрыл ей ладонью рот и всеми силами старался удержать ее, а она все пыталась вырваться из его рук. Держа ее в объятиях, Гамзу выкрикивал Гинату:

— Знаешь ли ты, кто ты такой? — Ты — злодей! Даже замужнюю женщину ты готов соблазнить.

— Хахам Гидеон! — вскрикнула Гмула. — Не слушай его. Я не замужняя женщина. Спроси его, видел ли он мое тело?

Гамзу глубоко и горько вздохнул.

— Ты жена моя, — твердил он, — жена, жена, жена. Мы стояли с тобой под венцом и обвенчались по закону Моисея и по обычаю Израиля.

— Иди, Гмула, — продолжал молодой человек уговаривать ее, — иди со своим мужем.

— Ты отвергаешь меня!

— Я не отвергаю тебя, Гмула. Я только говорю тебе, как ты должна поступить.

Когда он произнес эти слова, силы покинули Гмулу и, если бы не Гамзу, она бы тут же рухнула на пол. Гамзу удержал ее и на наших глазах, моих и Гината, вынес из комнаты.

7

Луна движется по орбите и в тридцать дней завершает свой путь. Вот уже тридцать дней прошло с тех пор, как Гамзу вернул свою жену от Гината. За все это время я ни разу не видел их обоих. Гамзу я не видел потому, что он ко мне не приходил, а я

не имел обыкновения ходить к нему; Гината — потому, что сразу же после событий той ночи он куда-то ушел и более не возвращался. Как-то раз я видел его в одном арабском кафе, он беседовал там с сыном первосвященника секты Шомроним (Самаритян) Амрамом. Поскольку у этой встречи не было продолжения, я не останавливаюсь на ней. В другой раз я встретил его в Гиват-Шауле, в мастерской по изготовлению пергамента, принадлежащей хахамам Гувлану и Гигину. Так как у этой встречи тоже не было продолжения, я умолчу и о ней.

Моя жена и дети вернулись домой, и снова есть вода в бачках, бочках, в трубах и кранах. Я почти не выхожу из дома и так и не знаю, как живет Гмуле после того, как Гамзу вернул ее к себе. Учитывая, что добра в мире больше, чем зла, я себе представляю, что она помирилась с ним и, примирившись, вернула себе дар речи, и весьма возможно, даже иногда поет, и голос ее звучен, как пение Грофит-птицы. Нет на свете ничего более дорогого для Гамзу, чем голос Гмулы, поющей свои песни. Так почему же он прикрыл рукой ей рот и сжал ей губы?

Все песни переплетаются друг с другом и связаны между собой. Песни водных источников сплетены с песнями высоких гор, а высокие горы — с птицами небесными. И есть среди птиц одна, что зовется Грофит. Когда настает ее час покинуть наш мир, она упирается головкой в облака и заливается пением, а как кончает петь — умирает. И все эти песни связаны с Гмулиным языком. Если бы спела она песню Грофит-птицы, то тут же на месте умерла бы. Вот почему Гамзу зажал ей рот. Он хотел уберечь ее от гибели.

Итак, сижу я дома и делаю свои дела — порой лучше, порой хуже. С заходом солнца я оставляю свою работу. “Вот еще, что нашел я доброго и приятного... — сказано в книге Экклесиаста, — наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем“. Да, пока есть солнце, — есть доброе и приятное на свете. Если после работы у меня

остается немного сил, я выхожу пройтись, если нет, я сижу около своего дома или стою у окна и гляжу, как уходит день и наступает ночь, как приходят звезды и занимают свои места в небе и как подымается луна.

Луна и звезды еще не появились. Небо светится само по себе, освещая себя изнутри. А между небом и землей колеблется серовато-синий свет, словно слива, только что созревшая на дереве. Великое множество кузнечиков стрекочет на весь мир. А из соседней рощи раздастся шум деревьев — то как гул леса во время грозы, то как рокот моря во время бури. И я думаю: “А ведь что-то свершается на свете вот в эту самую минуту”.

Погрузившись в созерцание мира в прошлом и охватив мысленным взором столь много событий, я перестал ощущать то, что происходит в настоящем. Одним из таких событий был случай с Гамзу и Гмулой. Человек приходит домой и не находит своей жены. Он обходит весь город и наконец находит ее в думе, куда попал совершенно случайно.

Но вот чему не мог я надивиться: ведь я видел своими глазами, как Гамзу схватил свою жену, однако, мне все кажется, что это только один из его рассказов, вроде того, например, как во время пляски девушек Гади, сын Гаима, готовился похитить Гмулу, но Гамзу опередил его. Нет на свете события, которому не предшествовал бы его же прообраз. Птица до того как взлететь расправляет крылья, и их тень падает на землю. А уже потом, глядя на тень, она взмахивает крыльями и летит.

Луна еще не взошла, но вот-вот она появится, и уже готовят ей место на небе. Облака, которые, казалось, были частью небосвода, раздвигаются, расступаются, и вот уже сама луна выглянула. Блажен, кто упивается ее светом и остается невредим.

Тут мои мысли переносятся к тем, кто находится под влиянием луны. А от луны — к земным делам, а от земных дел — к людям. К тем, кому земля улыбается, и к тем, кто бродит по ней, как тени ночные.

Я не имею в виду определенные личности: ту парочку, что не нашла себе квартиры, или тех, что покинули нашу страну, а когда вернулись, родина стала чуждаться их, ни Грейфенбаха и его жену, поехавших за границу отдохнуть. Я имею в виду всех людей, неразрывно связанных с этой землей.

Грейфенбах и его жена должны вскоре вернуться. Об этом мне рассказала их служанка Грация, получившая цветную открытку от госпожи Грейфенбах. Об этом я узнал также из открытки, присланной мне. Узнав, что они возвращаются, а заглянул в их дом посмотреть, все ли там в порядке.

И: дом заперт. Никто не вломился. Во всяком случае то окно, которое открылось для Гмулы, теперь закрыто. Когда Грейфенбахи вернутся в Иерусалим, они найдут все на своем месте.

Утром, пробегая глазами газету в поисках сообщения о возвращении Грейфенбахов, я наткнулся на известие о смерти доктора Гилата. Так как я не был знаком с человеком, носящим такое имя, я перевернул страницу. Однако сердце мое дрогнуло, а это не предвещало ничего хорошего. И стал я подумывать о том, что, может, здесь опечатка и вместо буквы "н" напечатана "л". А когда приходят дурные мысли в голову, так уже нет от них спасения. Снова взял я газету и вновь убедился, что в имени умершего — явное "л", однако, глазам моим перещилось "н". Я забеспокоился и вышел на улицу. На доске для афиш не было траурного извещения о его смерти. Гинат не занимал никакого официального поста, он не был известен в городе и некому было давать траурное объявление о его смерти. Однако вскоре из другого источника мне стало известно, что он погиб. И вот как это случилось.

Начну с самого начала. Брожу я по улицам и мучаюсь: если это Гинат, то почему напечатано Гилат, а если Гилат, то почему у меня щемит сердце? Вдруг навстречу мне идет, опираясь на свою маленькую вничку, старик Амрами и говорит мне:

— Ты идешь на похороны?

Я утвердительно кивнул головой:

— Да, я иду на похороны.

— Разве это не страшный случай? — вдруг спросил Амрами. — Женщина, которая не в состоянии была двинуться с кровати, нашла свою смерть на крыше дома.

Я долго смотрел на него, не понимая, о чем он говорит.

— Неисповедимы пути Господни, — продолжал Амрами. — Человек подвергает свою жизнь опасности для того, чтобы спасти своего ближнего, и сам падает и разбивается насмерть. И вот теперь мы идем на похороны не одного, а двух покойников: жены Гамзу и доктора Гината.

— Этого газеты не сообщили, — сказала Эдна, внучка Амрами, — но очевидцы рассказывают, что в прошлую ночь один господин вышел из своей комнаты и увидел, что какая-то женщина взбирается на крышу. Он бросился спасать ее, но перила рухнули, и они оба разбились.

Разговаривая, мы все трое — я, Эдна и Амрами — дошли до больницы, куда привезли тела Гмулы и Гината.

Больница была заперта. У дверей стоял сторож, глядел на прохожих и жаловался на то, что все просят у него разрешения войти, а он не может дать его. Но все это происходило только в его воображении. На самом же деле никто не просил у него разрешения. Все входили во двор, где находилась мертвецкая.

В углу, в узкой комнате, похожей на прачечную, покоились усопшие. Напротив, на старой расшатанной скамейке сидели три человека, охранявшие покойников, а рядом с ними кто-то скручивал себе сигарету.

Увидев меня и Амрами, он пристал к нам и стал рассказывать, что всю ночь читал псалмы у изголовья мертвеца. Кто же ему заплатит теперь за это? Убедившись, что я человек праведный, он решил дать мне возможность сделать доброе дело и получить от меня полагающуюся ему плату.

Скамью против нас занимала семья в трауре. Одна женщина поднялась и стала расхаживать перед си-

дядцами, распевая заупокойные молитвы и в такт им раскачиваясь всем своим худым телом. Глубокая печаль лежала на ней, глубокой печалью звучал ее голос. Я не понял ни одного слова, но ее голос, походка и лицо вызывали слезы на глазах каждого, кто видел ее. Из-за пазухи вынула она фотографию юноши, и, вглядываясь в нее, снова запела. На этот раз она пела о красоте его и о годах, которые не суждено ему было прожить на земле, так как ангел смерти пресек его жизнь во цвете лет. Вся семья разразилась плачем. Каждый, кто слушал их рыдания, рыдал вместе с ними. Так, вероятно, рыдала Гмула, оплакивая смерть своего отца.

Стоя среди плачущих, я увидел Гамзу, выходящего из мертвецкой. Его вечный спутник — смущение — на время покинуло его, и это место заняли два других чувства — смятение и скорбь. Я подошел к нему и встал с ним рядом. Он потер пальцем мертвый глаз и, вынув платок, вытер им свой палец. Затем он начал шептать:

— Да, это он. Он и есть тот ученый, которому я продал магические листья.

Один из служителей мертвецкой подошел к нам и стал попеременно поглядывать то на меня, то на Гамзу, как торговец, увидевший двух клиентов сразу и соображающий, которому из них услужить первому. Не придя к решению, кто же из нас более важная птица, он попросил сигарету. Гамзу порылся в карманах и вытащил табак и папиросную бумагу. Тем временем вынесли Гината. Гамзу поднес палец к мертвому глазу и сказал спокойно:

— Это я Гинату продал магические листья.

Двинулся катафалк, а за ним пять-шесть человек: я и еще трое-четверо, встретивших покойника и решивших проводить его в последний путь. Нищий, следовавший за нами, побрякивал монетами в жестяной кружке и монотонно повторял: “Благоденствие спасает от смерти!” Он все время оборачивался и смотрел, не вынесли ли следующего покойника, чтобы не пропустить милостыню.

На обратном пути с кладбища мне повстречалась похоронная процессия Гмулы, а когда я возвращался с Гмулиных похорон, около меня остановился автомобиль, в котором сидели Грейфенбахи, возвратившиеся из своего путешествия. Увидев меня, Грейфенбах закричал из машины:

— Вот приятная встреча! Вот приятная встреча! Как наш дом?

— На месте, — ответил я.

— Взломщики в него не забрались? — спросила госпожа Грейфенбах.

— Не забрались.

— А с Гинатом не познакомились?

— Познакомился.

— Садитесь и поедете с нами, — пригласили они меня.

— Хорошо, поеду с вами.

В этот момент подошел полицейский и сделал предупреждение не задерживать движение. Водитель тронул машину, и Грейфенбахи уехали без меня.

Через несколько дней я зашел к ним, чтобы вернуть ключ. В тот же день сюда прибыли представители властей обследовать комнату доктора Гината. Они не нашли в ней ничего, кроме предметов первой необходимости и двух ведер, полных пепла от сожженных бумаг. Это, видимо, был пепел его рукописей. Когда Гинат успел их сжечь? В ту ли ночь, когда Гамзу забрал Гмулу домой, или в ночь, когда он бросился спасать Гмулу и погиб вместе с нею?

Что заставило Гината сжечь свои исследования и в один миг уничтожить результаты долголетнего труда? От такого вопроса принято обычно отделяться простым ответом: "Душевная депрессия и тяжкие сомнения привели его к этому". Но что привело к депрессии и в чем заключались его сомнения — на эти вопросы и по сей день нет ответа. Да и не может быть никакого ответа и никакого логического обоснования такому поступку, в особенности, когда речь идет о таком просвещенном человеке, как Гинат, и о таких проблемах науки и поэзии, какими он занимался. Ведь

сами по себе поступки людей не меняются от того, что их пытаются толковать и мотивировать по-разному. Все это не что иное, как тщетные потуги путем словесных ухищрений объяснить случаи, которым нет объяснения, и примириться с горестями, для коих нет утешения. Даже согласившись, что все предопределено, мы не докопаемся до первопричины и не осмыслим всего. Разве знание причин устраняет горе?

В комнате Гината было найдено также письмо, в котором он аннулирует права издателей на его книги и запрещает переиздавать словарь "99 слов на языке Идо", "Грамматику языка Идо" и книгу Эйнамских гимнов.

Как обычно в таких случаях, завещание покойного не было выполнено. Наоборот, книги его продолжают печататься, и весь мир все больше и больше ценит их, а в особенности красоту и изящество Эйнамских гимнов. Пока ученый жив, кто хочет — признает его, а кто не хочет — не признает. Зато после смерти душа его светится из его творений, и каждый, кто не слеп, упивается ее светом.

ВО СЛАВУ НАУКИ

(Повесть)

1

Двадцать лет жизни посвятил Архаил Блаже изучению тайн Гумлидаты, бывшей некогда большим городом, славой и гордостью сильных народов, пока полчища готов не превратили ее в груды развалин, а ее обитателей — в вечных рабов.

После того как ученый собрал все материалы, изучил их и проанализировал, расположил в должном порядке и просистематизировал, составил указатели и отредактировал, он пришел к выводу, что его труд заслуживает опубликования. И он подготовил рукопись к печати. А подготовив рукопись к печати, стал ходить с ней от одного издателя к другому и не нашел такого, кого бы она заинтересовала. Каждый издатель находил какой-нибудь предлог, чтобы отклонить эту рукопись, и хотя все предлоги были разные, по сути они отличались друг от друга только формой выражения.

Поняв, что не стоит возлагать больших надежд на издателей, наш ученый начал искать меценатов, покровителей наук и искусств, но таковых не находил. Все годы, отданные исследованиям, он совершенно не общался с университетскими кругами, отдалился от своих ученых собратьев, их жен и дочерей, и теперь, когда ему пришлось обратиться к ним за помощью, наткнулся на холодный отказ. Глаза их из-под очков излучали нескрываемое удивление и неприязнь и как бы говорили: "А кто вы, собственно, такой? Мы вас не знаем!"

Понутив голову, он каждый раз уходил разочарованный.

Во всяком случае это послужило ему хорошим уроком. Он понял: если кто хочет, чтобы его признали, то должен сблизиться с учеными мужами и их семья-

ми. Но Архаил не знал, как это делается... Годы, поглощенные наукой, превратили его в раба этой науки, и она владела им целиком — с того мгновения, когда он утром открывал глаза, до той минуты, когда поздно вечером смыкал их. По утрам, как только Архаил просыпался, сами ноги несли его к письменному столу, к перу и бумагам, а глаза его (если в это время перед ними не вставали чарующие образы и видения древнего города) сами устремлялись к книгам, фотографиям и изображениям Гумлидаты или к картам военных действий, приведших к ее гибели.

Иногда он кое-что добавлял к написанному ранее, а иногда разом вычеркивал все, что писал в течение многих дней. Подобное случалось и по ночам. Часто, уже улегшись в постель, он внезапно вскакивал, подходил к столу и перечитывал написанное. Иногда при этом морщился, иногда удовлетворенно качал головой, а порой посмеивался над автором, над его ошибками и просчетами, которые только теперь замечал...

Годы шли, а его книга в свет так и не вышла.

Ученый, чьи труды застряли и не печатаются, если он умен, никогда не жалеет об этом, а, напротив, даже доволен. Ведь у него остается время еще раз проверить свои предположения и исправить вкравшиеся ошибки, еще раз критическим оком просмотреть свои гипотезы и установить, соответствуют ли они истине. Таким автором и был Архаил Блаже. Он все неустанно проверял, уточнял и взвешивал, шлифовал каждую фразу, пока его труд не стал поистине безупречным. Но издатель для этой книги все же не нашелся.

2

Когда Архаил Блаже совсем было потерял надежду увидеть свой труд напечатанным, случилось так, что Гавхард Гольденталь, один из самых богатых людей города, возымел желание опубликовать его исследование.

Трудно сказать, какими путями имя скромного труженика науки стало известно знаменитому богачу,

и уж совсем непонятно, какой интерес нашел такой делец в издании книги, которая ничего, кроме убытков, ему не сулила. Видимо, дело заключалось в том, что богатство само по себе не приносит человеку удовлетворения, поэтому-то Гавхард Гольденталь и стал проявлять интерес к людям науки. Даже к таким, которые еще не успели прославиться и завоевать громкое имя, но имели все шансы со временем стать знаменитыми и достичь всеобщего признания.

Другие же уверяли, что дело совсем не в этом. Они твердили, что в семье Гавхарда Гольденталья существовала традиция, передававшаяся из поколения в поколение, от деда к отцу, — поощрять интерес к изучению прошлого города Гумлидаты. Люди утверждали, что его предки были родом оттуда, и во время оно принадлежали к числу самых знатных семей. Один из них был генералом, стоявшим во главе горожан, которые самоотверженно боролись с полчищами готов, и, не щадя жизни, защищали родной город, пока он не превратился в груды развалин.

Нет нужды говорить, что этот довод не имел под собой никаких оснований, так как Гумлидата была разрушена сразу, как только ею овладели готы. Кто мог бы сейчас действительно доказать, что Гольденталь — отпрыск одного из жителей этого славного города?..

Но все это не меняет сущности дела. Важно, что господин Гавхард Гольденталь согласился опубликовать книгу Архаила Блаже, несмотря на то, что издание подобной книги сопряжено с большими расходами, так как в ней много карт, и все они многокрасочные — об этом уж позаботился сам автор.

Особый цвет был избран им для обозначения общего вида города и другой — для его храмов; совсем другой — для его жертвенников и совсем иной — для его главных богов — Чуша, Туша, Жруша, Алкуша и Вруша. Одной краской были изображены пра-матери города и другой — их праотцы, дитяти и отроки, третьей — Великий Пигмей, Краснолицый Гимнаст, столпы языческого культа, четвертой — все

прочие священнослужители, жрецы и жрицы, не считая блудниц, рожденных от знатных женщин, и блудниц, отец которых был рабом, а мать аристократкой. Также для иеродул* и для собак были отобраны свои особые краски — в зависимости от масти, цвета кожи или шерсти и цвета мантии, а для иеродул — еще в зависимости от размеров гонорара, выплачиваемого им за те или иные услуги посетителями храма. Если к этому еще добавить особые цветовые обозначения для готов и их приспешников, для кавалерии и пехоты, для военачальников и дезертиров, то станет ясно, как много денег надо было выложить, чтобы издать подобный труд.

Невзирая на все это, Гавхард Гольденталь был готов напечатать монографию Архаила Блаже на хорошей бумаге, красивым шрифтом и в многокрасочном оформлении, со всеми необходимыми картами, в прочном переплете и с суперобложкой. Короче говоря, Гавхард Гольденталь брал на себя все расходы, связанные с выпуском этой книги в роскошнейшем издании в качестве чуда полиграфического искусства, недоступного кому-либо другому. Служащие Гавхарда Гольденталя уже посетили известных художников и графиков, литографов и картографов, типографов и корректоров и уже подсчитали, во сколько обойдется издание этого исследования. Теперь Архаилу Блаже оставалось лишь встретиться с Гавхардом Гольденталем, ибо так уже было здесь заведено: все дела, которые выполняли его служащие, завершались самим дельцом-меценатом при личной встрече с заинтересованной стороной.

Если его партнером был простой человек, он приглашал его в свой рабочий кабинет; если то был человек известный, он приглашал его на чашку чая, а если он имел дело с человеком знаменитым, то в его честь устраивался специальный прием.

Архаил Блаже не был настолько знаменит, чтобы

* Иеродулы — проститутки при древних ханаанских храмах.

задавать для него пиры, но и к разряду простых людей его тоже нельзя было отнести, посему богач пригласил его на чашку чая.

В один прекрасный день Архаилу Блаже было сообщено, что завтра, в послеобеденный час, ему надлежит быть у господина Гавхарда Гольденталя. Его попросили прийти в точно назначенное время, так как сей господин собирается за границу и не располагает другим временем, а дело это он намерен завершить до своего отъезда.

Сочинитель, который так много лет тщетно искал издателя и неожиданно нашел его, понятно, не просрочит назначенного часа. Не выпуская из рук приглашительного письма господина Гольденталя, Архаил Блаже вынул из шкафа свой лучший костюм, который не надевал с тех пор, как был увенчан званием доктора наук. Очистив его от пыли и старательно выутюжив, он побежал к парикмахеру, от парикмахера — в баню, из бани — в магазин, где купил себе галстук. Оттуда он вернулся домой, чтобы еще раз пролистать свою рукопись.

Еще не настал час визита, а Архаил был уже в полной готовности. С тех пор как он себя помнит, он не переживал такого знаменательного дня. Он, который ради развалин какого-то города перестал обращать внимание на себя и на окружающих, на свою одежду и жилье, на все, чему люди придают такое большое значение, вдруг совершенно преобразился. Архаил стал похож на множество других ученых, которые занимаются наукой только потому, что это возвышает их в глазах людей простых и неученых.

Так он сидел и перечитывал свою рукопись, время от времени поглядывая на часы. То и дело бросая взгляд на зеркало, он придирчиво контролировал свои движения и манеры, ибо каждый, кто ищет общества богачей, должен следить за тем, чтобы одежда его была приличной, лицо — благообразным, движения — изящными, так как богачи, даже почитатели науки, любят, чтобы носители ее представляли перед ними в наилучшем виде.

Однако наука, высосавшая из Архаила все его силы, согнувшая его спину и опустившая его плечи, непоправимо испортила фигуру ученого. Но зато она придала его лицу особое сияние — то сияние, которое бывает только у энтузиастов науки и ни у кого более. И, право, нам жаль этого богача, которому так и не удалось увидеть Архаила Блаже! Познакомившись с ним, он бы, несомненно, убедился, что существуют лица даже более привлекательные, нежели золото и серебро.

Вот видишь, друг-читатель, ради морали, заключенной в этом кратком изречении (“существуют лица...” и т. д.), я заранее сообщаю тебе о несколько странной концовке моего рассказа...

Словом, Архаид Блаже то садился, то вставал, то шагал из угла в угол, нетерпеливо думая о будущем. О том, как его рукопись попадет в типографию, и как она будет выглядеть, когда ее наберут крупным и красивым шрифтом; о том, как он будет держать корректуру, добавлять и сокращать, вычеркивать и вписывать; о том, как гранки превратятся в сверстаные листы, а листы — в готовую книгу; о том, как она поступит в продажу, и как ее примут читатели...

Годы, отданные исследованиям, приучили его к сосредоточенности во всем, даже в делах, далеких от науки. И когда настало время идти к господину Гольденталю, он вскочил с места и взял в руки ключ от дома, чтобы запереть двери. В последний раз взглянув на себя в зеркало, а также оглядев стены своей комнаты, он очень удивился, что они ничуть не изменились, остались такими же, как прежде. В его жизни внезапно наступила крутая перемена, и все вокруг, казалось ему, должно было тоже измениться.

3

Внезапно Архаил услышал чьи-то шаги — и испугался: не вздумал ли господин Гольденталь уехать раньше, чем обещал? Не прислал ли человека уведомить его, что их встреча откладывается?.. Огорчение

было настолько сильным, что Архаилу показалось, будто душа его вот-вот выпорхнет из тела. Но то была лишь скороспелая мысль слишком активного ума. К счастью, чувства его вполне нормально выполняли свои функции. Архаил весь превратился в слух. И тогда он явственно стал различать шарканье немощных старческих шагов. На сей раз ум сработал безотказно. Архаил понял, что вряд ли такой человек, как Гольденталь, пошлет к нему с сообщением старушку.

Когда старушка подошла поближе, он ее узнал. То была сестра милосердия Ада Эдем, которая уже в течение многих лет один раз в год навещалась к Архаилу Блаже за иллюстрированными журналами для дома прокаженных. Ему было трудно отказать ей, брякнув: "Я занят, приходите через год", так как он очень ценил и уважал эту самоотверженную женщину, посвятившую себя тем, кто и при жизни подобен мертвецу. Но и задерживаться с ней ему тоже нельзя было: ведь не так-то просто втолковать старушке, что из-за этого может задержаться выход в свет его книги, что господин Гольденталь уезжает за границу и неведомо, когда оттуда вернется. И здесь я вынужден добавить от себя еще одну деталь, которая может показаться забавной, но я готов поклясться, что это су- щая правда.

Для тех, у кого их внешний мир ограничен рабочим кабинетом, каждая лишняя, ненужная вещь кажется обременительной. Она их только раздражает. Так было и с Архаилом Блаже. Случалось, что он мысленно бродил по развалинам Гумлидаты и вел увлекательную беседу со священными храмовыми псами, докапываясь, сколько они стоили, или углублялся в другие столь же важные научные проблемы, — и в это время взор его натыкался на иллюстрированный журнал, который только отвлекал от размышлений и мешал сосредоточиться. Сейчас, когда пришла старушка, можно было от журналов избавиться. А если не сейчас, то они пролежат еще год, а за это время накопится целая груда других журналов. Но поскольку они были не нужны, они только мешали.

Пока он так стоял и колебался между двумя необходимостями — издать свою книгу или избавиться от ненужных журналов, — старушка постучала в дверь. Архаил открыл и поздоровался с нею.

Заметив, что он выглядит сегодня как-то странно и смотрит на нее отсутствующим взглядом, женщина сказала:

— Я вижу, господин доктор, что пришла в неурочное время. Уж лучше я уйду.

Он промолчал, не нашелся, что ответить. Старушка собиралась уж было уходить, но в это время сердце ему подсказало, что женщине надо передохнуть после долгого и утомительного пути. Ведь колония прокаженных находилась за городской чертой, а она, бедняжка, всю дорогу шла пешком своими слабыми ножками, ибо не могла пользоваться общественным транспортом. Узнав, откуда она, ее бы немедленно вышвырнули на шоссе, так как дом прокаженных до сих пор наводит на всех мистический страх.

— Меня очень огорчает, — обратился к ней Архаил, — что я не могу сейчас уделить вам столько времени, сколько мне бы хотелось. Я приглашен на чашку чая к известному фабриканту Гавхарду Гольденталю, о котором вы, наверно, слышали.

Ему было неизвестно, что лет сорок тому назад Гавхард Гольденталь собирался жениться на этой женщине, но она отвергла его предложение, решив посвятить свою жизнь несчастным страдальцам, так жестоко наказанным Богом и людьми.

Архаил Блаже продолжал:

— У меня к нему дело, не терпящее отлагательства. Через час или полтора я вернусь. Очень прошу вас посидеть здесь и дождаться моего прихода. Я тогда наполню вашу сумку книгами и журналами, сборниками и газетами. Они загромоздили всю мою комнату, так что стало трудно дышать.

— Я бы охотно посидела здесь, господин доктор, — ответила старушка, — но не могу надолго оставлять без присмотра моих призреваемых. Они привыкли ко мне, и я привыкла к ним. Мне как-то не по себе, когда

я их оставляю, ведь они постоянно нуждаются в моей помощи. И потому, с вашего разрешения, господин доктор, я пойду. А если буду жива и здоровье позволит, навещу вас через год.

Архаил Блаже понял, что никак нельзя отпустить ее ни с чем и обязательно надо рассказать, почему он так спешит. И, уж не считаясь с временем, он сказал:

— Вы, наверно, обратили внимание, что все эти годы заставляли меня в домашних туфлях и ермолке, с расстегнутым воротником, непричесанным, со всклокоченной бородой. А сейчас, как видите, на мне приличный костюм, башмаки, шляпа и галстук... Дело в том, что двадцать лет я был занят составлением книги. И вот, сейчас она уже готова к печати, и господин Гавхард Гольденталь решил ее издать. Я должен, не теряя минуты, идти к нему ввиду того, что близится назначенный им час встречи. Он ждет меня и мою книгу.

Лицо старушки просветлело и она ответила:

— Вы не должны, господин доктор, задерживаться из-за меня. Поспешите же и, ради Бога, не опаздывайте, не упускайте благоприятного момента! Такие случаи бывают не каждый день. Нельзя из-за небольшой задержки лишать себя того, к чему вы стремились долгие годы. Хорошо, что случай свел вас с господином Гольденталем. Он человек справедливый, и если уж пообещал, то сделает. Я ему тоже многим обязана. Когда я впервые пришла к этим несчастным людям, они жили в старом, метхом доме с дырявой крышей и сырыми покосившимися стенами. В комнатах стояло зловоние, кровати готовы были развалиться, постельные принадлежности насквозь прогнили. И если бы не этот щедрый человек, пожертвовавший деньги на ремонт дома, на покупку новых кроватей и нового постельного белья, не знаю, как бы мы жили.

Перечислив все добродетели и славные дела господина Гавхарда Гольденталья, старушка глубоко вздохнула.

— Чем вы так огорчены? — спросил ее Блаже.

Улыбнувшись, она возразила:

— Я огорчена? Я никогда в жизни не огорчалась.

Крайне удивленный, он возразил:

— Вы, сестрица Ада, пожалуй, единственная в мире, которая так говорит.

Старушка смутилась:

— Видно, господин доктор, я не совсем точно выразилась. Много, очень много было у меня огорчений, но не из-за себя...

Он посмотрел на нее и сказал:

— Вы не закончили свою мысль, сестрица Ада, вы прервали, пожалуй, на самом интересном месте. Мне бы очень хотелось знать, что вы еще хотите рассказать.

Старушка пробормотала что-то невнятное, но тут же воскликнула:

— А надо ли?.. Впрочем, что знаем мы о том, что надо и чего не надо? Я уже стара и стою на краю могилы. Так уж быть, поведаю вам всю правду. Напрасно я похвалялась, что никогда в жизни не знала горестей. Напротив, не было ни одной минуты, когда бы я не испытывала таких огорчений, которым нет конца-краю. Иногда мне кажется, что мои горести даже сильнее тех, что испытывают несчастные страдальцы, наказанные судьбой больше всех людей на свете. Всемиловитый Бог, наваливая на людей страдания, наделяет их силой, помогающей все это претерпеть. Но тот, кто здоров и не испытывает физических мук, лишен силы противостоять им. И при виде бедных страдальцев, мучимых болезнями, душа его так изнывает, что ему трудно устоять и сохранить самообладание. Тем более мне, на которую возложена забота об этих несчастных. Меня всегда страшит, в полной ли мере выполняю я свой долг, делаю ли все, что надо делать. Здоровому человеку не дано познать до конца душу страждущего. А так как я никуда от них не отлучаюсь, то эти огорчения не оставляют меня ни на минуту... Но я заболталась и забыла, что вы спешите. Я сейчас же уйду, а вы, доктор, займитесь своими делами, и пусть вам сопутствует

удача. Все же жаль этих несчастных, они будут очень огорчены, когда я вернусь без книг.

Вопросительно взглянув на нее, он сказал:

— Разве у них нет больше книг? Неужели они все прочитали?

— По десять, а то и по двадцать раз, — ответила старушка.

— А что это за книги?

— Могу перечислить все до единой.

— Все, все? Ну, это навряд ли.

Она возразила:

— Так как книг у нас мало, а живу я там не один год, то не только каждую книгу, но и каждую вещь я отлично помню.

Когда она перечислила все книги, он сказал:

— Да, маловато, маловато... Могу себе представить, как они радуются каждой новой книге. Однако, — добавил он с улыбкой, — я думаю, что одну или две книги вы, пожалуй, забыли упомянуть. Может быть, даже самые лучшие из них. Так уже устроен человек, что о главном он забывает. Главное ускользает из памяти... Не так ли, сестрица Ада?

Улыбнувшись в свою очередь, старушка ответила:

— Я не любительница спорить, но, истины ради, должна сказать, что нет там книги, которую я бы не назвала вам, кроме одной, но это потому, что не считала нужным ее упомянуть. Эту книгу вообще невозможно читать.

— Почему так?

— Потому что она насквозь прогнила из-за ветхости и пролитых над ней слез.

— Из-за слез?

— Да, именно из-за слез. Все, кому довелось прочесть эту книгу, горько плакали, ибо в ней говорится об очень печальных вещах.

— О чем именно?

— Точно даже не могу сказать, — ответила старушка. — Все, что мне известно, я уже вам сказала. — Это очень древняя книга, написанная на пергаменте. Говорят, что ей уже тысяча лет, а может быть, и

больше. Если бы я знала, что она может вас заинтересовать, я бы могла о ней расспросить и потом рассказать подробнее. У нас до сих пор живы старики, которые рассказывают, что им в свое время говорили со слезами на глазах люди, жившие до них, те, что знали, о чем написано в книге. Говорят, однако, что и предыдущее поколение стариков, которое жило полвека назад, и то с большим трудом разбиралось в этой книге, так как все ее страницы повреждены, буквы расплылись, а книга в целом — груда заплесневевшей трухи. Ее собирались сжечь еще до того, как я пришла в дом прокаженных. И при мне однажды ее хотели предать огню, но я уговорила не делать этого — ведь книгу, которую читало несколько поколений, нельзя сжигать, как ветошь, даже если сейчас она непригодна для чтения. Я убеждена, господин доктор, что вещь, сотворенная мастером своего дела, пока она, можно сказать, существует, доставляет ему радость.

Архаил с большим интересом слушал рассказ старушки, и он начал расспрашивать ее дальше:

— Скажите, сестрица Ада, а не слышали ли вы, о чем повествует эта книга? Что говорили об этом старики, которые некогда ее читали? Не припомните ли вы хоть что-нибудь?

— Я слышала, — ответила старушка, — что все страницы ее пергаментные. Что же касается содержания книги, то в ней будто бы говорится об истории большого города, который некогда был разрушен и исчез с лица земли.

— Об истории большого города... который некогда был разрушен... и исчез с лица земли! — повторил ее слова ученый в сильном волнении. — Прошу вас, сестрица, скажите, пожалуйста, а не припомните ли вы, о каком городе шла там речь?

— Да, припоминаю, — сказала она, — город тот звали Гумлидата.

Архаил от волнения стал заикаться.

— В-вы у-ув-верены, что х-хорошо рас-слышали?... Гум... Гум... Гум...лидата, так, кажется, вы ска-

зали. Умоляю вас, сестрица Ада, еще раз повторите, пожалуйста, название города. Гумли...?

Она подтвердила, что город тот называется именно Гумлидата, а в книге речь идет об исторических событиях, происшедших в этом городе.

Положив обе руки на стол, Архаил Блаже оперся на них, чтобы не упасть. Заметив, что ему не по себе, старушка поддержала его, и, взглянув в лицо, спросила:

— Что с вами, доктор? Вам, я вижу, нездоровится. Нехорошо с сердцем, что ли?

Живо поднявшись с места и засмеявшись, Архаил Блаже произнес:

— Ничего, ничего, сестрица, ничего плохого со мной не случилось. Напротив! Вы вселили в меня новую жизнь. Вкратце расскажу вам, в чем тут дело. Двадцать лет я изучал историю этого города. Любой клочок бумаги, в котором он упомянут, мне известен, прошел через мои руки. Будь я царем, то мог бы восстановить все здания Гумлидаты в их первоначальном виде и отстроить город таким, каким он был когда-то, до разрушения его готами. Если желаете, я могу рассказать о всех своих прогулках... да, да, да, о прогулках, которые я совершал по его площадям и рынкам, по его улицам и переулкам, по его дворцам и храмам... О, дорогая сестрица, у меня порой даже голова кружится от этих прогулок! И как город был разрушен, мне тоже известно. Я могу назвать по имени все воинские отряды, которые участвовали в осаде и боях. Я знаю, сколько было убито, сколько погибло от голода и жажды и сколько жизней унесли эпидемии. Все мне известно, кроме одного: с какой стороны вошли отряды доблестного Козлесвинда: со стороны ли большого моста, который называют Мостом Героев, или же они совершили обходный маневр и нагрянули со стороны долины Афродат, она же Долина Журавлей. Множественное число от слова "журавль" на языке жителей Гумлидаты будет "вертепрахен", а не "воронен" или "каштанен", или "калошен", как думают некоторые лингвисты вроде господина профессора

Имярек, или господина профессора Имябред, или действительного тайного советника профессора Имябрех и других профессоров, портреты которых вы, может быть, видели в иллюстрированных изданиях, — там они засняты в торжественный момент вручения им высших наград и знаков отличия. Так вот, да будет вам известно, что все, все они ошибались, что в действительности “ворон” на их языке будет “шлюхен”, а во множественном числе — “льшухен”, так как буквы “ш” и “л”, сочетаясь в одном слове, в их языке меняются местами. А как перевести на их язык “каштаны” и “калоши”, я не знаю. Вот этого я действительно не знаю...

Внезапно он изменился в лице, и даже голос его стал другим, рот искривила гримаса, и он затрясся от хохота. Потом у него задрожали колени и странно зашевелились губы, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Наконец он произнес:

— Я удивляюсь вам, сестрица Ада. Вы ведь женщина умная, рассудительная, осторожная в выражениях. Как вы могли утверждать такое, что не лезет ни в какие ворота? Как вы могли утверждать, что видели своими глазами летопись Гумлидаты? Ведь этот город был разрушен еще при первом нашествии готов! А вы уверяете, что эта книга находится у вас в лепрозории, и ваши старики ее читали. Скажите на милость, уважаемая сестрица, как связать эти слова с тем, что есть на самом деле? Как древняя рукопись могла очутиться в таком доме?.. В доме, где живут ваши подопечные? Как?... Каким образом?... Простите меня, дорогая Ада, но это более чем сомнительно. Это просто какой-то нелепый слух. “Немой сказал, что слепой видел, как безрукий схватил”... Или, может быть, вы спутали Гумлидату с... я даже не представляю себе, с чем вы могли ее спутать. Что вы слышали об этой рукописи? Как она попала в колонию прокаженных? Вы возбудили, дорогая сестрица, мое любопытство, вы возбудили во мне жажду все узнать, до всего докопаться и проникнуть в суть вещей, наподобие этих самых... психоаналитиков. И пусть вас это

не удивляет, пожалуйста. Человек, написавший книгу, жаждет узнать, что по этому поводу написано другими. А если вы спросите, разве мало у меня собственных книг, то скажу вам по секрету, что все книги, заполняющие мой шкаф, вовсе не предназначены для чтения. Они здесь... для красоты. Если уж хотите знать всю правду, то скажу вам, что они как бы выполняют роль стражников. Да, да... они ограждают мой покой. Заглядывая в эти книги, люди о них и говорят, и я не должен рассказывать им о той, над которой работаю... и выслушивать их мнения... Расскажите, ради Бога, как все же рукопись Гумлидаты попала в дом прокаженных?

Сестрица Ада Эдем ответила:

— Сама я этой книгой не интересовалась, а с тех пор, как ее перестали читать, даже о ней и не думала. Вообще-то я почти не имею дела с книгами, а если я пришла к вам за литературой, то вовсе не для себя, а для тех несчастных, с которыми я живу, чтобы уменьшить их страдания, ведь чтение книг приглушает боль. Что же касается этих пергаментных листов, то сорок лет назад, когда они впервые попались мне на глаза, я, признаться, очень удивилась. Впрочем, все молоденькие сестры милосердия, впервые попадая в больницу, ко всему с любопытством приглядываются. Заметив, что меня эта книга заинтересовала, один почтенный старец рассказал мне то, что в дни молодости слышал о ней от старших. И я даже припоминаю, что он мне говорил. Если мне не изменяет моя старческая память, то вот, примерно, его рассказ. С вашего разрешения я только присяду...

Архаил Блаже схватился за сердце и испуганно воскликнул:

— Боже милостивый, где были мои глаза! Я даже не заметил, что вы стоите! Садитесь, пожалуйста, прошу вас! Вот на этот стул, нет, нет, вот на этот. Он из всех моих колченогих стульев самый надежный. Садитесь и рассказывайте. Как я жалею о каждом сказанном мною слове — ведь этим я мешал вам говорить... Вместо того, чтобы внимательно слушать, я без

удержу болтал. Очень прошу вас, дорогая сестрица, садитесь и рассказывайте.

Присев на стул, который подал Архаил, старушка подобрала края своего платья, сложила руки на груди, тяжело вздохнула и начала:

— Вот примерно о чем там говорится. После того, как отряды готов овладели великим и славным городом Гумлидатой, они взяли в плен страшного тирана, князя этого города графа Писсуарнона Кобельона Дустана из дома Сулеймана, когда тот пытался удрать. Он горько рыдал и умолял сохранить ему голову, обещая быть верным рабом их правителя Алариха. Они сохранили ему голову вместе с туловищем, кожей, ногтями и волосами и захватили его с собой.

А при нем была книга, в которой была записана история Гумлидаты и ее тиранов, и читал он ее Алариху. Аларих любил слушать историю былого величия Гумлидаты. Но случилось так, что плененный князь тяжело заболел. Готы бросили его на дороге и сами ушли. После них на поле брани появились прокаженные, искавшие остатки пищи и одежды. Натолкнувшись на больного, они сжалились над ним, освободили его от цепей и лечили, пока он не выздоровел. Узнав, к кому он попал, князь начал плакать и рыдать, приговаривая: “Лучше бы я умер“, ибо в те времена считали, что прокаженный подобен мертвецу, и всякого, кто к ним прикасался, принимали за прокаженного. Его спасители утешали князя, как могли. Они говорили: “Имей в виду, если ты еще раз попадешься в руки готов или их приспешников, они тебя убьют. Не лучшая участь быть растерзанным дикими зверями, которые целыми стаями бродят в окрестностях. Когда живешь среди нас, ты в полной безопасности. Можешь не бояться ни людей, ни хищников, и к тому еще ты не должен заботиться о своем пропитании“.

Доставив его в свой лагерь, они вручили ему колотушку. Заслышав приближение человека, он должен был бить в нее, предостерегая всех от встречи с собой. На шею ему повесили корзинку, куда сердобольные люди бросали хлеб и другую пищу. И так он жил

среди прокаженных и ел то, что они ели, пил то, что они пили.

Убедившись, что к нему хорошо относятся, он сам был с ними добр и приветлив, читал им свою книгу и в долгие зимние ночи развлекал их рассказами о жизни великой и многолюдной Гумлидаты и повествованиями о славных делах предков тирана, которые были именитыми и знатными людьми и правили Гумлидатой и всей областью.

Но время шло, и князь умер. Умерли и те, кто его приютил. Таким образом, кроме книги ничего не осталось от тех далеких времен. Люди живут и умирают, а их вещи остаются и продолжают существовать. Место умерших заняли живые, судьба которых была не лучше участи прежних. Живые находили эту книгу и проливали над ней слезы, как и их предшественники.

Одно поколение сменяло другое, и мир начал понемногу меняться. Люди начали больше сочувствовать страданиям отверженных. Мало того, что они так жестоко наказаны Богом, их гонят за пределы городов, в леса и пустыни. Там они скитаются в поисках пропитания, а зимой, когда все запасы иссякают, нередко гибнут от голода. Нашлись великодушные люди, которые собрали деньги и построили специальный дом для прокаженных — лепрозорий, обеспечив их всем необходимым.

Такова вкратце история того дома, где я живу в качестве сестры милосердия, и история сохранившейся там книги. Не думаю, господин доктор, что есть на свете человек, который знал бы о ней больше меня. Однако, господин доктор, поспешите и поторопитесь, чтобы, не дай Бог, не опоздать к назначенному часу.

Архаил ответил:

— Нет, я не опоздаю к назначенному часу. Более того, мое время только сейчас начинается... Вы посидите, а я быстро соберу все книги, и мы с вами принесем их добрым людям, с которыми вы живете. Посидите немного и... забудьте о моей книге! Моя книга уж приучена к тому, чтобы ждать...

Подойдя к книжным шкафам, Архаил стал отбирать книги. Получилась солидная груда. Разделив ее на пачки и перевязав, он снова стал рыться в шкафах, время от времени приговаривая: "Вот это они прочтут с удовольствием! Это им понравится!" Он внимательно разглядывал каждую книгу, решая, прихватить ли ее с собой. Все больше находил он книг, достойных внимания, и если бы не старушка, которая все время твердила: "Довольно! Хватит!" он, вероятно, отдал бы ей все свои книги со шкафами впридачу.

Закончив отбор книг, он сказал:

— Возьмите, пожалуйста, вот эту пачку, а я возьму остальное, и мы принесем их вашим подопечным. Что же касается господина... как его там? Ах да, господин Гольденталера... Гавхарда Гольдентала, о котором вы беспокоились, что он меня ждет, то я полагаю, что он уже нашел для себя другое занятие... А теперь, милая Ада Эдем, поспешим, пока не зашло солнце. Вы раскроете мне ворота в рай — введете в ваш дом и покажете мне эту книгу, о которой говорили. Что с вами, сестрица? Почему вы изменились в лице? Вы, может быть, опасаетесь, что мне не разрешат войти? Клянусь вам могилой моей матери, что если мне не разрешат, я растянусь у порога этого дсма и не двинусь с места, пока меня туда не впустят. Вы опечалены? Вы беспокоитесь? Я вам доставил огорчение? Если вы из-за меня расстраиваетесь, то это ни к чему. Это самый прекрасный день в моей жизни. И то, о чем вы мне поведали, самый прекрасный рассказ из всех, которые я когда-либо слышал со дня... со дня... Я немного растерян и не помню, с какого именно дня. Смотрите, смотрите, оно уже заходит! Это я говорю о солнце. Солнце при закате еще прекраснее, чем при восходе. Двадцать лет надо было провести под сенью книг, в храме мудрости, чтобы наконец понять и выразить вслух эту простую истину.

4

Они оба вышли за город. Чтобы шагать рядом, Архаилу пришлось умерить свой пыл, а ей — приба-

вить шагу. Он без умолку болтал, а она время от времени вставляла слово, и было оно подобно вздоху.

Каждый, кто попадался им навстречу, узнавая Аду Эдем, старался обойти ее стороной, да и она сама старалась держаться подальше от людей, дабы не пугать их. Архаил, однако, не замечал, что все шарахаются в сторону и от него самого, что его избегают. Внезапно остановившись, он спросил у своей спутницы:

— Вы не помните, я закрыл двери моего дома?

Архаил Блаже положил на землю тюк с книгами и тут только заметил, что ключ у него в руках. Он засмеялся:

— У меня в руке вместе с пачкой книг был и ключ, а я этого не замечал. Такая забывчивость, — видимо, из-за тяжести книг. Тише! — прикрикнул он на себя.

В своих мечтах Архаил уже видел, как сидит и читает таинственную книгу о Гумлидате, и слова, которые сейчас срывались с его губ, лишь рассеивали внимание, отвлекая от чтения. Вожделенная книга начисто затмила в его памяти собственный труд, которому он посвятил двадцать лет жизни, и того господина, который хотел книгу опубликовать.

Спустя час, они стояли у лепрозория.

Не могу точно сказать, через какие ворота он прошел и сколько времени потратил на то, чтобы получить разрешение туда войти. Знаю лишь, что много сложнее обстояло дело с самой книгой, все страницы которой были покрыты струпьями, так что даже прокаженные брезгливо сторонились ее и не прикасались к ней. Но так как все подробности мне не известны, а говорить предположительно я не люблю, оставим в стороне сомнительные моменты и расскажем только о достоверном.

Итак, Архаил, придя в эту обитель скорби, в конце концов добился разрешения проникнуть вовнутрь. Когда он туда вошел, на него напялили специальный халат, который покрывал его всего, с головы до пят, и, вынув из тайника заветную книгу, положили ее перед ним со словами:

— Осторожно! И не вздумайте только к ней прикасаться!

Он смотрел на эту книгу до тех пор, пока глаза его не расширились настолько, что заняли почти половину лица. Долго и неподвижно сидел он, вперив свой взгляд в книгу, затем внезапно сорвался с места и хотел было открыть ее, как вдруг почувствовал, что кто-то крепко держит его за локти.

— Погоди! — услышал он в это мгновение.

То были служители лепрозория. Они надели ему на руки перчатки и завязали их китрым узлом, чтобы они не соскользнули с пальцев, и строго-настрого запретили прикасаться к книге без перчаток. И снова, и снова его предупреждали и предостерегали; говорили, как были наказаны легкомысленные люди, которые пренебрегали предосторожностями; рассказывали всякие были и небылицы, чтобы напугать его, дабы он не относился легкомысленно к страшной болезни. Но я не знаю, слушал он их или не слушал. А вот то, что глаза Архаила увеличились настолько, что заняли все лицо и даже вышли за его пределы, — это мне доподлинно известно.

Убедившись, что от него никак не отделаться, ему отвели место в саду при доме прокаженных (этот сад назывался Эдемским в честь сестрицы Ады Эдем), принесли туда стул, стол и приставили к нему специального служителя. И сидел за этим столом Архаил Блаже, углубляясь в каждую букву, в каждое слово, в каждую строку, в каждый абзац, в каждую страницу, а служитель, стоя рядом с ним, листал книгу. Служитель был приставлен потому, что администрация опасалась, что одержимый ученый не будет соблюдать все правила предосторожности, — ведь книга была насквозь пропитана проказой от прикосновения множества рук больных, которые ее листали.казалось, самый текст написан не на пергаменте, а на коже прокаженных, и буквы выведены не чернилами, а гноем.

Что еще можно к этому прибавить?

После того как Архаил тщательно изучил все уцелевшие буквы и даже все стертые слова, он нашел

то, над чем тщетно бился долгие годы, а именно — с какой стороны наступали на Гумлидату передовые отряды готов и как им удалось захватить город. Ведь Гумлидата была окружена высокой каменной стеной и укреплена со всех сторон. Кроме того, ее окружали заросли, болота, плетни, бугры, холмы, ямы... То, над чем Архаил безрезультатно трудился многие годы, решилось быстро и без особых трудностей. И ради вас и всего дома Израилева* я расскажу, о чем поведали ему мертвые буквы. Расскажу очень коротко, хотя в книге об этом говорится подробно и обстоятельно.

Речь идет о раздорах, в которые была втянута девушка родом из гуннов по имени Шлюхен или Члюхен. Выехав на ослике из лагеря гуннов (приспешников готов) с намерением совершить небольшую прогулку, Шлюхен достигла высеченной в скале ямы (в ней давили виноград), которая находилась в пригороде Гумлидаты. Здесь ее схватили стражники и привели в город. И увидели ее слуги Нахальона, то есть престарелого графа Писсуарнона Кобельона Дустана из дома Сулеймана, деда молодого графа Писсуарнона Кобельона Дустана Сулеймана, и привели ее к своему господину. Но Шлюхен его люто возненавидела из-за того, что он храпел и кряхтел во сне, а также потому, что ей предложили спать в мягкой постели, на пуховых перинах. Она не выносила ни его изысканных манер, ни его запаха. Ей были противны весь этот город с его святынями. И в один прекрасный день она удрала. Однако ее поймали и вернули графу. Она снова удрала и снова была поймана. Так повторялось несколько раз: она убегала, но каждый раз ее ловили и возвращали обратно.

Увидев, что побеги ни к чему не приводят, она покорилась и стала думать, как бы отомстить жителям Гумлидаты.

В это самое время полчища готов обрушились на

* Здесь автор имитирует стих из широко известной молитвы "Кадыш".

город. В Гумлидате начались тревожные дни, ибо жители ее хорошо знали, что всюду, где появляются готы, они убивают, сжигают, разрушают, и Гумлидате уготована та же участь. Поняв, что город обречен, Нахальон захандрил и впал в меланхолию. И если бы не маленькая Шлюхен, внезапно изменившая к нему свое отношение и обнаружившая такие тайные чары в искусстве любви, о которых он ранее и не подозревал, никогда не испытыв их ни с одной девушкой и ни с одним юношей, то Нахальон, несомненно, умер бы с горя еще до того, как был обезглавлен готами.

Когда стражи увидели, как пылка и ласкова девушка с Нахальоном, они ослабили свой надзор за ней, и уже не шли по ее пятам, как раньше. Убедившись, что за ней почти не следят, Шлюхен стала везде бывать и всюду показываться. Она стала появляться даже у городской стены возле Долины Журавлей, куда никто не ходил, опасаясь обвала, ибо во время землетрясения стена эта изрядно пострадала, кирпичная кладка была сильно расшатана и еле держалась, что весьма огорчало жителей города.

В ту пору Шлюхен была единственным утешением Нахальона, спасала его от хандры и меланхолии. Из страстной к ней любви он подарил ей драгоценный священный нагрудник, какие тогда носили лишь самые знатные дамы. Украшение это состояло из лент, тесемок, цепочек и петель, в совокупности воспроизводивших очертания Долины Журавлей.

Однажды, находясь в садике, разбитом возле дома Нахальона, Шлюхен играла с осликом, принадлежавшим к числу тех благородных животных, что были вскормлены женским молоком. В Гумлидате и ее окрестностях существовал древний, освященный временем обычай: если женщина беременела неведомо от кого, ей давали возможность родить, а уж затем родня забирала новорожденного и уходила с ним в лес в поисках зверей, у которых рождались щенки. Положив новорожденного перед лесным зверем, они завладели его детенышем и отдавали женщине, дабы она

вскормила его своей грудью. Если же не находилось лесного зверя, то его заменяли домашним животным. В отношении знатных женщин обычай этот был еще более суровым. Если такая дама рожала ребенка, и отец его не был известен, то ребенка убивали, а матери приносили звереныша. Считалось, что дамы благородного происхождения не имеют права вскармливать грудью детей простых смертных. Их благородная кровь не должна смешиваться с кровью простолюдинов.

Итак, девушка играла с осликом, ибо ее с детства приучили к общению со зверьми и животными, благо отец ее, паяц Карбункул, занимался дрессировкой медведей, учил их плясать. И увидел дикий осленок-онагр, как Шлюхен забавляется с домашним осликом, и вдруг вспылал резностью. Он заревел, будто его режут. Услышав этот рев, Шлюхен, засмеявшись, сказала:

— Осел остается ослом, даже если он вскармлен грудью княгини, он и тогда ревет по-ослиному... Чего тебе? Может быть, ты хочешь получить мой священный нагрудник? Давай, я напялю тебе его на глотку на веки вечные. Такого украшения не носила даже твоя знатная кормилица.

Ослик подошел к ней, и она сняла с себя драгоценный нагрудник и повязала его на шею онагра, заставив животное в знак благодарности склонить свою морду, как это делали все министры, когда получали подарки от своих жен.

Внезапно девушку охватила печаль. Она вспомнила свои горести, вспомнила, что живет в изгнании, вдали от вольного стана своих братьев и сестер. Все они свободные люди, которым неведомы ни стены, ни ограды, ни ворота, ни запоры. Шлюхен вспылала гневом и захотела излить его на онагра, который напомнил ей о ее злоключениях. Особенно разозлило Шлюхен то, что он, осел, и то лучше и благороднее ее: ведь даже после того как она надела ему на шею нагрудник, он все продолжал реветь... Девушка схватила его за уши, чтобы поколотить. Но тут перед

ее глазами встали ленты, тесьмы, цепочки и петли священного нагрудника с очертаниями Долины Журавлей. И сердце ее так сильно забилося, что она невольно прижала к нему руку, дабы заглушить рвущийся оттуда крик и не выдать тайвшихся в нем замыслов.

Изобразив на лице радостную улыбку, девушка повела онагра к Долине Журавлей, что у городской стены, к тому месту, где была чуть заделанная брешь, образовавшаяся еще во время землетрясения. Расширив и расширив пролом, она пропустила через него ослика, украшенного драгоценным нагрудником.

Очутившись за стеной, ослик пустился бежать в сторону готов. Увидев это, Шлюхен возликовала. Сердце ее говорило: когда осаждающие заметят онагра с нагрудником, они сразу поймут, что им дан тайный знак к наступлению со стороны Долины Журавлей.

Глубоко затаив в сердце радость, она вернулась к старому графу и была с ним чрезвычайно ласкова, а также мила и любезна со всеми его приближенными. Ее любовь настолько ослепила правителя и его военачальников, что они совсем не обратили внимания на полчища готов, плотным кольцом окруживших город.

Выйдя за пределы Гумлидаты и почувяв просторы пустыни, онагр заревел от восторга. Он чувствовал себя здесь как дома. Его громкий рев донесся до лагеря готов. Заметив дикого осла, украшенного драгоценным нагрудником, они страшно удивились. Раньше никогда ничего подобного им не приходилось видеть. И привели они онагра к своему правителю Козлесвинду. Взглянув на нагрудник, он спросил воинов:

— Есть ли здесь такое место, которое называется Долина Журавлей? И не заслан ли кто-нибудь из наших в Гумлидату?

Узнав об этом, паяц Карбункул приполз на брюхе к шатру Козлесвинда и, чтобы привлечь к себе внимание, он закудаhtал по-куриному, и промышчал, и заблеял, объятый тоской по Шлюхен, а в заключение прохрипел:

— Если то не дело рук моей дочери, то я ей не отец. Исчезла эта барсучка, а теперь я вижу, что она там, в Гумлидате.

Обследовав все на месте, воины обнаружили, что стена возле Долины Журавлей полуразрушена, и они проникли через брешь в Гумлидату. Город, по своему обыкновению, они предали огню, и в гневе неудержимом истребили многих, не пощадили ни грудных детей, ни стариков, ни женщин. И вызволили они из плена маленькую Шлюхен и дали ей в слуги внука старого Нахальона Писсуарнона Кобельона Дустана из дома Сулеймана (младшего).

Все это было написано на последней странице летописи, в виде добавлений, сделанных рукой писца.

Когда Архаил прочел этот рассказ, из глаз его полились слезы. Как велики заслуги писцов! Даже когда над их шеей занесен острый меч, они не бросают пера, и собственной кровью дописывают для грядущих поколений все, что видели их глаза.

Еще много занятного нашел Архаил Блаже в этой книге. Бесспорно, что были там факты, подтверждавшие его гипотезы и служившие доказательством их верности. С другой стороны, нельзя было отрицать, что имеются факты, которые находятся в полном противоречии с тем, что он установил. Наш ученый, пожалуй, уж слишком полагался на своих предшественников, хотя подчас ощущал в их словах много неясного и сомнительного.

Все лето провозился Архаил с этой книгой, но с наступлением зимних холодов он уже не мог больше работать в саду. И ему предоставили в лепрозории отдельную комнату с печкой и запасом дров.

Он безвыходно сидел в своей комнате, восстанавливая текст букву за буквой, слово за словом, строку за строкой, пока не получались целые, связные куски. А когда ему попадались отрывки, которые, по его мнению, были интересны для всех, он входил в общий зал, собирал вокруг себя обитателей дома прокаженных и говорил им:

— Братья и друзья! Садитесь поближе, я вам кое-

что почитаю. И он читал им о великом и славном городе Гумлидате и его жителях, которые были очень горды и высокомерны, пока не пришли готы и не разбили их в пух и прах. Он рассказывал им также об их богах Чуше, Туше, Жруше, Алкуше и Вруше, о прамах, их отпрысках, младенцах и отроках, об идолах, больших и малых, и о высоких храмах, об обжорах, садовниках, стражах, блудницах и иеродулах, жрецах, священных собаках и о многом, многом другом.

Иногда он посвящал прокаженных в свои новые исследования и открытия. Их было немало, и некоторые он заносил в особую книгу. Однако этот труд его так и не дошел до нас, так как запрещено выносить какие-либо предметы, а тем более книги и рукописи, за пределы дома прокаженных. Все-таки малая толика из его открытий сохранилась для науки, ибо, если настоящий ученый раздобывает какие-то новые крупы знаний, то, будь он как угодно изолирован от людей, кое-что из его открытий все же достанется обществу.

Порой Ада Эдем приносила Архаилу из его дома научные сборники, которые приходили по его адресу из разных университетов. Читая их, он иногда с изумлением обнаруживал там те же открытия, которые он сам сделал, но в сборниках они были подписаны другими, неизвестными ему именами. Это было поистине непостижимо. То, над чем он так долго и упорно трудился, здесь трактовалось как нечто всем давно известное... "А если так, то к чему вся моя работа? — думал он. — Буду довольствоваться тем, что пишут другие".

Но нерасторжим союз, заключенный между учеными и ученостью! Они ее никогда не оставляют. Архаил Блаже говорил: "Зачем мне трудиться?" А ученость к нему привязалась всем сердцем и нашептывала: "Вернись ко мне, дорогой, не покидай меня!" — И он сидел и открывал сокровенные вещи, скрытые от всех ученых мужей его времени, и радовался, что именно ему дано было открыть их. Но так как много есть на свете сокровенного и непознанного,

и наука бесконечна и неисчерпаема, а человек все должен изучить, исследовать и понять, то Архаил Блаже так и не оставил своей работы и не прекращал ее ни на один час. Он так и остался жить там навсегда.

Т Х И Л А

(Повесть)

Была в Иерусалиме старушка. Чудесная старушка — никогда такой не видел. Умная, справедливая, скромная удивительно, симпатичная необыкновенно. Глаза внимательно светятся, а морщинки на лице такие мирные, светлые. Если бы женщины могли походить на ангелов, я сравнил бы ее с ангелом Божьим. И еще — у нее была девичья живость. Не носи она старушечьего платья, вы бы в ней не увидели примет старости.

Пока я не уезжал из Иерусалима, я не знал ее. Вернувшись снова в Иерусалим, я с ней познакомился. Как же я не знал ее раньше? А как вы не знаете ее сейчас? Просто — каждому на роду написано, когда с кем познакомиться, кого встретить, в каком месте, в какое время и при каких обстоятельствах.

При каких обстоятельствах я с ней познакомился? Было так. Пошел я навестить одного иерусалимского ученого мужа, который живет у Западной Стены, и не нашел его дом. Встретил женщину с ведром в руке и спросил. Она сказала:

— Пойдемте, покажу.

Я сказал:

— Стоит ли мне затруднять вас? Вы только объясните, как пройти, а я уж сам найду.

Она улыбнулась и сказала:

— Вам жаль, если старуха сделает доброе дело?*

Я ответил:

— Если это доброе дело, — пожалуйста, только дайте мне ваше ведро.

* В оригинале — “сподобиться мицвы”. Значение слова “мицва” в иврите многообразно: это и заповедь, и Божье повеление, и доброе дело, и благочестивый поступок.

Она улыбнулась и сказала:

— Вы хотите умалить мою мицву.

Я ответил:

— Не мицву, а беспокойство, которое вам причиняю.

Она сказала:

— Это не беспокойство, а дар Всевышнего, когда Он дает нам силы самим нести свою ношу.

Мы прыгали с камня на камень в извилистых переулках, сторонясь верблюдов, ослов, водоносов, бездельников и любителей посудачить. Наконец моя провожатая остановилась и сказала:

— Вот дом, который вы ищете.

Сказав ей на прощание “шалом”, я вошел в дом.

Я застал его сидящим у стола. Не знаю, вспомнил он меня или нет. Как раз перед моим приходом он сделал каксе-то большое открытие в Талмуде. Поэтому, увидев меня, он рассказал мне о нем. Потом рассказал о другом своем открытии. Когда я собрался уходить, я хотел спросить его о старушке, показавшей мне дорогу, у которой такое милое лицо и такой приятный голос. Но разве можно отвлекать ученого мужа, когда он поглощен своими открытиями?..

Через несколько дней я снова шел в город, на сей раз к пожилой вдове раввина. Ее внуку — сыну ее сына — я обещал перед возвращением из-за границы в Иерусалим навестить ее.

В этот день начались зимние дожди, и солнце было скрыто за облаками. Такой день за границей считается осенним, но жители Иерусалима, которые семь месяцев в году нежатся на солнце, каждый день, когда солнце не палит всюю, считают зимним. В такой день все прячутся в домах или во дворах — везде, где только есть крыша.

Я разгуливал назад и вперед, вдыхая свежесть дождей, моросивших в цветном тумане, с шумом несшихся по камням, стучавших о стены домов, плясавших на крышах и нисходивших каплями, образуя множество луж то мутных, то кристальных, сверкающих в лучах солнца, которое выходило справиться из обла-

ков, — не убывают ли воды. В Иерусалиме солнце даже в дождливый день не забывает о своем долге.

Я прошел под сводами ювелирных и парфюмерных лавок, мимо сапожников и ткачей, изготавливающих одеяла, мимо продавцов, варящих пищу, и попал на еврейскую улицу. Закутанные в жалкое тряпье, сидели нищие, которые ленились даже руку высунуть из-под лохмотьев, и с гневом смотрели вслед проходившим, если те не вынимали кошелька. У меня было немного мелочи. Я шел от одного к другому и подавал всем. Затем я спросил, где дом вдовы раввина, и мне его показали.

Я вошел во двор — в один из тех дворов, при виде которых у вас возникает сомнение, живет ли здесь кто-нибудь вообще, — поднялся на шесть, семь ступенек по разбитой лестнице и очутился у покосившейся двери. Снаружи я увидел кошку, а внутри — кучу мусора. Из-за холода не было видно ни души, и только сердитый мрачный голос спросил: “Кто здесь?” Я поднял глаза и увидел нечто вроде железной кровати, на которой горой громоздились подушки и одеяла. Под горой лежала испуганная и рассерженная старушка.

Поздоровавшись, я сообщил, что приехал из-за границы и пришел передать привет от внука — сына ее сына. Она под подушкой просунула руку, натянула одеяло по самую шею и спросила, сколько домов у внука, есть ли у него служанка, в каждой ли комнате ковер. Затем она вздохнула и сказала, что этот холод сживет ее со света. Увидев, как ей докучает холод, я решил, что керосиновая печь может облегчить ее страдания. Я схитрил и сказал, что ее внук дал мне денег, чтобы купить ей печку. Переносную печку, в которую наливают керосин, зажигают фитиль, и она горит и дает тепло. Вынув кошелек, я сказал:

— Вот деньги.

Она сразу же заворчала:

— Как я могу купить печку, разве у меня есть ноги? Ледышки у меня, а не ноги. Прежде чем этот

холод сведет меня на Масличную гору,* я сойду с ума. А там, за границей, говорят, что Эрец Исраэль — теплая страна. Теплая она для грешников в аду.

Я сказал ей:

— Завтра выглянет солнце и больше не будет холодно.

Она возразила:

— Пока придет утешение, dokonает мучение.

Я сказал:

— Через два часа я пришлю вам печку.

Она сжалась среди своих подушек и одеял, как бы показывая мнимому добродетелю, что нельзя на него полагаться.

Я попрощался, свернул на улицу Яффо, зашел в магазин, купил самую лучшую переносную печь и послал ее старой раввинше. Через час я вновь зашел к ней: вдруг она не знакома с переносными печами, и нужно научить ее зажигать их. По дороге я подумал, что, пожалуй, не услышу из ее уст слова благодарности. Разные есть старушки. Та, что привела меня к дому ученого мужа, была мила и приветлива, эта же, которой я послал печку, в тяжесть даже тем, кто желает ей добра.

Тут я должен оговориться. Я совсем не хотел похвалить одну, выпятив недостатки другой, а тем более не собирался описывать город и его жителей. Человеческий глаз ограничен, он не в состоянии вместить город Всевышнего, благословенно имя Его. А если это так, почему я вспомнил раввиншу? Потому что у входа в ее дом я вновь встретился с той старушкой.

Я посторонился и пропустил ее вперед. Она остановилась и спросила о моем здоровье, как спрашивают у близких людей. Я немало удивился. Не из тех ли она старушек, которых я знал в Иерусалиме раньше, до своего отъезда за границу? Но почти все они умерли, угасли от голода в дни войны, а если и осталась какая-нибудь, то ведь и я изменился. Из Иерусалима

* Там находится одно из самых древних кладбищ Иерусалима.

я уехал юношей, но годы жизни на чужбине сделали меня стариком, — могла ли она узнать меня?

Она заметила, что я удивлен, засмеялась и спросила:

— Разве вы не узнаете меня? Это ведь вы хотели нести мое ведро, когда я вам показала дорогу.

Я сказал:

— Это вы показали мне дорогу, а я стою и удивляюсь, будто не знаю вас.

Она засмеялась и сказала:

— Разве вы должны знать всех старушек в Иерусалиме?

Я возразил:

— А как вы узнали меня?

Она ответила:

— Такой уж город Иерусалим, глаза его ждут прихода детей Израиля, и каждый, кто приходит сюда, остается в нашем сердце, и мы не забываем его.

Я сказал ей:

— Холодный сегодня день — дождь и ветер, а я стою и задерживаю вас.

Она ласково ответила:

— Я знавала холод сильнее иерусалимского. А что на улице дождь и ветер, — так мы ведь ежедневно благодарим Всевышнего за то, что он приносит дождь и ветер. Ты сделал богоугодное дело, оживив кости старушки. Печка, которую ты прислал раввинше, согрела ее душу.

Я опустил голову, пристыженный похвалой. Она почувствовала это и сказала:

— Нам дано совершать добрые дела не для того, чтобы их стыдиться. Наши предки совершали множество таких дел, но никто об этом не знал. Но теперь у нас добрых дел немного, и сделать их известными — тоже доброе дело. Пусть другие услышат и учатся таким делам. Иди теперь, сыночек, к раввинше, посмотри, как греет ее твое доброе дело.

Я вошел к раввинше и застал ее у горячей печки. Капли света вытекают из ее дырочек, и весь дом наполняется теплом. Тощая кошка у нее на коленях,

раввинша смотрит на печку и обращается к кошке:

— Мне кажется, ты радуешься теплу больше, чем я.

— Вижу, что печка хорошо горит и греет. Вы довольны?

Раввинша сказала:

— Довольна ли я? Разве оттого, что я скажу, она перестанет вонять или будет лучше греть? В моем доме была печка, так она горела с исхода праздника Кушей и до Пасхи, а грела — как солнце в августе. Все ей радовались, не то, что сегодня, — эти печурки греют лишь одну минуту. Да что же требовать от нынешних изобретателей, разве могут они делать хорошие вещи? Хорошо еще, что они делают вид, будто что-то делают. Я это сказала в нашем городе после смерти раввина, моего мужа, да почитет он в мире, когда в наш город пришел новый раввин. Я им сказала: “Вы думаете, он будет таким, каким был ваш покойный раввин? Хорошо еще, если он не наделает бед...” И когда соседки пришли посмотреть печку, которую прислал мне мой внук из-за границы, я им тоже сказала: “Эта печка стоит нынешнего поколения, а поколение стоит этой печки...” Что пишет тебе мой внук? Ничего не пишет? Мне он тоже не пишет. Он считает, что раз прислал мне эту крохотную печурку, то уже выполнил свой долг.

Расставшись с раввиншей, я подумал: “Полагаю, что тоже выполнил свой долг, послав ей эту “крохотную печурку”, и больше не должен ее навещать”. Но в конце концов я снова пришел к ней по милости той же симпатичной старушки. Предначертанное нам число встреч, видимо, еще не исполнилось.

И снова должен сказать, что не собираюсь описывать все, что случилось со мной в эти дни. Дела наши многочисленны, и если говорить обо всем, не хватит сил. Но о том, что касается старушки, следует, пожалуй, рассказать.

В канун нового месяца я, как и все иерусалимцы, отправился помолиться к Стене Плача. Зима уже почти прошла, появились весенние побег. Небо высилось

во всей своей чистоте, а земля уже сбросила с себя покров легкой грусти. Солнце играло в небе, и город плыл в его свете. И если бы не беды, которые на нас обрушились, было бы совсем весело. Ой, много невзгод и бедствий было тогда, прямо одно за другим, одно за другим.

От Яффских ворот и до самой Стены идут и идут мужчины и женщины, из всех общин, какие только есть в Иерусалиме. Идут и новоприбывшие, которых привел Всевышний на это место, хоть своего места в стране они пока не нашли.

Вдоль всей Стены в будках мандатной полиции расселись ее полицейские, чтобы всем было видно, что только они охраняют молящихся. Видят это подстрекатели и выжидают, затаились. Кутаются в талиты* молящиеся, прижимаются к камням Стены. Кто плачет, а кто дивится: "Ах, ты, Господи, доколе? Мы уже опустили до последней ступени, а Ты все не спешишь с избавлением..."

И я нашел себе место у Стены и стоял то среди молящихся, то среди дивящихся. Я удивлялся народам мира. Мало того, что они угнетают нас во всех странах мира, они же продолжают докучать нам и здесь, в нашем доме.

Пока я стоял и думал, меня согнал с места мандатный полисмен с дубинкой в руке. Что его так разгневало, чего он так кипит? Одна болезненная старушка пришла сюда с табуретом. Вскочил полисмен, толкнул табурет, повалил старуху и отобрал у нее табурет. Она, видите ли, преступила закон, начертанный перстом мандата: нельзя приносить стулья к Стене. Все видели, все молчали. Разве добьешься правды у сильного?

Пришла моя знакомая старушка и посмотрела на него. Опустил полисмен глаза и возвратил табурет.

Я приблизился к ней и сказал:

— Ваши глаза сильнее всех обещаний Англии.

* Молитвенные накидки с "кистями видения" по краям.

Англия дала нам Декларацию Бальфура и посылает ее же отменяющие приказы, а вы, бабушка, только взглянули на этого негодяя и сразу рассеяли все его злые помыслы.

— Не говорите так, он хороший гой,* он увидел в моих глазах огорчение и возвратил бедняге табурет. Вы уже помолились? Почему я спрашиваю? Потому что если да, то я вместе с вами исполню заповедь посещения больных. Раввинша, чтоб она была здорова, заболела. Она сегодня очень больна. Если хотите, я проведу вас короткой дорогой.

Я согласился и последовал за ней.

Мы кружим из переулка в переулок, из двора во двор. На каждом шагу она останавливается, чтобы дать кусок сахара ребенку, грош бедняку, спросить мужа о здоровье жены, жену о здоровье мужа.

Я сказал ей:

— Вы каждого спрашиваете о здоровье, позвольте же и вас спросить о том же.

Она ответила:

— Благословен Он и благословенно имя Его, С Ним мне всего хватает. Всевышний всем людям дает все необходимое, и я в их числе. Я больше всего благодарна Ему: сегодня Он удвоил мою долю.

Я спросил ее:

— Какую?

Она ответила:

— Я всегда успеваю прочесть лишь один “день” из Псалмов,** а сегодня я успела два. Сказав это, она погрустнела.

Заметив это, я сказал:

— Ушла ваша радость.

Она, помолчав, ответила:

— Да, сыночек, я была рада, а теперь нет. — И, сказав это, повеселела, подняла глаза и продолжала: — Слава Богу, рассеялась грусть.

* Иноверец.

** Каждый день недели читаются определенные псалмы.

Я сказал:

— Отчего вы были вначале веселы, потом стали грустной, а теперь снова повеселели?

Она ласково ответила:

— Если не рассердишься, я скажу тебе, что не так ты должен был спросить, а иначе: “Чем ты заслужила, что Господь унял твою грусть?” Ведь для Него все равно, что радость, что грусть.

Я сказал ей:

— Может случиться, что я и рассержусь, ибо вы учите меня, как надо говорить. Ведь написано: “Блажен, кто не забывает Тебя”.

Она сказала:

— Ты хороший человек и хорошо приводишь тексты Священного Писания. И я расскажу тебе что-то хорошее. Ты спросил, почему я была весела, а потом печальна, а теперь повеселела. Ты знаешь, наверное, что все дела человека предначертаны ему с рождения и до самой смерти, даже сколько раз он прочтет Книгу Псалмов. Но выбор в его руках, и от него самого зависит, сколько читать ежедневно. Бывает, что удается за день прочесть всю книгу, а бывает, что только один-два псалма. Сегодня после мизморим* я пошла дальше и прочла два “дня”. Потом я подумала и вдруг поняла: может быть, я больше не нужна на свете, и меня торопят закончить то, что я еще должна сделать. Приятно благодарить Всевышнего, а ведь когда умру, я не смогу прочесть ни одного псалма, даже ни одной буквы. Увидел Всевышний мою печаль и явил мне чудесным образом милость Свою, дабы знала я, что таково Его воля, благословен Он. А если хочет Он завершить мою жизнь, кто я такая, чтобы грустить? И Он сразу снял с меня всю мою грусть, благословенно имя Его.

Я посмотрел на нее и подумал: “Какими путями приходят к такому смирению?” Я размышлял о первых поколениях, отличавшихся добрыми нравами, и заговорил с ней об ушедших поколениях.

* Хвалесбные гимны из Псалмов Давида.

— В ваших глазах я увидел больше, чем мог выразить словами, — сказал я.

Она ответила:

— Когда человеку дано прожить долгие дни и годы, ему многое случается видеть — и хорошее, и даже то, что лучше хорошего.

Я попросил ее:

— Расскажите о хорошем.

Она помолчала и сказала:

— С чего начать? Начну, пожалуй, с детства. В детстве я была болтливым ребенком. С утра и до вечера рот у меня не закрывался. А у нас был сосед, старик. Как-то он сказал тем, которых радовала моя болтовня:

— Жалко девочку. Если она истощит весь свой запас слов в детстве, то что она будет делать, когда станет старушкой?

Я страшно перепугалась — не может ли так случиться, что завтра я онемею? Но со временем я поняла мысль старика: человек не должен пытаться делать за короткое время то, на что ему отведены долгие годы. И я приучила себя взвешивать каждое слово, нужно произнести его или нет. И так как я скупилась на слова, запас мой еще не истощился. А теперь, когда я еще кое-что сохранила, ты хочешь, чтобы я так сразу все потратила. Если я это сделаю, то сокращу свои дни.

Я сказал:

— Этого я совсем не хотел... Что же это мы все идем и идем, и еще не пришли к дому нашей больной раввинши?

Старушка ответила:

— Ты, наверное, помнишь, город был раньше сплошным проходным двором. А теперь, когда его заселили арабы, мы должны обходить их, и дороги стали длиннее.

Мы вошли в один двор. Она сказала:

— Видишь этот двор? Раньше здесь жило сорок еврейских семей. Здесь были две синагоги, здесь всегда молились, днем и ночью учили Тору, но евреи

покинули этот двор. Пришли арабы и поселились в нем.

Мы подошли к кофейне. Она сказала:

— Видишь этот дом? Здесь был большой ешибот. Здесь сидели и учили Тору, но и ешибот оставили. Пришли арабы и поселились здесь.

Мы миновали стоянку ослов. Она сказала:

— Видишь этих ослов? Здесь была столовая, и честные бедняки входили сюда голодными и выходили сытыми. И эту столовую тоже оставили. Пришли арабы и поселились в ней. Дома, в которых обитали молитва, Тора и человеческое добро, теперь наполнились криком ослов и голосами арабов. Ну, а теперь, сыночек, мы пришли ко двору раввинши. Заходи, и я тоже зайду вместе с тобой. Бедняжка, она видит мнимые сокровища где-то за морем, а подлинных сокровищ совсем не видит.

Я спросил:

— Какие это подлинные сокровища?

Она улыбнулась:

— И ты задаешь такой вопрос? Разве ты не читал: “Блажен, кого Ты избрал и приблизил — он в Твоих дворах обитает”? Какие же дворы у Всевышнего? Дворы Иерусалима. Когда говорят “Иерусалим”, прибавляют “Святой город”. Если я говорю “Иерусалим”, я не прибавляю ни слова. Святость Иерусалима в самом имени. Иди, иди, сыночек, и не споткнись на лестнице. Сколько раз я говорила со старостой ешибота, что лестницу надо починить. И что он ответил? Что двор все равно разваливается, и что его все равно сломают, и что он не станет тратить на него ни гроша. Вот так ветшают дома Израиля, а потом их оставляют и приходят басурмане и поселяются в них. Дома, которые отцы строили со слезами, покинуты их сыновьями... Но я снова начинаю болтать и укорачиваю свой век.

Войдя к раввинше, я нашел ее лежащей в постели, с закутанной головой, с компрессом на шее, и кашляла она так, что сотрясались склянки с лекарствами, стоявшие возле постели. Я спросил ее:

— Вы заболели, ребецн?*

Она застонала, и глаза ее наполнились слезами. Я хотел утешить ее и не нашел слов утешения, опустил глаза и пробормотал:

— Больна и одинока.

Она вновь застонала и сказала:

— Больна, совсем больна. Во всем мире нет такой больной, как я. Но я во всяком случае не одинока. Даже здесь, в Иерусалиме, где меня совсем не знают и понятия не имеют о том, в каком почете я жила раньше, даже здесь нашлась женщина, которая заходит ко мне и приносит поесть горячее и кормит меня в постели. Что слышно о сыне моего сына? Он, верно, сердится на меня, что я не написала ему ни слова благодарности за печку. Но скажи, разве я в силах идти покупать чернила и бумагу и писать письма? Я с трудом подношу ложку супа ко рту. Странно, что эта Тили до сих пор еще не пришла.

Я сказал:

— Если вы имеете в виду ту симпатичную старушку, то она сказала, что скоро придет.

Раввинша сказала:

— Не знаю, симпатичная она или нет, но она дело делает. Посмотри, сколько праведниц в Иерусалиме, — целый день, как пчелы, жужжат псалмы и молитвы, а хоть бы одна пришла спросить: “Ребецн, может, вам что-нибудь нужно?” Ой, голова, голова! Если сердечные боли не сживут меня со света, это сделают головные боли.

Я сказал:

— Вижу, вам тяжело говорить.

Она сказала:

— Ты говоришь, что мне тяжело говорить. Да, я в тяжесть самой себе. Даже кошка это почувствовала и ушла из дома. А говорят, что кошка привязана к дому. Наверно, соседские мыши вкуснее того, что я ей давала. Что я хотела сказать? Все, что хочу сказать, забываю. Не то, что Тили. Столько лет у нее

* Раввинша (идиш).

за плечами, а голова до сих пор в порядке. Она же вдвое старше меня. Если бы жив был мой отец, блаженной памяти, он перед ней был бы ребенком.

Я спросил:

— Кто она такая, эта Тили?

Раввинша ответила:

— Ты же о ней только что говорил. Теперь уже Тили никто не знает. А раньше все знали Тили, она ведь была необычайно богата, вела большие дела. Когда она оставила все и приехала в Иерусалим, то привезла с собой несколько бочек с золотом. Если не несколько, то одну бочку наверняка привезла. Мне рассказали соседки, которым рассказывали служанки, что когда Тили приехала в Иерусалим, все самые почтенные люди в городе обхаживали ее. Кто для себя, а кто для сына. Но она всех отвергала и осталась вдовой. Сначала богатой вдовой, потом зажиточной и наконец просто старушкой.

Я сказал:

— Посмотреть на Тили, можно подумать, что она прожила легкую жизнь.

Посмеялась надо мной раввинша и сказала:

— Легкую, говоришь? Она вообще не видела ничего хорошего в жизни. Брагам своим я не пожелаю тех страданий, что были у Тили. Ты думаешь, наверно, что если она не нуждается в милостях благотворительных обществ, то жизнь ее — одно удовольствие. Я скажу тебе, что даже нищий, что по домам побирается, с ней бы не поменялся. Ой, боли, какие боли! Я старалась о них забыть, а они меня не забывают.

Я видел, что раввинша знает больше, чем говорит, но чувствуя, что если я спрошу ее, она ни за что не ответит, я встал со стула и собрался уходить. Она сказала:

— Не успел трубочист залезть в трубу, а лицо уже в саже. Еще не посидел, а уже собрался уходить. Чего ты спешишь?

Я сказал:

— Если хотите, я посижу.

Она промолчала.

Я завел разговор о Тили и сказал:

— Расскажите мне что-нибудь о ней.

Она ответила:

— А кому от этого будет легче? Мне или ей? Не люблю я, когда начинают истории рассказывать. Лепят паутинку к паутинке и говорят: дворец. Я скажу тебе только одно: сжалился Всевышний над тем цадиком и потому вселил нечистый дух в ту выкрестку, будь она проклята. Что ты на меня пялишь глаза? Не понимаешь идишь?

Я ответил, что идиш я понимаю, но не могу понять ее язык.

— Какой цадик, и кто это выкрестка, которую вы ругаете?

Раввинша сказала:

— А что, я должна ее хвалить и говорить: “Молодец, выкрестка, променяла золотой динар на стертый грош”? Снова уставился, будто я говорю турецки. Ты слышал, что мой муж, царство ему небесное, был раввин. Поэтому меня называют раввиншей. Но ты не слышал, что мой отец был тоже раввин, и такой раввин, что все раввины могли бы быть его учениками. Если я говорю раввин, я имею в виду настоящих раввинов, а не таких, что прикрываются тогой учености и только носят имя раввина. О, этот мир, эта ложь, все в нем суета и ложь! Но мой отец, царство ему небесное, был настоящий раввин, с самого детства. И потому все сваты, какие только были в стране, не могли подобрать ему невесту. Была одна богатая вдова. Если я говорю богатая, так она действительно была богатая. И у нее была единственная дочь, лучше бы ее не было. Взяла вдова бочку золота и сказала сватам: кто сосватает ему мою дочь, тот получит эту бочку, если мало, — еще прибавлю. А дочь эта не была достойна того праведника, потому что он был настоящий праведник, а она, душа из нее вон, была выкресткой, как это потом выяснилось, потому что она убежала и поступила в монастырь и перешла в их веру. И когда убежала! Когда вели ее к венцу, под свадебный балдахим. Мать ее потратила

половину состояния, чтобы вызволить ее оттуда. До самого царя дошла несчастная мать, но даже он не мог ничем помочь. Кто попадает в монастырь, больше оттуда не выходит. И ты знаешь, кто была эта выкрестка? Она дочь... Тсс, вот она идет.

Вошла Тили с кастрюлей в руках, увидела меня и сказала:

— Ты здесь? Сиди, друг мой, сиди. Посетить больную — это богоугодное дело. Раввинша уже поправляется. Божья помощь — раз мигнуть глазом. С каждым часом ей становится лучше. Я принесла немного супа, чтоб подкрепилась. Поднимите, дорогая, голову, я поправлю подушку. Вот так, дорогая. Жалко, сыночек, что не живешь в городе и не видишь, как раввинша поправляется, прямо с каждым часом.

Я сказал:

— Разве я не живу в Иерусалиме? Разве Нахалат Шивеа — это не Иерусалим?

Тили ответила:

— Боже упаси, кто так говорит? Наоборот, будет время, когда Иерусалим так расширится, что дойдет до Дамаска. Но мои глаза привыкли видеть Иерусалим, окруженный стенами, а то, что строится за их пределами, как-то непривычно считать Иерусалимом. Вся страна Израиля священна, а об окрестностях Иерусалима и говорить нечего, но в стенах — это как Святая Святых. Знаю, сыночек, ты все это понимаешь не хуже меня, так зачем же я это говорю? Просто хочется что-нибудь сказать в похвалу Иерусалима.

Я почувствовал по взгляду раввинши, что ей неприятно, что Тили говорит со мной, а не с ней, и я попрощался и вышел.

Меня одолели заботы, и я не ходил больше в Старый город. Потом заботы пришли вместе с туристами. Вы не знаете туристов. Они смеются над нами и над нашей страной, но когда, по воле Всевышнего, наше положение улучшается, у них появляется желание приехать и посмотреть. А уж если они приезжают, то смотрят на нас так, будто мы специально родились,

чтобы им служить. Вообще туристы — это неплохо, потому что, показывая им, мы тоже что-нибудь видим. Раз или два я ходил показывать им Стену Плача, и я встречал там Тили. Если я не ошибаюсь, в ней появилось что-то новое. Всегда она ходила без палки, а теперь она шла и опиралась на палку. Из-за туристов я не смог остановиться и заговорить с ней. Они ведь приехали для того, чтобы увидеть страну, а не говорить со старушкой, которая не предусмотрена программой.

Когда туристы покинули Иерусалим, я не знал, чем заняться. Хотел снова сесть за работу, но не получилось. Взял да пошел в город и обошел все места, где я был с туристами. Посмотрел то, что видел, и то, что не видел. Тот, кто по доброте своей возобновляет каждый день мироздание, каждый час обновляет Свой город. Не то, чтобы строили новые дома или сажали новые деревья, — сам Иерусалим каждый день обновляется. Каждый раз, когда я попадаю в город, я вижу его совершенно новым. Затрудняюсь сказать, что в нем нового. Пусть попробуют великие толкователи объяснить это.

Как-то встретил меня тот ученый муж, затащил к себе и начал рассказывать про свои новые открытия. Сидели мы, сидели, я спрашиваю, он отвечает, я возражаю, он возражает, я запутываю, он распутывает. Что может быть лучше и приятнее, чем сидеть в гостях у иерусалимского ученого мужа и углубляться в Тору! Дом у него простой, и все в нем простое, только мудрость в нем растет и растет, обретая новые краски вроде тех оттенков, которые можно видеть из окна, созерцая Иерусалимские горы. Пустынны горы в Иерусалиме. Нет ни дворцов, ни укрепленных замков. С тех пор как нас изгнали из нашей страны, один за другим приходили сюда народы и продолжали дело разрушения. Но горы стоят во всей своей красе, играют цветами радуги, а посередине — Масличная гора. Правда, лес на ней не зеленеет, но зато там могилы праведников, жизнь и смерть которых связана с этой страной.

Когда я собрался уходить, хозяйка подошла к хозяину дома и напомнила:

— Не забудь, что ты обещал Тхиле.

Он покачал головой и сказал:

— Чудеса, да и только. Сколько я знаю Тхилу, она никогда никого ни о чем не просила. А теперь она попросила меня передать, что хочет вас видеть.

Я спросил:

— Вы имеете в виду старушку, показавшую мне ваш дом? Мне кажется, что ее зовут как-то иначе.

Он ответил:

— Тхила* — это ее полное имя, а зовут ее Тили. На этом примере видно, что уже много поколений назад наши предки давали своим дочерям имена, которые, казалось бы, выдуманы сегодня. Мою жену, например, зовут Тхия.** Вы думаете, наверно, что это имя выдумано возродившимся поколением. На самом деле это имя придумал великий Арим. Он повелел отцу бабушки моей жены назвать дочь Тхисй, а по ее имени называли мою жену.

Я сказал:

— Вы говорите о том, что было четыре-пять поколений назад. Разве она так стара?

Он улыбнулся и сказал:

— На ее лице невозможно увидеть годы, а сама она о них не рассказывает, и если бы не случайное слово, мы бы совсем ничего не знали. Как-то Тхила пришла к нам поздравить со свадьбой сына и пожелала ему и его жене дожить до ее лет. Сын спросил: как понять такое пожелание? “Мне девяносто и одиннадцать лет“, — сказала Тхила. Это было три года назад. Значит, теперь ей сто четыре.

Я спросил:

— Раз вы уж вспомнили о ней, скажите, кто она?

Он ответил:

— Что я могу сказать? Праведница в полном смысле слова. И если у вас есть желание, — зайдите

* Имя смысловое, оно означает “слава“, “хвала“.

** Возрождение.

ся ли он для избранной ею миссии. В конце концов она заговорила. Она рассказала мне о смерти раввины, которая умерла этой ночью в то время, как печка ее горела и кошка грелась у печки. Потом ее унесли, и кто-то пришел и взял печку.

— Видишь, сыночек, — сказала Тхила, — человек делает доброе дело, оно влечет за собой другое доброе дело. Ты сделал добро той бедняжке, а твой богоугодный поступок, в свою очередь, оказал услугу другому человеку, которому тоже нужно было согреть свои кости зимой.

Она снова взглянула на меня и сказала:

— Ты, наверное, удивлен, что я просила тебя придти.

Я ответил:

— Напротив, я рад.

Она сказала:

— Если ты рад, то я тоже. Я рада, что нашла человека, готового оказать мне услугу. А ты чему рад?

Помолчав, она продолжала:

— Я слышала, что ты пишешь. Как теперь говорят — писатель. Надеюсь, что ты одолжишь мне свое перо для небольшого письма. Я уже много лет собираюсь его написать. Если только ты действительно согласен написать его для меня.

Я вынул вечное перо. Она посмотрела на него и сказала:

— Ты носишь с собой перо, как некоторые носят ложку: попадается еда на пути — есть у них ложка.

Я сказал ей:

— Здесь еда в самой ложке, — и объяснил ей, что это за перо.

Она взяла перо в руки и сказала:

— Ты говоришь, здесь есть чернила, но я не вижу ни капли чернил.

Я снова объяснил ей, где чернила.

Она сказала:

— В таком случае, напрасно обвиняют нынешнее поколение, что все его изобретения только во зло.

Оно изобрело переносную печку и это перо, вероятно, есть и другие полезные людям вещи. Чем больше живешь, тем больше видишь. Но ты все же возьми гусиное перо и обмакни в эти чернила. Я не сомневаюсь в твоём пере, но хочу, чтобы это письмо ты написал моим. Вот бумага. Это гербовая бумага, и ей много лет. Тогда еще делали хорошую бумагу. Более семидесяти лет она у меня и еще совсем как новая. Есть у меня к тебе еще одна просьба: пиши такими буквами, как в молитвеннике или как в Торе. Писатель, даже если ему не пришлось написать свиток Торы, одну мегилу,* наверно, когда-нибудь написал.

Я ответил:

— Когда я был еще мальчиком, я написал мегилу, по всем правилам. Не знаю, поверите ли вы мне или нет, но все, видевшие эту мегилу, хвалили ее.

Она сказала:

— Хотя я ее и не видела, я представляю себе, что ты хорошо умеешь писать. Пойду, сварю тебе стакан душицы, а ты пока пиши.

Я сказал:

— Не беспокойтесь, я только что пил.

Она сказала:

— Так чем же я тебя угощу? Я дам тебе кусок сахара, произнеси благословение, а я отвечу “аминь!”.

Она достала кусочек сахара и протянула мне. Спустя некоторое время она сказала:

— Возьми перо, обмакни, начнем писать. Я тебе буду говорить на идиш, а ты пиши на нашем святом языке. Я слышала, что теперь девочек тоже учат писать и говорить на нашем святом языке. Видишь, сыночек, Всевышний, благословен Он, милостиво ведет Свой мир от поколения к поколению — и все время к лучшему. Когда я росла, не было такого обычая. Но все же я понимаю молитвы. Пятикнижие, Псалмы, Поучения отцов. Ой, сыночек, я сегодня еще не кончила “день”.

* Мегила — свиток. Имеется в виду один из пяти свитков Священного Писания.

к ней. Но только я сомневаюсь, что вы застанете ее дома. Она или навещает больных, или ухаживает за хроническими больными, или пошла делать какое-нибудь богоугодное дело, о котором никто ее не просил. А может быть, вы все же застанете ее. Между мицвами она иногда бывает дома и тогда чинит одежду сирот и штопает им чулки. Раньше, когда Тхила была богата, она помогала деньгами, теперь, когда у нее лишь остатки бывшего богатства — самой едва хватает, — она делает добрые дела своими руками.

И сей ученый муж довел меня до самой двери Тхилы. По пути он поведал мне еще о нескольких своих открытиях. Но, увидев, что я не слушаю, он улыбнулся и сказал:

— С тех пор как я упомянул о Тхиле, вы совсем оторвались от мира сего.

Я сказал:

— Нет ли у вас желания рассказать еще что-нибудь о ней?

Он ответил:

— О том, какая она сейчас, я уже рассказал, а что было с ней за границей, я не знаю, кроме того, что знают все: что она была очень богата, что у нее было крупное дело. Потом у нее умер муж, умерли дети, она оставила все дела и поселилась в Иерусалиме. Когда моя покойная мать видела Тхилу, она всегда говорила: "Теперь я понимаю, что могут быть вещи хуже вдовства, хуже даже, чем смерть детей". Что это такое, — мать не говорила, так что я не знаю и никто не знает, потому что все, кто знал ее за границей, давно уже умерли, а Тхила не любит рассказывать о себе. Даже теперь, когда она изменилась и стала больше разговаривать, она никогда не говорит о себе. Вот мы и пришли. Сомневаюсь, застанете ли вы ее дома, потому что по вечерам она обычно ходит из хедера в хедер и раздает детям сладости.

Через несколько минут я стоял в комнате Тили. Она сидела у стола, будто поджидая меня. Комната была маленькая, с толстыми стенами и сводчатым

потолком, как строили в Иерусалиме в прошлом. И если бы не небольшая кровать в углу и глиняный кувшин на столе, я бы подумал, что комната предназначена для молитвы. И все же скудость предметов — медная лампа, медная кружка для омовения рук, медный светильник с несколькими плоскими, а также стол, на котором покоились молитвенник, Пятикнижие и еще какая-то книга, — придавали комнате вид молельни.

Я слегка поклонился и сказал:

— Всех благ хозяйке!

Она ответила:

— Добро пожаловать!

Я сказал:

— По-царски вы здесь живете.

Она ответила:

— Все дочери Израиля царского происхождения, и я, Тхила, хвала Всевышнему, тоже дочь Израиля. Хорошо, что ты пришел, я хотела тебя видеть. И не только видеть, но и поговорить. Мог бы ты оказать мне услугу?

Я ответил:

— До полцарства.

Она сказала:

— Ты прав, что упомянул о царстве. Все сыновья Израиля царского рода, и их дела — царские дела. И когда один сын Израиля делает другому услугу, он поступает по-царски. Сиди, сыночек, сиди. Сидя, удобнее говорить. Я отнимаю у тебя время. Ты, наверное, деловой человек, ты должен зарабатывать на жизнь. Прошла та пора, когда времени было вдоволь, и мы были рады посвящать его беседе. Теперь все бегут, все спешат. Все соревнуются в быстроте, чтобы бежать, если сподобятся, навстречу Мессии. Смотри, сыночек, как я стала болтлива. Забыла слова того старика, который меня предостерегал.

Я сел напротив и ждал, что она скажет, зачем звала меня. Но, видимо, вспомнив про старика, она молчала. Наконец, взглянув на меня, отвела глаза, и снова взглянула, словно проверяя посланца, годит-

Я знал, что она имеет в виду псалом сегодняшнего дня, и сказал:

— Почему вы сказали “ой”? Вы должны быть рады.

— Рада?

— Видно, свыше вам прибавили день жизни к вашим дням.

Она вздохнула и сказала:

— Если бы я знала, что завтра придет Мессия, я бы рада была прожить еще день на земле. Но жить день за днем, когда он все медлит и не приходит, — какой смысл и что за радость? Упаси Господи, я не ропщу на свои годы; если такова Его воля, чтобы я еще жила, — почему же, я согласна. Я только спрашиваю себя, до каких пор может ходить по земле этот мешок с костями. Более молодые уже покоятся на Масличной горе, а я все несу свои ноги, пока они совсем не сотрутся. Разве не лучше прийти туда с целыми руками и ногами и возвратить залог в личном состоянии? Я, конечно, не тучность имею в виду, это только лишняя тяжесть носильщикам, но все же усопшему подобает иметь целые члены... Снова я болтаю. Но теперь уже все равно. Словом больше, словом меньше. Я готова возвратить залог владельцу. Бери, сыночек, перо, пиши.

Я обмакнул перо в чернила и стал ждать ее слов, чтобы написать их. Она же погрузилась в мысли, словно забыв о моем присутствии. Я сидел, рассматривая каждую морщинку, каждую складочку на ее лице. Сколько превратностей судьбы пережила эта женщина! Она имеет обыкновение говорить, что видела в жизни добрые дела и более чем добрые. Насколько мне известно, она видела много очень недобрых дел. Не о ней ли сказал мудрец: “Скорбь в сердцах праведных и ликование на их лицах!”.

Вдруг она вспомнила обо мне, повернула ко мне лицо и спросила:

— Начал?

Я сказал:

— Вы еще не сказали мне, что писать.

Она сказала:

— Начало ты сам знаешь, как писать. Начинают хвалой Всевышнему и пишут “С Божьей помощью”.

Я разглядел бумагу, взял перо и написал: “С Божьей помощью”.

— Хорошо, красиво. Что теперь будешь писать? Пиши здесь: “В святом городе Иерусалиме, да будет он отстроен и воздвигнут вновь в наши дни, в ближайшее время. Аминь”. Когда я говорю, я называю просто Иерусалим, ничего не прибавляю, но в письме нужно упомянуть о святости города и еще просьбу о его воздвижении, чтобы сердце того, кто будет читать, обратилось к Иерусалиму и сжалилось над ним и вознесло за него молитву. А теперь, сыночек, напиши сегодняшней день, главу из Торы, которая приходится на эту неделю, и год.

После того, как я написал дату, она прибавила:

— А теперь, сыночек, постарайся и напиши букву “ламед” с высоко поднятой головой. Написал? Покажи, как вышло. Нельзя сказать, чтобы некрасиво, а все-таки надо чуть повыше. Теперь, сыночек, напиши рядом “каф”, а за ней “бет”, а после нее “вав”. “Вав” я сказала. А теперь “далет”. Вот и получилось слово “лихвод”.* Очень красиво. Тот, которому ты пишешь, достоин красивого письма. А теперь напиши: “Знаменитому раввину”. Уже? Ты пишешь быстрее, чем я говорю. Пока я собираю свои мысли, ты уже их и написал. Твой отец, да осветит Господь его рай, не зря платил деньги за твое учение. Извини, сыночек, я устала. Отложим письмо до другого дня. Когда ты сможешь прийти?

Я спросил:

— Может быть, завтра?

— Завтра? Ты хочешь прийти завтра? Какой завтра день? Канун нового месяца. Это очень подходит. Итак, завтра. Пусть будет завтра.

Я видел, что она погрустнела, и подумал про себя: канун нового месяца — это день молитвы, день,

* “В честь”.

когда все едут к гробнице Рахили, — у нее, наверно, нет времени писать письмо. И я сказал ей:

— Если вы завтра заняты, я могу прийти в другой день.

— А почему не завтра?

Я ответил:

— Ведь завтра канун нового месяца.

Она сказала:

— Сыночек, ты напомнил мне о моем огорчении — завтра канун нового месяца, а я не могу посѣтить гробницу праматери Рахили.

— Почему?

— Почему? Потому что ноги меня не несут.

Я сказал ей:

— Но ведь есть извозчики, есть автобусы.

Тхила стветила:

— Когда я приехала в Иерусалим, еще не было автобусов, и даже извозчиков не было, и мы ходили пешком. И так как я привыкла всю жизнь ходить пешком, мне уже ни к чему менять привычку. Как ты сказал? Придешь завтра? Если Всевышнему будет угодно дать мне завершить то, что я задумала, Он продлит мою жизнь еще на один день.

Я попрощался, ушел, а на следующее утро вернулся.

Не знаю, должен ли был я так торопиться прийти. Может быть, если бы я отложил свой приход, дни ее были бы продлены.

Войдя, я сразу заметил, что в ней что-то изменилось. Ее лицо всегда светилось, теперь этот свет был еще язственнее. И комната ее светилась так же, как и лицо. Каменный пол сверкал чистотой, как и все в доме. На маленькой кровати была разостлана свежая простыня, края стен были покрашены известкой. На столе стоял кувшин, прикрытый листом пергамента, рядом с ним — печать, свеча и бумага. Когда она успела побелить стены, когда вымыла пол, почистила все в доме? Если только ей не помогали ангелы, она должна была провести за этой работой всю ночь.

Она с трудом припонялась и сказала шепотом:

— Хорошо, что ты пришел. Я думала, что ты позабыл, и хотела уже пойти по своим делам.

Я ответил:

— Если вам нужно идти — идите. Я приду позже.

Она сказала:

— Мне нужно пойти заверить купчую, но раз ты пришел, садись — напишем, и я пойду заверить.

Она встала, разложила передо мной начатое письмо и принесла перо и чернила. Я взял перо, обмакнул и сидел, ожидая, когда она скажет мне, что писать. Она сказала:

— Ты уже готов? Я тоже. — При этом ее лицо просветлело и улыбка тронула губы.

Я снова обмакнул перо и посмотрел на нее. Она почувствовала мой взгляд и сказала:

— На чем мы остановились? — “Знаменитому раввину“... Теперь пиши имя.

Я снова погрузил перо в чернила и ждал, когда она назовет его. Она прошептала:

— Шрага зовут его. Написал?

Я написал. Она прикрыла глаза, будто задремала. Потом встала со стула, всмотрелась в написанное и тихо поеторила:

— Шрага зовут его, Шрага.

Снова села и умолкла. Потом наконец очнулась и сказала:

— Я вкратце расскажу тебе, что писать. — Подождав, она сказала, прищурившись. — Вижу, что придется начать рассказ сначала. Тогда ты будешь знать, о чем идет речь и что нужно писать. Это старая история, это было очень много лет назад. Девяносто и три года назад.

Она приблизила к себе свою палку и склонила голову. Потом подняла голову и некоторое время смотрела удивленно, как будто думала, что она одна, — и вот увидела перед собой постороннего. И вдруг исчезло все ее спокойствие, на лице проступили горе и гнев. Она поискала рукой палку, оставила ее, снова взяла и оперлась, потом провела по лицу рукой, так что разгладились все морщинки. И снова сказала:

— Если я все расскажу, тебе будет легче писать. Ты ведь имя уже написал. Шрага. Теперь я тебе все расскажу с самого начала.

Она подняла глаза и огляделась. Убедившись, что мы совершенно одни, она начала:

— Тогда мне было одиннадцать. Откуда я знаю, сколько мне тогда было лет? Мой отец, блаженной памяти, имел привычку записывать в Пятикнижие рождение каждого ребенка, девочек тоже. Возьми Пятикнижие и посмотри. Когда я уезжала в Иерусалим, братья, благословенной памяти, отказались от своего права на отцовские Пятикнижия и передали их мне... Все это было очень давно, девяносто и три года назад. Но я все хорошо помню. Я расскажу тебе, а ты поймаешь и все остальное. Если есть у тебя желание слушать, я начну.

Я кивнул головой и сказал:

— Рассказывайте.

Она продолжала:

— Так вот, мне тогда было одиннадцать. Однажды, после вечерней молитвы, приходит отец, блаженной памяти, и с ним несколько знакомых, и Петахья, отец Шраги. Когда они пришли, мама велела мне вымыть лицо и надеть субботнее платье. И она тоже надела субботнее платье, повязала голову шелковым платком, взяла меня за руку и вместе со мной вошла в большую комнату, где отец сидел с гостями. Посмотрел на меня отец Шраги и сказал:

— Девочка недурна.

Отец погладил меня по щеке и обратился ко мне:

— Тхила, ты знаешь, кто с тобой говорит? Отец твоего жениха говорит с тобой. Поздравляю, дочка, сегодня ты обручилась, и вот ты уже невеста.

Все принялись поздравлять меня, говорить “мазал тов”, и все называли меня невестой. Мама меня подхватила и увела в свою комнату, подальше от дурного глаза. Там она поцеловала меня и сказала: “Теперь ты наречена Шраге и, с Божьей помощью, через год, когда жених уже наденет тефилин, мы поведем вас к венцу”.

Я знала Шрагу, ведь мы играли в орехи и в прятки, пока он не вырос и не начал изучать Талмуд. С тех пор как нас обручили, я видела его каждую субботу. Он приходил к моему отцу и повторял в его присутствии все, что он учил за неделю. Мама давала мне в руки сладости, и я ставила их перед отцом, а он гладил меня по щеке и улыбался жениху.

Тем временем начались приготовления к свадьбе. Отец Шраги сам написал для него филактерии, мой отец купил ему молитвенную накидку — талит, а я сшила небольшой мешочек для филактерий и большой — для субботнего талита.

В одну из суббот, недели за четыре до того, как была назначена свадьба, Шрага не пришел к отцу. После полуденной молитвы отец спросил о нем в синагоге, и ему сказали, что он уехал. Куда уехал? Он уехал к хасидскому ребе. Отец Шраги взял сына с собой, чтобы он мог получить его благословение перед тем, как в первый раз наденет талит и филактерии.

От этого известия у отца потемнело в глазах. Он не знал, что отец Шраги принадлежит к "секте".* Он скрывал свою принадлежность к хасидам, ибо тогда они еще подвергались унижениям и преследованиям. А мой отец стоял во главе их гонителей, и хасиды для него были как бы не евреи. После гавдалы** отец разорвал брачный договор и обрывки послал в дом Шраги. Во вторник Шрага с отцом вернулись из поездки и пришли к моему отцу. Тот прогнал их с позором. И Шрага поклялся, что никогда не простит обиды, а отец даже не считал нужным просить у Шраги прощения, хотя и знал, что если возвращают брачный договор, следует просить прощения. И когда мама умоляла его помириться со Шрагой, отец только посмеялся над ней. Он говорил:

* Презрительное название, данное хасидам их противниками.

** Благословение, отделяющее субботу от обычных дней. Произносится над бокалом вина, ароматическими веществами и зажженной свечой.

“Ты этой секты не бойся“. Так ничтожны были в его глазах хасиды, что он пренебрег тем, что все строго соблюдают.

Все было готово к свадьбе. Дом был полон мешков с мукой и бочек меда, приглашены были женщины, чтобы печь халы и пироги. Словом, все было готово к венчанию. Не хватало только жениха. Отец позвал свата, и мне нашли другого жениха, и с ним я пошла под венец.

Не знаю, что дальше случилось со Шрагой, отец строго-настрого запретил всем в доме произносить его имя. Много времени спустя я узнала, что он и вся их семья переехали в другой город, потому что жить им стало невозможно. С того дня, как отец расстроил свадьбу, их уже не вызывали к чтению Торы, даже в праздник Симхат Тора, когда вызывают всех подряд. Дома у себя собирать миньян* они тоже не могли, ибо отец как глава общины запретил устраивать коллективные моления в частных квартирах. И если бы они не переехали в другой город, где их вызывали к чтению Торы, они бы не выдержали.

Через три года после свадьбы я родила мальчика. Еще через два года снова родился сын. И еще через два года — дочь.

Годы спокойно текли, мы жили в достатке. Дети росли хорошо, и мы с мужем, блаженной памяти, только радовались. Я забыла Шрагу, забыла, что не получила от него письма с прощением.

Отец и мать ушли в иной мир. Перед смертью отец, блаженной памяти, передал все дела сыновьям и мужьям дочерей и наказал жить дружно. Дела шли хорошо, нашу семью уважали. Для сыновей мы держали хороших меламедов, а для дочери я взяла учительницу — нееврейку. В те времена богобоязненные люди избегали брать еврейских светских учителей, всех их считали безбожниками.

Меламедов мой муж приглашал из других горо-

* Десять мужчин — минимальное число для общего моления.

дов, потому что местные мелаеды вынуждены брать любых учеников, независимо от их поведения. Если же мелаед приглашен из другого города, он должен считаться с хозяином и уже не берет учеников без разбора. Так как все они были холостыми, они сели в субботу за нашим столом. Мой муж, который, несмотря на свою занятость, никогда не переставал заниматься изучением Торы, был всегда рад такому гостю, потому что мог услышать и от него слова Учения. А я и дети были рады услышать пение гостя за столом. Мы не знали, что гость наш хасид, и что это хасидское пение. Во всем остальном он вел себя так, как и все наши знакомые евреи.

Однажды, в субботний вечер, закончив разъяснения слов Торы, наш мелаед начал петь, прикрыв глаза, удивительно красивую мелодию, от которой сладостно ныла душа. Мой муж спросил мелаеда: "Откуда берется такая подлинная богобоязнь?" Мелаед прошептал: "Поезжайте к нашему ребе, да продлятся его годы, и вы найдете в десять раз большую". Через несколько дней мой муж попал в город, где жил тот ребе. Он привез оттуда новые обычаи, каких я не видела в доме отца. Я знала, что это хасидские обычаи. И я думала про себя: "Кто снимет прах с твоих глаз, отец! Ты выгнал Шрагу за то, что тот был хасидом, а муж, которого ты дал мне вместо Шраги, пошел по тому же пути. Если все это не происходит во искупление греха, то я уже не знаю зачем".

Мой брат и муж сестры видели все это и ничего не говорили. Пришло новое поколение, и теперь человеку уже не приходилось стыдиться родственников-хасидов.

За это время в городе появилось много богатых женихов из других мест, и они следовали хасидским обычаям. Они основали хасидскую синагогу и открыто посещали своих ребе. Мой муж не стал молиться в хасидской синагоге, но вел он себя, как хасид, приучал к хасидизму детей и время от времени ездил к ребе.

За год до того как наш сын достиг возраста Бар-

Мицвы,* мир поразила чума, и многие заболели. Не было дома, где бы кто-нибудь не болел. Настигла беда и нас, и старший сын захворал. В конце концов сжалился над ним Всевышний, но ненадолго. Выздоровев, он начал учить по большому Шулхан Аруху,** как накладывать филактерии, а я радовалась, что хасидизм не отдалил его от учебы.

Однажды утром встал наш сын, пошел в синагогу и встретил там человека, облаченного, как покойник, в саван. Человек этот не был мертв, он был не в своем уме, сохрани нас Господь, и делал странные вещи. Испугался мальчик, и ушла из него душа. С трудом вернули его к жизни, да недолгой. С тех пор он начал угасать, как свечка на исходе Судного дня. Не успел он надеть филактерии, как изошла душа его, и он умер.

Я сидела семь траурных дней и думала. Мой сын умер на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней до бар-мицвы. И на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней до того, как мы со Шрагой должны были обвенчаться, отец разорвал брачный договор.

Я сопоставляла дни, и меня леденил ужас: два несчастья произошли в тот же день и час. Даже если это случайность, об этом следовало подумать.

Через два года вырос его брат и достиг возраста бар-мицвы. Вырос — и не вырос. Он пошел с товарищами в лес принести ветви на праздник Пятидесятницы. В лесу он отдалился от друзей и отправился к переписчику посмотреть свои филактерии. Ушел и не вернулся. Мы думали, что его увели цыгане. В эти дни видели табор цыган в городе. Через некоторое время нашли его тело в большом болоте возле леса. Так мы узнали, что мальчик заблудился и забрел в непроходимую трясину.

* Тринадцать лет. С этого возраста мальчик обязан исполнять все предписания Торы и накладывать филактерии.

** Свод религиозных законов.

Когда кончились семь траурных дней, я сказала мужу: “Что у нас теперь осталось? Осталась маленькая дочка. Если мы не попросим прощения у Шраги, ее постигнет участь братьев”.

Все эти годы мы ничего не слышали о Шраге. Так как он и его семья уехали из нашего города, мы забыли о них и не знали, где они. И сказал мой муж: “Шрага — хасид такого-то ребе, поеду я к нему и, может быть, услышу о Шраге”.

Мой муж не был приверженцем этого ребе, наоборот, он сторонился его из-за спора об одном резнике. Случилось, что один ребе назначил резника, а другой счел его неподходящим. Из-за этого спора один человек был убит, несколько семей покинули страну, несколько хозяев разорились, а некоторые закончили дни свои в тюрьме.

Поехал мой муж к этому ребе. Не успел он доехать до места, как ребе умер. Сыновья его стали наставниками хасидов и разъехались по разным городам. Ездил мой муж от одного ребе к другому и всюду спрашивал о Шраге, но никто о нем ничего не знал. Наконец ему сказали: “Ты спрашиваешь о Шраге? Шрага уже не хасид, он митнагед.* Где он, никто не знал.

Хасида ты еще можешь найти. Если он не хасид этого ребе, то он хасид другого ребе. Но просто еврея, если тебе не известно, где он, как ты можешь найти? Мой муж, мир его душе, часто разъезжал, и дела приводила его во многие места. Он ездил и спрашивал о Шраге. Из-за этих поездок его здоровье ослабело, он начал кашлять кровью. Однажды он куда-то поехал, заболел там и умер.

Я поставила памятник на его могиле, вернулась в город и начала смотреть за делами. Еще при жизни мужа я помогала ему вести дела. Когда же он умер, я занялась ими полностью. И Господь, благословенно имя Его, удвоил мои силы, так что подруги обо мне

* Противник хасидов, к числу которых принадлежал и отец Тхилы.

говорили, что у меня силы мужчины. Была бы лучше у меня мудрость, а не силы. Но Господь Бог исполнен мудрости и не хочет, чтобы сотворенные Им сами решали, что для них хорошо.

Я думала: все труды мои для доченьки. Чем богаче мы будем, тем ей лучше. И так как я была занята множеством разных дел, домом я могла заниматься только в субботу и в праздники. И даже тогда половина дня уходила на синагогу, другая половина — на гостей. Да дочь во мне и не нуждалась. Я наняла ей учительниц, и она прилежно училась, и я слышала из их уст много похвал о моей дочери. Даже неевреи, которые всегда смеются, когда мы, спотыкаясь, говорим на их языке, хвалили мою дочь, потому что она говорила так же, как самые благородные из них. Учительницы-нееврейки не могли ею нахвалиться и приглашали ее к себе домой. Я пригласила сватов, и они нашли ей жениха, большого знатока Торы, имевшего право занять пост раввина. Но не удостоилась я вести свою дочь под венец. Злой дух вселился в нее, и она лишилась рассудка. А теперь я попрошу тебя, сыночек, — напиши Шраге, что я простила ему все несчастья, которые из-за него постигли меня. И напиши, что и он должен простить меня, что я уже достаточно настрадалась.

Я сидел безмолвно и неподвижно. Потом я коснулся пальцем глаз и смахнул слезу. Потом я сказал Тхиле:

— Скажите мне, пожалуйста, с тех пор как ваш отец разорвал брачный контракт, прошло девяносто с лишним лет? Вы думаете, что Шрага еще жив? А если жив, то знаете ли вы, где он?

Тхила ответила:

— Шраги нет в живых, Шрага умер. Он умер тридцать лет тому назад. Откуда я знаю, когда он умер? В тот год седьмого числа месяца адара я пошла днем молиться, и после чтения гафттары,* во время помино-

* Отрывок из Библии, читаемый в дополнение к недельной главе из Пятикнижия.

веня усопших, я услышала, что произнесли имя Шраги. После молитвы я спросила синагогального служку: "Кто этот Шрага, которого сегодня поминали?" Он сказал мне: "Такой-то, сын такого-то, его родственник велел помянуть его". Я пошла к родственнику Шраги, и он мне все рассказал.

Я спросил:

— Если Шрага умер, то куда же вы хотите послать ему письмо?

Тхила ответила:

— Ты думаешь, что старуха помешалась от горя и надеется, что почта доставит письмо умершему?

Я сказал:

— Так что же вы собираетесь делать?

Она встала и, подняв кувшин со стола, сказала нараспев:

— Я возьму это письмо, положу в кувшин, возьму печать, запечатаю кувшин и возьму с собой этот кувшин вместе с письмом.

Я подумал: "Если она возьмет с собой кувшин с письмом, я все же не понимаю, как оно дойдет до Шраги?" И, посмотрев на нее, я спросил:

— Куда вы возьмете этот кувшин с письмом?

Тхила засмеялась добрым смехом и мягко переспросила:

— Куда я возьму кувшин? Я его возьму в могилу. В свою могилу я возьму кувшин и письмо. Там, в горнем мире, Шрагу знают и знают, где он. И верные посланцы Всевышнего передадут ему мое письмо.

И Тхила снова тихо засмеялась смехом, похожим на смех ребенка, перехитрившего взрослых. Потом она опустила голову и, взглянув на меня, сказала решительно:

— А теперь, когда тебе уже все известно, пиши сам.

Сказав это, она снова опустила голову на свою палку.

Я взял перо и начал писать. Когда я кончил, Тхила подняла голову и спросила:

— Ты уже кончил?

Я стал читать ей письмо. Она закрыла глаза, как будто все это ее уже не касалось и даже слушать не было желания. Когда я кончил читать, она открыла глаза и сказала:

— Хорошо, хорошо, сыночек, ты хорошо меня понял. Можно было иначе написать, но и так, как ты написал, все достаточно ясно. А теперь, сыночек, дай мне перо, я подпишу свое имя на письме и положу его в кувшин, и пойду заверить купчую.

Я обмакнул перо в чернила и протянул ей. Она взяла и подписалась. Потом еще раз провела пером по некоторым буквам, чтобы вышло яснее. Потом сложила письмо, положила его в кувшин и обернула горлышко куском пергамента. Потом зажгла свечу, взяла сургуч и поддержала его над свечой, пока он не стал мягким. Запечатала кувшин, встала и подошла к кровати. Подойдя, она приподняла одеяло и положила кувшин под подушку. Сделав это, она посмотрела на меня добрыми глазами и мягко сказала:

— Пойду теперь заверить купчую. Дай тебе Господь добра за то, что ты не пожалел для меня трудов. Больше я тебя не беспокою.

Сказав это, она поправила одеяло, взяла палку и направилась к двери, поцеловала мезузу и подождала, пока я вышел. Она тоже вышла, заперла дверь и быстро пошла. Я последовал за ней.

По дороге она добрым взглядом провожала все места и каждого встречного. Неожиданно она остановилась и спросила:

— Скажи мне, как оставить такие святые места и таких хороших евреев?

Я все еще не знал, о чем идет речь. Дойдя до перекрестка, она остановилась и попрощалась со мной.

— Я пойду с вами, — сказал я.

Мы прошли еще несколько шагов, она снова остановилась и сказала:

— Шалом, я уже пришла.

Но, увидев, что я хочу идти с ней, она больше ничего не прибавила и поднялась по ступенькам во двор погребального братства. Она вошла, и я тоже.

Мы вошли в помещение погребального братства — контору для живых и для мертвых. Там сидели два писаря. Перед ними были разложены книги, они сидели с перьями в руках, что-то писали и одновременно дули в стаканы с черным кофе. Увидев Тхилу, они почтительно приподнялись и, поздоровавшись, придвинули ей стул. Старший из них сказал, обращаясь к ней:

— Что вас сюда привело?

Она ответила:

— Я пришла, чтобы скрепить купчую подписью.

Он сказал:

— Скрепить купчую? А мы думали, что пара уже отменить ее.

Тхила испуганно сказала:

— Что вы говорите!?

Он ответил:

— Вы уже больше не числитесь в книге смертных.

Улыбнувшись собственной шутке, он, обратившись ко мне, пояснил:

— Тхила, дай ей. Всевышний долгие дни и годы, каждый год приходит к нам продлить купчую на ее место на Масличной горе. И в прошлом году, и два года назад, и три, и десять, и двадцать, и тридцать лет тому назад. Она будет приходить до пришествия Мессии.

Тхила ответила:

— Он придет, он придет, пусть уж приходит скорее! Но я вас больше не буду беспокоить.

Писарь удивленно спросил:

— Может быть, вы собрались в кибуц, как те девочки, которых зовут халуцианками?

Тхила ответила:

— Не в кибуц я иду, а к себе.

Писарь спросил:

— Едете обратно к себе за границу?

Тхила ответила:

— Не за границу. Я возвращаюсь, откуда пришла. Как написано: "И в прах обратишься".

Причмокнул писарь губами и сказал:

— Ну-ну, вы думаете, нашему обществу уже нечего делать? Послушайте меня, подождите еще лет двадцать-тридцать. Зачем спешить?

Она прошептала:

— Я уже пригласила женщин для совершения обряда омывания. Они хорошие женщины, и нельзя с ними поступать несерьезно.

Лицо писаря стало грустным, видно было, что ему не по себе. Затем он сказал:

— Мы очень рады, когда вы к нам приходите. Каждый раз мы в вас видим пример долголетия. А теперь, когда вы хотите оставить нас, упаси Боже, вы как-будто лишаете нас его.

Тхила сказала:

— Если мне остались еще годы жизни, я охотно отдаю их и вам, и всем, кому хочется жить. Вот купчая, подпишите.

После того, как писарь скрепил купчую своей подписью, Тхила взяла ее, опустила в карман и сказала:

— Больше я вас беспокоить не буду. Да будет с вами Всевышний, дорогие евреи, а я пойду к себе.

Она встала и направилась к двери, остановилась, подняла голову, поцеловала мезузу и вышла.

Заметив, что я следую за ней, она остановилась и сказала:

— Иди по своим делам, сыночек.

Я ответил ей:

— Когда вы сказали, что идете заверить купчую, я думал, что это касается дома, и вот...

Она перебила меня:

— И вот я пошла заверить купчую на мой вечный дом. Дай-то Господь, чтобы мне недолго пришлось в нем жить, чтобы встать мне из него вместе со всеми детьми Израиля. Прощай, сыночек. Я тороплюсь домой. Женщины там уже ждут, наверное.

Я молча продолжал стоять, а она пошла и исчезла в лабиринте домов и переулков.

Утром я пошел в город справиться о здоровье Тхилы. Я встретил ученого мужа, дом которого она

мне когда-то показала. Он стоял и задерживал меня своими рассказами. Когда я пошел, он вызвался проводить меня. Я сказал, что иду не домой, а к Тхиле.

Он ответил:

— Ты пойдешь к ней через сто двадцать лет.

Видя, что я удивлен, он добавил:

— Ты: будешь долго жить. Эта праведница оставила нас.

Я попрощался с ним и ушел. Я шел и думал: Тхила скончалась, ушла от нас... И оказался у ее дома. Я открыл дверь ее к мнаты и вошел в нее.

В комнате царил покой. Как в молитвенной комнате после молитвы. На полу были лужицы воды, которой омыли Тхилу.

ИЗ НЕДРУГА В ДРУГА

(Рассказ)

До того, как был основан Тальпийот,* царь ветров властвовал там повсюду, и его вельможи и рабы — сильные, грозные ветры — обосновались на горе и в долине, на холмах и в ущельях, и делали все, что им заблагорассудится, как будто лишь им одним принадлежит земля.

Однажды случилось мне попасть туда; я увидел, что место красиво, воздух чист, небо ясно-голубое и земля просторна. Я наслаждался прогулкой. Встретил меня ветер, он сказал мне:

— Что ты здесь делаешь?

Я ответил ему:

— Гуляю.

Сказал он:

— Ах, ты гуляешь?

Ударил он меня по голове и сбил шляпу. Я нагнулся, чтобы поднять ее, но он растрепал мою одежду, набросил ее мне на голову, превратил меня в пошмище. Скинул я одежду с головы. Тогда ветер свалил меня с ног и засмеялся с издевкой. Я с трудом встал. Ударил меня ветер и закричал:

— Уходи отсюда, убирайся!

Увидел я, что не могу тягаться с более сильным, и вернулся в город, к себе домой.

Стало невтерпеж сидеть дома, и я вышел на улицу. Сознательно или бессознательно привели меня ноги в Тальпийот. Я вспомнил, какую злую шутку сыграл со мною ветер. Взял с собой брезент и колья и соорудил палатку — убежище от дикого ветра и бури.

Ночь я провел в палатке. Вдруг потух свет. Я вышел взглянуть, кто его потушил. Снаружи стоял ветер.

Я спросил его:

* Квартал в Иерусалиме.

— Что тебе угодно?

Он своей сильной струей заткнул мне рот и уши. Я вернулся в палатку. Ветер вырвал колья, развязал веревки, опрокинул палатку и раскидал покрывала. И меня настигла его рука и чуть было не свалила на землю.

Я понял, что не одолеть мне его и вернулся в город.

В городе я жил среди стен. И затосковала моя душа, и захотелось побыть на свежем воздухе. И так как нет во всей стране места с таким чистым воздухом, как в Тальпийоте, я пошел туда. И чтобы ветры больше не издевались надо мной, взял с собой доски и смастерил себе хижину. Я был уверен, что обрел наконец покой, но ветер рассудил иначе. Еще до конца дня он застучал по крыше, растряс стены. В первую же ночь он снес всю хижину целиком. Ветер уничтожил мою хижину, оставил меня без крова. Я поспешил вернуться в город.

То, что случилось со мной в первый и во второй раз, повторилось и в третий. Я опять вернулся в город, но немоготу мне было там, и мое сердце — ох, мое сердце! — все тянуло меня туда, откуда меня изгоняли. И сказал я сердцу: “Разве ты не видишь, что нельзя идти туда, откуда меня изгнали? А чего нельзя — того нельзя”. Но сердце мое было другого мнения. И если я тысячу раз повторял ему, что это невозможно, мое сердце твердило мне тысячи и тысячи раз: “Возможно, возможно”.

Я принес камни и доски и построил дом.

Не стану его хвалить — он был невелик, но не стану его и порицать из-за того, что есть дома больше и лучше. Мой дом мал, но в нем достаточно места для человека, как я, который не ищет большего.

Увидел ветер, что я построил себе дом, явился и спросил меня:

— Что это?

Я сказал ему:

— Это дом.

Он усмехнулся и сказал:

— Клянусь, я еще не встречал ничего смехотворнее этого дома, как ты его называешь.

Я тоже засмеялся и сказал ему:

— Ты увидишь еще много такого, чего не видел раньше.

Он снова засмеялся и сказал:

— Что такое дом?

Я засмеялся и сказал:

— Дом — это дом.

Он снова засмеялся и сказал:

— Пойду-ка я проверю.

Протянул он руку и тронул дверь. Дверь подалась и рухнула. Протянул ладонь и тронул окна. Рассыпались стекла вдребезги. В конце концов он поднялся на крышу. Крыша не выдержала и провалилась.

Ветер спросил с издевкой:

— Дом, который ты построил, — где он?

Я тоже спросил себя, где мой дом, но мне было не до смеха.

Прежде, когда ветер изгонял меня, я возвращался в город, но сейчас дела мои сложились так, что я не мог туда вернуться. Я слонялся без пристанища и не знал, что делать. Вернуться в город нельзя по разным причинам, вернуться в Тальпийот — тоже нельзя из-за ветра, который прогоняет меня. Построить себе палатку или хижину? — Они не устоят. Построить себе маленький дом? — Однако и его поверг в прах натиск ветра. Но, может быть, он не устоял перед ветром потому, что был мал и слаб, а если бы был он большим и крепким, — он бы устоял?

Я достал крепкий строевой лес и бревна, большие камни, известь и цемент, нанял хороших мастеров и наблюдал за их работой денно и нощно. Меня надоумили углубить фундамент. Дом построили, и все было на своем месте.

Как только дом был закончен, пришел ветер и постучал в ставни.

Я спросил:

— Кто это стучит в мое окно?

Он засмеялся и ответил:

— Сосед.

Я спросил:

— Что ищет сосед у соседа в бурную, темную ночь?

Он засмеялся и сказал, что пришел поздравить соседа с новосельем.

Я сказал ему:

— Разве приличествует соседу лезть в окно, как вору?

Пошел ветер и постучал в дверь.

Я спросил:

— Кто это стучится в мою дверь?

Ответил ветер:

— Это я, твой сосед.

Я сказал:

— Если ты мой сосед, пожалуйста, войди.

Он сказал:

— Но ведь дверь заперта.

Я сказал:

— Если дверь заперта, видно, я ее запер.

Ветер опять:

— Отвори!

Я сказал:

— Боюсь холода. Жди, пока взойдет солнце, и я тебе отворю.

Когда солнце взошло, я вышел открыть ветру дверь, но его не было. Я стоял перед домом и видел, что кругом — пустынно: ни сада, ни деревца, одна земля да камни. И сказал я себе: "Посажу сад".

Я взял лопату, взрыхлил землю. Когда земля была вскопана, принес я саженцы. Приходили дожди и орошали ростки, приходила роса и поднялись ростки, пришло солнце, и они распустились. Спустя короткое время мои саженцы превратились в ветвистые деревья. Я соорудил себе скамью и сидел в их тени.

Однажды ночью вернулся ветер и налетел на деревья. Что сделали деревья? Они ударили по ветру. Вернулся ветер и снова налетел на деревья, и они вновь ответили ему ударами. Не устоял ветер. Повернулся и ушел.

С тех пор утомился ветер и стал вежливым. И так как он ведет себя со мной прилично, то и я с ним вежлив. Когда он приходит, я выхожу ему навстречу и прошу его посидеть со мной в саду на скамейке, среди деревьев. И он приходит и сидит. Он приносит с собой благоухание гор и долин и обвевает меня будто веером. И потому, что он раскаялся, я не напоминаю ему о его прежних грехах. И когда он расстается со мной и уходит, я прошу его приходить снова, как принято между хорошими соседями.

И действительно, мы теперь добрые соседи, и я его по-настоящему люблю и, возможно, что он любит меня.

ОТЦЫ И ДЕТИ

(Рассказ)

Пароход отправлялся в море. Все будущие пассажиры стояли наготове, полностью снаряженные в путь. Моряки метались, погружая последние ящики. Лязгали тяжелые цепи, и густой, черный дым клубился над пароходом. С трудом успел я втащить вещи и найти себе место.

Пока я искал жену и детей, я увидел доктора Рибайзена. Он стоял и поглаживал свою бороду, в которой все волосы были совершенно одинаковы, как отлитые по одной форме. Синие, мягкие, бессмысленные глазки его глядели весело. По тому, как он стоял, видно было, что пришел он сюда не для того, чтобы показать свою красивую бороду, а с намерением отправиться морем в то самое место, куда еду я.

Хоть я торопился отыскать жену и детей, при виде его я остолбенел, остановился, как вкопанный, и не мог двинуться с места. Ведь я так рад был этой поездке, думал, что буду сидеть с женой и детьми, и никакие дела и хлопоты не будут меня тревожить, — и вдруг оказывается, этот человек едет с нами. Нет никакого сомнения, что он будет приставать ко мне, сегодня же скажет со своей лакированной усмешкой: “А! И вы, дружище, здесь!” И снова начнет изливать на меня свои пустяшные рассказы, которые еще в детстве наводили на меня тоску.

Я сделал вид, будто не замечаю его — авось, таким образом, и он меня не заметит, — сразу же позабыл про жену и детей, не говоря уже о своих вещах, раскиданных по разным местам. Всякий, кто проходил, натыкался на них и еще пуще разбрасывал их.

Прошло некоторое время; и так как ничего неприятного не случилось, я слегка приподнял глаза — и вижу: стоит господин Эйбшиц, опершись на борт парохода, и глядит на море. “Ежели Эйбшиц здесь, —

подумал я, — то мне уже нечего бояться. Когда Рибайзен наскучит мне своими разговорами, я подойду к Эйбшицу. Такие гладенькие люди, как Рибайзен, боятся Эйбшица и никогда не подойдут к нему без надобности“. Однако я еще более съезжился и все думал, что бы мне еще предпринять, чтобы скрыться от Рибайзена.

Покуда я обдумывал стратегию своего поведения, подошла жена и спросила:

— Где дети?

Я вопрошающе посмотрел на нее и ждал пояснений.

А она продолжала:

— Я обошла весь пароход и не нашла их.

— Где же, — спрашиваю я, — няня?

— Послала ее сюда с детьми, — говорит жена, — а они не пришли.

Вперила она в меня свой взгляд и глядит испуганно.

Я сжал большой палец ладонью и говорю:

— Коли так, вернемся в город и поищем их.

Она взглянула на меня с упреком, удивляясь, видимо, что я так долго мешкал с ответом, и говорит:

— Вернемся в город.

Я спросил одного моряка, когда уходит пароход. Он мне ответил. Тогда я вынул из кармана часы и стал водить пальцем по циферблату, как слепой. Моряк мне кое на что намекнул, и я его понял. Дал ему щедро на чай и говорю:

— Вот когда вернемся, получишь еще больше.

Он помог нам сойти на берег, и мы поехали в гостиницу.

Жена отняла руль у шофера и стала сама править. Она ведет машину, а уста ее, не переставая, творят молитву, причем она напевает на тот мотив, как принято молиться в нашей стране, а ведь она приехала из другой страны.

Вскоре мы прибыли в гостиницу. Окна дома блестящие, а в самом здании не слышно было ни звука, как будто все жильцы его покинули. Гости, шу-

мевшие там последние дни, уже отбыли на пародох. Но если гости ушли, это не значит, что ушли и хозяйева. А может быть, они отдыхают после хлопот с гостями?

Жена моя нажала кнопку и послышался звонок. Вышла хозяйка гостиницы и изумленно посмотрела на нас. Жена спросила ее про детей.

— Уехали, — говорит ей хозяйка гостиницы. — С прислугой уехали отсюда в порт.

Вперила она свой взгляд в хозяйку гостиницы и испуганно глядит.

— Уехали отсюда? — переспросила жена.

А хозяйка ей в ответ:

— Да, моя милая, уехали отсюда в порт.

— Да ведь мы оттуда идем, — говорю я хозяйке.

— И вы не нашли их там? — спрашивает она.

— Не нашли.

— Стоим мы и думаем: где же они могут быть, разве что пошли в зверинец.

Не найдя другого объяснения, мы поехали в зверинец. У нас были кое-какие основания думать, что они пошли туда, чтобы проститься с мартышками. За завтраком они взяли целые горсти сахару и, без сомнения, намеревались принести его в подарок маленькой Мици, которая их забавляла, явно выказывая особое к ним расположение.

Зверинец был уже закрыт для посетителей, но около зверинца мы наткнулись на старичков, что собираются там каждый день после обеденного сна, чтобы убить время, и сокращают друг другу досуг бесцельных дней. Старички подвинулись, уступая место нашей машине. Они стояли и смотрели на красивую женщину за рулем.

Моя жена спросила старичков:

— Не видели ли вы тут двоих — мальчика и девочку?

Один из них отозвался и говорит:

— А где мы должны были их видеть?

— Разве вы не из зверинца идете? — спрашивает жена.

Отозвался другой и говорит:

— Вы сказали двоих? Конечно, я их видел. Этакие хорошенькие детишки, любо на них глядеть. Мальчик и девочка, не так ли, сударыня?

А еще один старик добавил:

— И молодая няня сопровождала их. А вы, моя милая, будете их матерью, не так ли? Где же я их видел? Вспомнил, у певчих птичек.

— А куда же они ушли оттуда? — спросила жена.

— Куда они ушли оттуда? Погодите, милая, погодите, я припомню... Нет, не припоминаю, сударыня, не помню.

Старик, что говорил прежде, вспомнил:

— Они сказали нам, что сегодня уезжают на пароходе.

А другой ему возразил:

— Я подумал, что они просто так говорят. Может быть, они в самом деле поднялись на пароход, и пароход уже отчалил. Если не ошибаюсь, я слышал прощальный гудок парохода.

— Ты слышал, или тебе показалось, что ты слышал?

— Я ведь ясно сказал: если не ошибаюсь... А если пароход еще не ушел, я за это не отвечаю.

Из зверинца слышались голоса животных, зверей и птиц. Чудны и страшны эти голоса. Когда люди уходят из зверинца и не остается в нем ни одной человеческой души, животные — все звери и птицы — проверяют голос: не загдох ли он от общения с людьми.

Я глядел жене в лицо, а жена смотрела на меня, и молча, без слов, мы спрашивали друг друга, куда же нам идти и где искать детей.

Не зная, куда деваться, мы вернулись к морю — авось за это время няня с детьми поднялись на пароход, и они сидят и ждут нас.

Вдруг раздался страшный гудок. То был гудок парохода, уходящего в море.

Запах пены и морских трав исходил от черных волн, лизавших пароход, клубы дыма и сажи поды-

мались с парохода и взвивались над ним, а на палубе металась, как ошалелые, моряки. Через некоторое время наш моряк заметил нас и спустил нам трап, чтобы мы перешли на пароход. Поднимаясь по трапу, я увидел бороду Рибайзена, которую он с удовольствием поглаживал. Ох, уж эта борода, которую Бог подвесил Рибайзену для того, чтобы тот, куда бы ни пришел, везде чувствовали себя как дома. И как хорошо, что в противовес ему Господь создал моего друга Эйбшица: стоит Эйбшицу произнести одно слово, как земля дрожит под ногами Рибайзена.

Но мне было не до него: исчезли мои дети! Я поддерживал жену, подымавшуюся на пароход.

Вдруг она побледнела, губы ее задрожали.

Я испуганно взглянул на жену, чтобы узнать, что случилось.

Она посмотрела на меня и ничего мне не сказала. Но сердце ее трепетало, глаза были полны тревоги. Ее руки дрожали. Заметно было, что она пытается их заламывать, но они ей не повинуются.

Плечи ее вздрагивали, ноги покачивались. Господи Боже, на пароходе нет детей!..

Сознавая, что мне нечего делать на пароходе, я все же поднялся на него, поддерживая жену за руку, чтобы и она поднялась.

А поднявшись, я увидел доктора Рибайзена, удобно рассевшегося в кресле, а рядом с ним — господина Эйбшица, и у каждого из них на коленях — по одному из наших детей. По лицам детишек видно было, что они довольны и веселы.

Поскольку можно думать разное, я предполагаю, что в тот момент Рибайзен рассказывал им те самые истории, которые в детстве наводили на меня зеленую тоску...

ОРКЕСТР

(Рассказ)

1

Весь год я был невероятно занят. Каждый день с утра до полуночи сидел я за столом и писал. Порой — по привычке, а порой — под диктовку самого пера, которую мы в дерзости своей называем вдохновением. Таким образом, я отвлекался от всех прочих дел и никогда о них не вспоминал, разве лишь для того, чтобы снова отложить их. Однако накануне Рош Гашана — еврейского Нового года я все же решил заняться некоторыми из них. “Вот наступает Новый год, — подумал я, — а у меня лежит столько писем, оставленных без ответа. Не лучше ли мне засесть за ответы и встретить Новый год свободным от тягостных обязанностей?”

В тот день я вел себя так же, как во все другие дни года, только поднялся с постели не с рассветом, как всегда, а в три часа ночи — ведь накануне Нового года принято отправляться в синагогу на особые предпраздничные молитвы, которые, правда, уже за несколько недель до этого читаются на заре, но в самый канун Рош Гашана — еще раньше.

До того как заняться письмами, я подумал, что следовало бы мне встретить праздник очищенным не только духовно, но и физически. И если из-за писем нет у меня времени искупаться в речке, то полагается хотя бы принять горячую ванну.

Пока я обдумывал этот вопрос, появилась Чарни. Та самая старушка Чарни, которая любила бахвалиться тем, что служила у деда еще до моего рождения.

— Твоя жена занята приготовлениями к празднику, а ты ей еще больше доставляешь хлопот, — сказала мне Чарни. — Приходи к нам, и я тебе приготовлю горячую ванну.

Ее совет мне понравился. Ведь к празднику я дол-

жен и постричься, так уж по дороге от парикмахера зайду к ним и искупаюсь.

Тем временем я просмотрел письма, чтобы решить, на какие необходимо ответить в первую очередь. Писем было много, а времени — мало. Нет никакой возможности в один день ответить на все, что люди писали целый год. Поэтому я решил выбрать сначала самые важные, потом заняться письмами средней важности, а уж напоследок — маловажными. Но, принявшись за разбор, я передумал и пришел к противоположному выводу: сперва надо избавиться от второстепенных писем, чтобы затем посвятить себя самым важным.

Второстепенные вещи засасывают человека. Нет в них “изюминки” и трудно понять их суть. А над теми письмами, в которых что-то есть, приходится ломать голову, чтоб разгадать, что хочет автор и какой ответ он ожидает. И чем больше я убеждался, что мне нечего ответить, тем сильнее испытывал желание составить ответ, так как в противном случае эти письма не дадут мне покоя. Ведь вся их сущность в вызываемом ими беспокойстве, в тех бессмысленных думах, которые они возбуждают.

Я взялся было за перо, но ничего у меня не получилось. Не странно ли? Весь год я писал легко, безо всякого труда, а вот теперь двух-трех незначительных строк, самую малость, не могу написать. Перо не слушается. Я отложил в сторону одно письмо и принялся за другое. В сущности, это было не письмо, а билет на концерт оркестра под управлением короля музыкантов. Молва гласит, что слушая его, человек как бы обновляется.

Люди рассказывают об одном яром завсегдае концертных залов, который не пропускал ни одного концерта, но никогда не испытывал удовольствия; вот он и пришел к выводу, что ему уж никогда не понять музыки. Как-то раз попал он на концерт этого дирижера, и, прослушав его, сам себе сказал: “Теперь мне все ясно. Не я не разбираюсь в музыке, а все музыканты, которых я слышал до сих пор, ничего в музыке не смыслят”.

Я взял билет на концерт и опустил его в карман.

2

Кануны праздников — самые короткие дни в году. Некоторые из них коротки сами по себе, другие же укорачиваются из-за приготовлений к праздникам. К кануну Нового года относится и то, и другое. Он и сам по себе короткий, да еще становится короче из-за приготовлений ко дню великого Суда. Я не успел ответить ни на одно письмо, а уже наступил полдень. Тогда я оставил письма, решив отложить выполнение своих намерений на время между Новым годом и Судным днем. В моем распоряжении будет целая неделя. Правда, хорошо было бы встретить Рош Гашана свободным от долгов, но что я мог поделать? Второстепенные письма не надоумили меня, как ответить на них.

Я поднялся со стула и отправился к деду — ведь там Чарни приготовила мне горячую ванну. Однако, дойдя до дома деда, увидел, что дверь заперта. Я несколько раз обошел дом со всех сторон и каждый раз, подходя к двери, стучался в нее. Из-за оконных решеток соседнего дома выглянула женщина.

— Вы ищете Чарни? — спросила она меня. — Чарни пошла на рынок за фруктами, над которыми произносят молитву “За то, что дожили...”

Я снова принялся ходить около дома, пока не пришла Чарни.

Полагалось бы этой старушке извиниться передо мной, что заставила меня ждать и терять попусту время. Но она не только не извинилась, а остановилась и стала нести всякий вздор. Если память мне не изменяет, она рассказывала о том, что нашла какой-то гранат, и хотя он частично сгнил, косточки его не распались.

Вдруг послышались три удара с городской башни. Я взглянул на свои часы и увидел, что уже три часа. Всегда часы мои расходятся с часами городской башни, но сегодня они были в ладах с ними. Пожалуй,

и на небесах можно было усмотреть согласие с этим. Неужели я до того замешкался в пути? Как бы то ни было, а вот уже идет четвертый час, и до наступления Нового года осталось с натяжкой два с половиной часа. А эта старушка стоит и болтает о гнилом гранате, косточки которого не распались.

Я прервал ее.

— А ванну вы мне приготовили? Воду нагрели? — спросил я.

Чарни выронила корзину из рук.

— Бог ты мой! — вскрикнула она. — Ведь я же хотела приготовить тебе ванну!

— И не приготовили?

— Не приготовила. Сейчас, сейчас.

— Поторопитесь, Чарни, время не ждет.

— Нечего тебе торопить меня, — сказала она, поковыряв в зубах, — сама знаю, что время не ждет, да и я ждать не собираюсь. Вот уже вхожу в дом и тут же разжигаю печь, нагреваю воду, — оглянуться не успеешь, как ванна готова.

Я снова стал бродить возле дома, ожидая, пока нагреется вода.

Мимо меня прошел старый судья. Я вспомнил, что у меня есть к нему вопрос. Однако, опасаясь, что мы заговоримся, и я не успею приготовиться к празднику, решил отложить свой вопрос. Я знал, что когда кто-либо обращается к этому судье, он очень уж долго от себя не отпускает. Чтобы как-нибудь скоротать время, я вытащил из кармана билет и, посмотрев на него, убедился, что концерт состоится в канун Нового года. Странно, я не из числа завсегдатаев концертных залов, и если уж меня в кои веки приглашают на концерт, так обязательно в канун Нового года. Сунув билет в карман, я продолжал прогуливаться вокруг дома.

Вдруг передо мной появилась моя юная родственница Ора. Голосок у нее нежный, как звуки скрипки, да и вся она словно скрипка, которую скрипач прислонил к шаткой стенке, готовой рухнуть. Взглянув на нее, я сразу же увидел, что на душе у нее грустно.

— Откуда и куда, Ора? — обратился я к ней. — Ты мне напоминаешь серну, которая подбежала к ключу напиться и не нашла в нем воды.

— Я уезжаю отсюда, — ответила Ора.

— Почему ты уезжаешь, зачем уезжаешь, Ора? Все время ты стремилась увидеть этого прославленного дирижера, и именно теперь, когда он сюда приехал управлять нашим оркестром, ты уезжаешь?

Ора расплакалась.

— У меня нет билета, — сказала она сквозь слезы. Я рассмеялся от всей души.

— Дай мне вытереть твои слезинки, — сказал я, окинув ее любящим взглядом.

“Хорошо, — подумал я, — что у меня есть возможность исполнить желание этой милой девушки, для которой музыка дороже всех благ, а больше всего на свете бредит она этим великим дирижером, который сегодня вечером управляет большим оркестром“. Сунув руку в карман, чтобы вынуть билет и отдать его Оре, я вновь рассмеялся добрым смехом человека, который в состоянии помочь другому в беде. Но Ора, не ведая о моих намерениях, обвила мою шею руками и одарила меня прощальным поцелуем. Это отвлекло мои мысли от билета, и на минуту забыв о нем, я так и не отдал его Оре. Пока я сам себе удивлялся, появилась Чарни и позвала меня.

Печь была раскалена, вычищенная ванна блестела, а вода бурно вздымалась навстречу. Но сил купаться у меня уже не было. Да и времени не было.

— Искупайся ты вместо меня, — обратился я к своему брату. — Я человек слабый, и после горячей ванны мне необходимо отдохнуть, а времени-то у меня нет.

Отказавшись от ванны, я пошел домой. Снял с головы шляпу и нес ее в руке. Так мне было легче идти. Порыв ветра растрепал волосы. Где была моя голова? Ведь за то время, что ждал ванну, я мог успеть сходить к парикмахеру. Подняв глаза, я взглянул на небо. Солнце близилось к закату. С тяжелой головой поплелся я домой. Навстречу мне вышла моя

дочь, одетая по-праздничному. Протянув в пространство палец, она промолвила:

— Свет.

“О чем она говорит? — подумал я про себя. — Ведь солнце закатилось и от его света и сияния не осталось и следа. Может быть, она подразумевает свечу, зажженную в честь праздника?”

Увидев свечи, я понял, что день прошел, и решил немедленно бежать в молельню. Дочка моя взглянула на мою старую одежду и, сложив руки на платье, как бы старалась стусеваться, чтобы не смущать одетого в потрепанный костюм отца. Глаза ее были полны слез: она носит новую одежду, а ее отец — старую; отец одет в старое, когда наступает Новый год.

3

После ужина я вышел на улицу. Небо было черное, но много звезд сверкало на нем и освещало тьму. Ни одного человека не было на улице, все дома были погружены в сон. Я тоже стал погружаться в сон, но в какой-то особый, как-бы ненастоящий. Я чувствовал, что ноги мои ступают по земле. Долго ли, коротко ли шел я, как вдруг дошел до какого-то места и услышал музыку. Поняв, что нахожусь у концертного зала, я вынул приглашение и зашел вовнутрь.

Зал был переполнен. Скрипачи и скрипачки, барабанщики и барабанщицы, трубачи и все прочие музыканты стояли, облаченные в черное, и безостановочно играли. Великого дирижера не было видно, но музыканты играли так, будто кто-то все же стоит перед ними и размахивает дирижерской палочкой. Все музыканты были моими друзьями и знакомыми, которых я знал по тем местам, где приходилось мне бывать на своем веку. Как же случилось, что все мои друзья и знакомые оказались в одном ансамбле?

Найдя себе место, я сел и стал их рассматривать. Каждый музыкант играет свое, но все мелодии вместе сливаются в единую песнь. Каждый привязан к сво-

ему инструменту, а инструмент закреплен в полу. Каждый думает, что только он привязан подобным образом и стесняется попросить своего коллегу, чтобы тот отвязал его. Возможно, музыканты знают, что все они привязаны к своим инструментам и что инструменты их закреплены в полу, но им кажется, что играют они по своей доброй воле. Но одно ясно: несмотря на то, что глаза их покоятся на инструментах, они не видят того, что делают их руки, благо все они до единого слепы. У меня возникло опасение, что они не только не видят, но и не слышат того, что играют, так как от усердной игры они оглохли.

Ставив себя со стула, я пополз к дверям. Двери были открыты, и стоял в них какой-то человек, которого при входе я не заметил. По виду он ничем не отличался от других привратников, но было в нем что-то напоминающее старого судью: он тоже не так легко отпускал от себя всякого, кто к нему обращался.

— Я хочу выйти, — сказал я.

Он вложил мои слова в свой рот и ответил мне моим же голосом:

— Выйти? Зачем?

— Я приготовил себе ванну. Тороплюсь. Хочу помыться, пока вода не остыла.

— Она кипит, кипит, — зарычал он голосом, который мог бы испугать человека и поздоровее меня. — Твой брат уже получил ожоги.

Я стал извиняться перед ним:

— Видите ли, я был занят письмами и не успел зайти в баню.

— Какими письмами?

Я вынул одно письмо и показал ему.

Он наклонился ко мне и сказал:

— А ведь это я его писал.

— А я собирался ответить.

— Ответить... что? — спросил он, посмотрев на меня.

Из-за его грозного голоса мои слова застряли в горле и глаза закрылись. Я начал шарить руками в пространстве и вдруг оказался около своего дома.

Ко мне вышла моя дочь и сказала:

— Я принесу тебе свечу.

— Ты думаешь, — спросил я, — свеча сможет рассеять мою тьму?

Пока она ходила за свечой, из печи вырвался огонь и охватил все вокруг. Около печи стояла женщина и подбрасывала в огонь дрова. Огонь слепил глаза, и я так и не разглядел, стоит ли у печи старушка Чарни или это молоденькая Ора разжигает огонь.

Страх обуял меня, и я стоял как вкопанный. Грустно стало мне от того, что все, кому положено спать, — спят, и лишь один я бодрствую. На самом же деле не только я, но и звезды небесные не спали. И при свете звезд я увидел все, что предстало моим глазам. Я почувствовал себя незначительным, почти ничтожным, и слова вновь застряли у меня в горле, да так и остались невысказанными.

ЛОВЧИЕ

(Рассказ)

Зал был битком набит. В городе не осталось ни одного человека, который не пришел бы сюда: на страну обрушилось много всяких бедствий, и люди не знали, что делать. Когда стало известно, что с речью выступит сам господин Шрайхольц,* собрался весь город. Уж так заведено в этой стране: здесь ничего не предпринимают, предварительно хорошенько не обдумав. Собственно говоря, здесь не так уж много думают, как обсуждают и произносят речи и проповеди. А когда ведется обсуждение и произносятся речи, гражданам кажется, будто дело уже сделано. И если беда проходит, — очень хорошо, а если не проходит, — произносят еще одну речь. Бывает, что после этого нагрянет еще более лихая беда. Тогда произносят другую речь. И если беда минует, — очень хорошо, а если нет... ну, и так далее.

Право, очень внушительны эти собрания, где все так единодушны, ораторы разлагольствуют, а людям кажется, что они заняты делом. Были такие, что заранее знали все, что скажет оратор. Были такие, что и после окончания речи не знали, о чем он говорил. И были такие, которым совершенно безразлично, о чем там говорят, лишь бы как-нибудь убить два-три часа данной им Богом жизни. Таких очень страшил момент, когда оратор кончал свою речь, и приходилось возвращаться домой, где их поджидали изможденные жены, тоже присутствовавшие на этом собрании. И хотя после каждой речи устраивались торжественные приемы и банкеты, на них приглашали далеко не всех, а только избранных.

Каждый, кто взглянул бы на такое собрание со стороны, вынес бы убеждение, что здесь очень спло-

* Фамилия смысловая, означает по-русски примерно "кричащий чурбан".

ченный народ — один за всех, все за одного. Но в действительности каждый жил сам по себе, отгородясь от остальных. И их жены тоже были сугубо разные, хотя прически, румяна на лицах, маникюр, платья и все прочее было делом рук одних и тех же мастеров.

Господину Шрайхольцу уже давно пора бы начать свою речь, но, как все блестящие ораторы, он привык опаздывать — иногда на полчаса, иногда на час. В отличие от него публика имела обыкновение приходить намного раньше назначенного времени, так как каждый хотел захватить место получше и успеть перебраться словечком с друзьями. Каждому ведь охота поговорить, и каждому есть что сказать своему ближнему. Тот, кто уже обо всем переговорил, повторяет то, что говорил вчера и позавчера. А если эти слова наводили на собеседника зевоту, тот, конечно, ничуть не обижался. Напротив, он был даже рад удостовериться, что тот отнюдь не умнее его. А вот руководители, общественные деятели и отцы города, которые тоже пришли воздать должное ораторскому искусству Шрайхольца, те сидели хмурые и надутые. Такова уж человеческая природа, заставляющая нас сердиться, когда мы видим, что наш ближний делает то, что подобало бы делать нам самим.

Томясь в ожидании оратора, эти деятели глядели на портреты, украшавшие стены зала, и мысленно видели, будто их собственные портреты висят на тех же местах. И мысленно ощущали при этом сладкий вкус вечной славы. Той вечной славы, коей сподобились их ранее усопшие коллеги.

Мало на свете таких людей, которые не мечтают увековечить себя, а тем паче среди тех, кто правит и стоит у власти, ибо их высокая идейность замешана на вполне земном материализме, но в то же время отнюдь им не исчерпывается. И когда эти деятели убеждаются, что более или менее похожи на тех, кто уже успел увековечить себя, они путем логических рассуждений приходят к выводу, что и сами достойны вечной славы. Но так как понятие “увековечение” не принадлежит к понятиям материальным, ни один человек

не знает, до каких пределов оно простирается и когда прекращается вовсе — то ли после того, как перестал биться пульс, то ли после того, как закончились похороны.

А тем временем публика стала выражать нетерпение, и в зале явно ощущалась нехватка свежего воздуха. Никто уже не соображал, зачем он здесь сидит и что он хочет услышать. Ведь уже выработалась привычка собираться и выслушивать речи и проповеди, а то, к чему публика привыкает, считается естественным, и об этом не особенно задумываются. И люди, не утруждая себя размышлениями, лениво переговаривались о том и о сем.

— Надо бы открыть окно, — сказала одна дама своей соседке.

— Я очень сожалею, мадам, что не могу выполнить вашу просьбу, — ответила та.

— Почему?

— Потому что все окна уже открыты.

Первая дама, сердито на нее взглянув, спросила:

— А почему же здесь такая жара?

— А потому, что ветерок, который входит в одно окно, уходит в противоположное.

— Шрайхольц задержался и не придет, — заметил какой-то мужчина.

— А может быть, он готовит свою речь, — откликнулся другой.

— Хорошо, если бы он готовился и знал, о чем говорит, — ответил первый.

Собеседник взглянул на него так, будто тот высказал, что он сам думает. Но негоже человеку говорить о том, что он думает, и потому тот счел нужным возразить:

— Таким ораторам, как Шрайхольц, не надо готовиться.

— Ему, может быть, и не надо, зато нам надо, чтобы он готовился, — заметил первый.

В разговор вступил еще один:

— Вы наивны, друг мой, если думаете, что делают то, что надо...

Кто-то взглянул на свои часы и спросил:

— Когда же он, наконец, начнет?

Кто-то шепнул ему на ухо:

— А в конце концов, не все ли равно, начнет он или не начнет?

— Пожалуй, вы правы, — ответил тот.

Но собеседник не остался в долгу:

— Вы говорите, что, пожалуй, я прав. А я говорю, что никогда я, пожалуй, не был так прав, как сейчас. Во всяком случае, не мешало бы поторопить Шрайхольца, чтобы он скорее приехал.

Как раз в это время к господину Шрайхольцу явились три парня. Взглянув на их одежду, он очень удивился. Чего, собственно говоря, нужно этим троиим в старых и помятых костюмах? Но у господина Шрайхольца была хорошая привычка усматривать во всем, что его касается, только приятное и полезное для себя. И он подумал: “Это, вероятно, посланцы народных масс”. Сделав приятное выражение лица, он спросил:

— Вы, друзья, пришли, вероятно, за мною?

— Да, господин Шрайхольц, — ответили парни. — Мы пришли за вами. На улице вас поджидает машина.

Сунув в рот толстую сигару, он пошел за парнями. По пути взглянул в настенное зеркало и пригладил усы. Снова приятно улыбнувшись, он спросил:

— Зал, вероятно, уже полон?

— Яблоку негде упасть, — ответили парни.

— А как в фойе и в коридорах?

— Всюду полно. Все стоят, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке, и ждут вас.

Господин Шрайхольц уселся поудобнее, закинул ногу на ногу и окружил себя плотной дымовой завесой. Настроение у него было отменное, и он был доволен сам собой, как все блестящие ораторы, когда их ждет публика. И если полагать, что господин Шрайхольц был способен думать, то нетрудно представить себе, о чем он думал. “Вот я вхожу в зал, и в честь меня все встают. А я, легко подпрыгнув, поднимаюсь на трибуну... Нет, прыгать не подобает. Я иду медленно, степенно, кладу перед собой часы и гляжу на пу-

блику. Ко мне обращены все взоры, все напряженно слушают. Можно подумать, что здесь лес ушей... Но что такое? Мы едем, едем и все еще не приехали“.

Он взглянул в окно машины и спросил парней:

— Куда вы меня везете?

— Туда, господин Шрайхольц, куда вы должны прибыть, — ответили парни.

Тогда он снова окутал себя облаком дыма и мысленно погрузился в созерцание того леса ушей, что собрался в большом конференц-зале. И постепенно эти уши стали хлопать друг друга, уподобляясь ладоням, когда аплодисменты переходят в овацию.

Машина остановилась, и парни помогли Шрайхольцу выйти.

— Где я? — воскликнул он гневно, оглянувшись вокруг.

— Не беспокойтесь, господин Шрайхольц, — ответили парни. — Это населенное место, и живут здесь вполне достойные люди. Но наши руководители и отцы горда, в чьих руках власть, довели это место до такого запустения. И не удивительно, ибо большую часть времени они проводят за границей, заботясь об улучшении своего здоровья, и у них не остается времени позаботиться об улучшении и благоустройстве города.

— Кто вы? — спросил Шрайхольц, покрываясь холодным потом.

— Успокойтесь, господин Шрайхольц, — ответили парни. — Мы простые люди.

— Если вы простые люди, почему вы задумали погубить меня? — спросил он.

— Боже упаси, чтобы мы задумали кого-либо погубить, — ответили парни. — Но очень уж много бедствий обрушилось на нашу страну, и нет сомнения, что большинство их происходит от того, что у нас сплошная говорильня, и совершенно не остается времени для дела. И если не в наших силах отвлечь публику от ораторов, мы хотим хотя бы отучить ораторов от публики. Тогда у людей будет время хорошенько подумать о том, на что они тратят свои дни и ночи. И если бы мы окончательно не разуверились в наших

ораторах и проповедниках, то сказали бы, что и они от этого только выиграют. Ибо если они привыкнут молчать и думать, то не будут ощущать в себе той пустоты, что гложет их сердца между речами и проповедями.

Тут господин Шрайхольц понял, что эти парни — твердые орешки и очень легкомысленно относятся к ораторам. Но, сдержав себя, он спросил:

— А сколько времени вы намерены меня здесь продержать?

— Пока публике не надоест ждать, и она разойдется по домам, — ответили парни.

— А если вместо меня выступит другой оратор? — спросил Шрайхольц.

Парни вздохнули и сказали:

— Вот об этом-то мы и не подумали. Самое ужасное, что нет такого оратора, за спиной которого не стояла бы добрая сотня других ораторов.

Господин Шрайхольц прикусил губу, а парни сказали:

— Будьте любезны и войдите, пожалуйста.

— Куда?

— Можно сюда. А можно в соседний дом, куда вам угодно.

— Куда мне угодно? — закричал изо всех сил Шрайхольц. — Куда мне угодно? Мне угодно, чтобы упала молния и сожгла вас на месте!

Один из парней вздохнул и сказал:

— Видимо, мы действительно это заслужили, так как прибегли к насилию. Но мы уповаем на Божью милость. Может быть, небеса будут к нам снисходительны. Ведь у нас не было другого выхода.

Господин Шрайхольц с издевкой взглянул на парня и спросил:

-- Вы верите, что там, на небе, что-то есть?

— Во всяком случае, — ответил парень, — здесь, у нас на земле, наверняка ничего нет, кроме проповедей и речей, речей и проповедей. А это, господин Шрайхольц, очень нехорошо. Нехорошо, господин Шрайхольц, очень нехорошо.

Тогда господин Шрайхольц спросил парней:

— А что, к примеру, по-вашему, было бы хорошо для страны?

Парни вздохнули и сказали:

— А мы разве знаем? Должно пройти, по крайней мере, семь лет, пока наши мозги очистятся от тех глупостей, которыми засорили их бесчисленные речи и проповеди, и к ним вернется способность думать.

Тогда господин Шрайхольц сказал:

— Я вижу, вы сильнее меня. Делайте со мной, что хотите. Но знайте, что я вам отомщу!

Парни вздохнули и сказали:

— Да нет, мы вовсе не такие уж сильные. А если говорить о мести, то разве есть еще какие-либо виды мести, которые бы на нас не испытали? Поймите, господин Шрайхольц, до чего нас довели. Мы вынуждены вести себя, как ловчие.* Но мы хуже ловчих, потому что те шли на преступление ради куска хлеба, а мы отрываем от себя кусок хлеба, чтобы нанять автомобиль... Итак, господин Шрайхольц, куда бы вы хотели пойти?

— А нет ли у вас здесь кафе? — спросил господин Шрайхольц.

— Нет у нас кафе, — ответили парни.

— А если человек хочет культурно провести свободное время, куда он идет? — спросил господин Шрайхольц.

— Тут все так тяжело работают ради хлеба насущного, что ни у кого нет свободного времени, — ответили парни.

— А по субботам и по праздникам что они делают?

— Тот, кто занимается изучением Талмуда, сидит и учит его. А тот, кто этим никогда не занимался, учится у тех, кто учился раньше.

* В России при Николае I каждая еврейская община должна была поставить определенное число новобранцев для прохождения военной службы. Богачи, чтобы не посылать своих сынков, нанимали "ловчих", те хватили детей бедняков и отдавали в солдаты.

Господин Шрайхольц усмехнулся и сказал:

— Каждый развлекается по-своему.

— Да, каждый развлекается по-своему, — согласились парни. Но они при этом не усмехнулись, а лишь позавидовали тем, кто еще в состоянии развлекаться.

Господин Шрайхольц зашагал за этими парнями, и они вошли в небольшую комнату, которую освещала крохотная лампа. Комната была очень скромно меблирована. Такая примерно комната с подобной мебелью была и у Шрайхольца в годы детства. И одежда, которую он тогда носил, была похожа на одежду этих парней, ибо господин Шрайхольц, как и большинство его соратников, не родился в замке вельможи и не носил в детстве роскошных одеяний. Лишь с той поры, как он возвысился и занял видный пост, Шрайхольц счел своим долгом облекаться в хорошую одежду и жить в хорошей квартире.

Но, отвлекшись от этой комнаты и от воспоминаний, ею навеянных, господин Шрайхольц с раздражением спросил:

— Есть здесь газета?

Ему ответил хозяин комнаты:

— Нет газеты. Но если захотите почитать книгу — пожалуйста.

— А что это? — спросил Шрайхольц.

— Это газета, в которую продавец завернул мне буханку хлеба, — ответил хозяин.

Господин Шрайхольц расправил помятую газету. Начав ее читать, он просиял, а затем вздохнул. Просиял, когда увидел свою фамилию, набранную жирным шрифтом в сообщении о предстоящей речи. А вздохнул, так как, увы, был лишен возможности эту речь произнести.

Так как эта газета была прочитана еще утром, он приказал включить радио. Ему ответили:

— И нас нет радио.

— Ни кафе, ни радио... Как же вы живете? — удивился господин Шрайхольц.

Ему объяснили:

— В то время, как другие люди проводят свои

дни и годы в кафе и за слушанием радио, мы живем не так, как хочется, а так, как можется.

Господин Шрайхольц вынул часы и спросил:

— Итак, господа, доколе мы будем здесь сидеть?

Ему ответили:

— Еще совсем немного, господин Шрайхольц.

Тогда он стал снова смотреть по сторонам. Эта небольшая комната действовала на него благотворно, возвращая его к тем далеким временам, когда он еще не пользовался такой широкой известностью. И он вспомнил вечера, что просиживал у такой же небольшой лампы, читая и занимаясь. О, сколько воды утекло с тех пор! Потом наступили дни шумные и суматошные. Как же так случилось, что, начитавшись разных книг, он начал читать проповеди? Помнится, первая его речь не была особенно удачной, ибо тогда еще сердце его было полно. Но по мере того, как сердце опустошалось, его речи все больше и больше хвалили.

Так сидя и размышляя, он внимательно взглянул на парней. Их скромность и бедность напоминали ему собственную молодость. Он вынул вторую сигару и, откусив кончик, сунул ее в рот. Закурив, пустил густую струю дыма. И в это время его рот искривила усмешка, а живот начал трепаться, будто его распирал смех.

Он положил сигару, взглянул на парней и сказал:

— Хочу сварганить с вами одно дельце.

— Сварганить дельце? — удивились парни. — Но мы ведь не дельцы, и в коммерции ничего не смыслим.

— Вы сначала меня выслушайте, а потом будете говорить, — сказал господин Шрайхольц. — На будущей неделе здесь должен выступить мой друг Вальцер. Вы, несомненно, знаете этого болтуна. И если вы сделаете с ним так, как поступили с мной, я вам все прощу и не буду никуда жаловаться.

Парни засмеялись и сказали:

— Это дело хорошее. Но...

— Но вы люди бедные, — подхватил господин Шрайхольц, — и нет у вас лишних денег, чтобы каждую неделю нанимать такси... А если бы у вас были

деньги, вы бы согласились? Что ж, давайте обо всем договоримся. Ведь через две недели придет еще один оратор, тоже мой друг.

Парни вздохнули и из их уст вырвалось одно лишь слово:

— Ой!

Господин Шрайхольц рассмеялся, вынул кошелек и сказал:

— Тут хватит денег, чтобы нанять две-три машины. А теперь дайте мне ваши руки!

Каждый из парней протянул ему руку и сказал:

— Не сомневайтесь. Будет сделано.

Господин Шрайхольц настолько развеселился, что начал забывать, где он находится. И если бы этим парням не надо было завтра вставать рано утром, чтобы идти на работу, он бы мог проговорить с ними до утра, а может быть, даже до второго или третьего утра. Ибо господин Шрайхольц обладал способностью в те дни, когда он не выступал с публичной речью, без умолку говорить с любым собеседником, только бы заглушить свой настоящий внутренний голос.

Но не все уста одинаковы. В то время как господин Липман Шрайхольц, этот высокочтимый деятель и руководитель, любил говорить, наши парни предпочитали молчать. И один из них вышел, чтобы нанять машину, которая отвезла бы господина Шрайхольца домой. Почувствовав это, он сказал:

— Уж лучше потратить деньги на машину для одного из моих друзей ораторов, а я вернусь домой пешком.

Эта мысль пришла парням по душе, и они проводили его до полпути, где и попрощались с ним, воздавая ему всяческие почести. И он с ними попрощался очень сердечно и по-дружески.

А теперь давайте дадим волю фантазии и представим себе как разворачивались дальше события: как господин Шрайхольц поступил со своими друзьями ораторами, так и те поступили со своими друзьями ораторами, ибо большинство людей ничего не изобретает, а действует так, как действовали другие. След-

ствии этого публика стала реже посещать конференц-зал, ибо часто народ собирался, а ораторы не являлись. А так как граждане не шли слушать речей, то больше времени проводили дома. Больше времени находясь дома, они читали книги и занимались своими детьми. И хотя мир в целом еще не изменился в лучшую сторону, некоторые легкие перемены к лучшему все же заметны. Поскольку граждане уже не теряют все дни и годы на выслушивание разных речей, у каждого остается время, чтобы подумать о себе и хоть немного исправить свои дела. А там, где каждый хоть немного исправляет свои дела, немного лучше идут дела и всей страны.

О НАЛОГАХ

(Рассказ)

...И снова государству понадобились деньги, а денег не было. Не было даже, чтобы расплатиться с чиновниками, которые привыкли получать жалованье авансом. Положение дел настолько ухудшилось, что государство не смогло рассчитаться с ними даже за прошедшее время. И нависла угроза всеобщей забастовки государственных служащих по примеру бастовавших учителей. И тогда в один прекрасный день государство оказалось бы без чиновников...

Интриганы рады поводу позлословить и позлорадствовать. Они говорят:

— С чего это вдруг чиновники будут бастовать? Или им надоело бездельничать и сидеть сложа руки? Жаль продавцов кофе и бубликов, которые обслуживают государственные учреждения. Ведь их заработок целиком зависит от чиновников, поглощающих эти продукты в огромных количествах.

Но люди уравновешенные, которые раньше думают, а уж потом ропщут и возмущаются, были весьма озабочены. Ведь если забастуют чиновники, в стране может воцариться хаос!

И собрались государственные мужи вместе с народными избранниками на внеочередном заседании в Доме речесловия. Они долго сидели и обсуждали вопрос о том, как спасти государство, и пришли к выводу, что надо что-то предпринять. Это "что-то" должно быть не абстрактным, а вполне конкретным. И Высокое Собрание не покинуло конференц-зала до тех пор, пока подавляющим большинством голосов не решило назначить Комиссию специалистов, коей вменило в обязанность глубоко изучить положение дел. В Комиссию вошли лучшие экономисты страны, те же ввели в нее лучших статистиков. Для Комиссии был конфискован дом.

Комиссия заседала и детально изучала проблему. Спустя некоторое время были обнародованы результаты

этого изучения. Из отчета Комиссии явствовало, что государство задолжало чиновникам жалование за целый месяц. К отчету была приложена расходная ведомость Комиссии, включая оплату труда ее членов.

Выводы Комиссии имели широкий общественный резонанс. Благодаря усилиям ораторов и журналистов, вся страна кипела и бурлила. Одни требовали, чтобы правительство обстоятельно разъяснило народу причины, вызывавшие задержку выплаты чиновникам жалования. Другие настаивали на том, чтобы правительство передало отчет Комиссии специалистов в Юридическую комиссию и в Комиссию по координации объединений торговцев и промышленников. Дабы угодить своим избирателям, народные избранники единодушно поддержали это предложение.

Были образованы Комиссия юристов и Комиссия торговцев и промышленников. Каждая из них многократно заседала, всесторонне изучая проблему. Юристы, основываясь на кодексе законов, установили, что чиновники вправе требовать выплаты жалования, так как согласно закону нет принципиальной разницы в правовом положении служащего, если нанимателем является не частное лицо, а лицо юридическое. Было также установлено, что чиновник, не получивший жалования, вправе привлечь к ответственности работодателя. И если судья решит, что закон на стороне того, кто нанялся на работу, суд может обязать нанимателя уплатить жалование полностью и потребовать возмещения судебных издержек, включая гонорар адвокату.

К таким же выводам пришла и Комиссия по координации, но так как ее члены имели солидный опыт, связанный с забастовками, они настоятельно рекомендовали правительству уплатить чиновникам жалование. В противном случае те могут объявить забастовку, и тогда государству придется платить и за дни забастовки. И так будет продолжаться до тех пор, пока наконец не будет издан закон, запрещающий бастовать.

Познакомившись с выводами этих двух Комиссий, государственные мужи страшно перепугались. Ведь для того, чтобы уплатить чиновникам жалование, нужны

деньги, а государственная касса была пуста. Снова этот вопрос подвергся всестороннему изучению, и конечные выводы, увы, не отличались от первоначальных. Но если раньше можно было возлагать надежду на Комиссию специалистов, сейчас такая возможность отпала.

И сказали государственные мужи членам Комиссии:

— По вашему мнению, чиновникам нужно выплатить жалованье. Но для того, чтобы выплатить жалованье, нужны деньги, а денег нет. Установить же новые налоги мы не можем, поскольку уже сейчас решительно все — от шнурков для ботинок до головных уборов — облагается налогами. Нет такого предмета, с которого не взыскивались бы деньги в пользу государства.

На это члены Комиссии ответили государственным мужам:

— Мы с вами вполне согласны, но ведь нас назначили только для изучения положения дел, и мы его всесторонне изучили и ничего из того, что выяснили, не утаили от вас. К сему нам нечего добавить, кроме расходов на секретарей, делопроизводителей, технический персонал и шоферов, которые вам предъявлены. Сблаговолите передать этот счет в Казначейскую комиссию на предмет оплаты.

Граждане, снедаемые любопытством и жаждущие вкусить плоды древа до того, как оно посажено, спрашивали:

— Что будет со страной, когда чиновники забастуют?

Интриганы, которых хлебом не корми, только дай возможность побрюзжать, говорили по своему обыкновению:

— Не расточительствуйте! Поменьше бы казенных автомобилей, секретарей и секретарш, делопроизводителей и технического персонала! Поменьше бы департаментов и учреждений!

Были такие, что с ними соглашались, и были такие, что возражали. Соглашались, что нужно ввести режим экономии, но возражали против уменьшения числа казенных автомобилей. В том ведь величие государства, что его представители разъезжают в индивидуальных

машинах, а не толкаются в автобусах и не топчут уличную грязь, как все прочие смертные.

Что же касается уличной грязи, которую все топчут, то это уже другой вопрос, связанный с ремонтом шоссежных дорог. Но и этот вопрос требует детального рассмотрения, ибо, если отремонтировать дороги, это сразу же отразится на заработках чистильщиков обуви.

Что же касается секретарей и секретарш, делопроизводителей и технического персонала, то лучше уж не вводить никаких новшеств. Ибо, если их всех уволить, сразу увеличится число бездельников, кои, несомненно, пополнят ряды интриганов... Во всяком случае, следует потребовать от служащих, чтобы они экономили на телефонных разговорах. И если им угодно приглашать своих друзей на прогулку, в кафе, на танцевальный вечер или куда-либо еще, пусть воспользуются услугами курьеров и не занимают телефонов. Ибо, хотя каждый телефонный разговор обходится государству в какие-то ничтожные доли медной монетки, в совокупности эти доли могут образовать солидную сумму.

...Все кругом шумят, волнуются, а чиновники уже послали ультиматум, в котором говорится, что если до такого-то числа им не выплатят жалованья, они прекратят работу, и пусть тогда государство обходится без чиновников, если только сможет... И не только чиновники предъявили ультиматум, к ним присоединились и секретари, делопроизводители, технический персонал, одним словом, все до единого служащие казенных учреждений.

Когда государственные мужи убедились, что дело не терпит отлагательства, они снова начали его обсуждать. И, конечно, выводы не отличались от начальных: необходимо детально изучить положение дел. Была образована Новая комиссия. Но так как ход рассуждения всех людей примерно одинаков, эта Комиссия приняла те же решения, что и предыдущая. Разница заключалась лишь в приложенном счете, который был больше счета предыдущей Комиссии, так как за это время возрос на несколько пунктов индекс прожиточного минимума.

Рекомендация Комиссии выплатить жалованье чи-

новникам натолкнулась на противодействие Министра Финансов, так как из полученного им отчета от служащих казначейства явствовало, что в государственной казне нет ни одной даже стертой монетки.

Депутаты Дома речесловия, у которых на все случаи жизни есть готовые советы, потребовали, чтобы была создана Комиссия, которая предстала бы перед Главным Казначеем и потребовала бы, чтобы он проанализировал отчет, представленный чиновниками Министерства Финансов Министру Финансов, дабы установить, что в этом отчете существенно. Это предложение было отклонено большинством голосов, ибо всем хорошо известно, что рядовые служащие более сведущи в делах, чем высокопоставленные чиновники, и фактически все дела в министерствах ведет мелкая сошка, так как чем чиновник выше рангом, тем он менее сведущ. Это в полной мере относится и к Главному Казначее, ибо было хорошо известно, что, ведая государственной казной, он в то же время был всецело поглощен изучением анекдотов, имеющих хождение в государстве... Но так как не было других предложений, оппозиция пошла на уступки и дала в конце концов свое согласие на образование Комиссии, которая должна предстать перед Главным Казначеем.

Комиссия была избрана и предстала перед ним, а Главный Казначей, как мы знаем, коллекционировал анекдоты, и он знал, что нет на свете такого человека, который не сумел бы рассказать анекдот, а если такой и найдется, то это сам по себе факт анекдотичный. И он очень обрадовался членам Комиссии, предвкушая, что они принесли с собой множество анекдотов. И он сам поведал им тьму веселых историй, пояснив при этом происхождение каждой.

Так сидел себе Главный Казначей с членами Комиссии и благосклонно шутил. Он не оставил в покое ни одного из государственных мужей, о каждом рассказал несколько смешных историй, коими развлекаются граждане этого государства. При этом он сказал:

— Можно полагать, что именно анекдоты увековечат память о наших коллегах в большей мере, чем их

дела, так как все дела их — это, в сущности, сплошной анекдот...

Так они очень мило беседовали, пока члены Комиссии не напомнили о цели своего визита. И они изложили ему свои соображения. Тотчас выражение лица Главного Казначая изменилось, на губах появилась гримаса, нос распух, а мочки ушей почернели, и он стал похож на всех государственных чиновников. И если бы мы его давно не знали, то не поверили бы, что такой человек знает толк в анекдотах.

Он отодвинул свой стул, встал с глубокомысленным видом или, как принято говорить, с серьезным выражением лица, предложил членам Комиссии зайти в казначейство и вынул серебряный ключ. Этот ключ он вручил Председателю Комиссии и сказал ему следующее:

— После того как я убедился, что, открывая сейфы железным ключом, я в них ничего не нахожу, я задумался и решил изготовить серебряный ключ. Может быть, в честь нового ключа и в честь вас, мои господа, сейфы наполнятся деньгами. Во всяком случае, я вам советую предварительно прошептать: "Сезам, откройся!"

Члены Комиссии вернулись в Дом речесловия без денег, но зато со множеством анекдотов. И пришлось государственным мужам вместе с народными избранниками снова изучить вопрос, что бы еще обложить налогом, дабы наполнить государственную казну. Но самое тщательное изучение показало, что у государства не осталось ни одного предмета, который бы не облагался налогом.

Народные посланцы, заседавшие в Доме речесловия, хорошо знали, что всему свое время. И так как приближалось время всеобщих выборов, они решили, что пора заручиться симпатиями избирателей и показать, что депутаты уважают волю народа. И они предложили обратиться за советом к народу, ибо кто еще так умен, мудр и все понимает?

И было опубликовано воззвание: каждый, у кого есть предложение, пусть придет и доложит. И тут автор считает нужным отметить, что нехорошо поступили руководители государства, обратившись к народу, ибо,

если дать народу возможность высказать свое мнение, — кто знает, до чего он может договориться?

И что в самом деле произошло? Когда было опубликовано воззвание, все начали копаться в государственных делах. Одни говорили, что надо назначить Комиссию и проверить, нужны ли стране легионы чиновников, которые стали прямо-таки бедствием для государства. Другие твердили, что и заседания, и собрания, и конференции, и торжественные приемы, и банкеты, которые министры и прочие руководители устраивают друг для друга, тоже страшное бедствие для государства. Еще немало других подобных язвительных замечаний можно было услышать по всей стране.

Когда правители увидели, что эти высказывания представляют серьезную опасность для государства, они аннулировали воззвание и конфисковали газеты, в которых оно было опубликовано. Так и остался руль государственного руководства в руках его прежних правителей.

Но государство это родилось под счастливой звездой, и малозначащая случайность возвеличила и прославила его. Надо же было случиться, что один из старейших депутатов Дома речесловия забыл в этом Доме свою палку. Когда он вернулся к себе домой и хотел ее поставить на место, то оказалось, что палки нет и что по рассеянности он оставил ее в Доме речесловия. И он воспылал гневом на привратника Дома речесловия, который не подал ему палки. Но долго сердиться у него не было времени, так как его нос щекотали запахи ужина. Сохранив остатки неизлитого гнева на завтра, он сел к столу. И поглощая пищу, он продолжал думать о палке. И дивился на самого себя: в столь почтенном возрасте он смог обойтись без палки!

Назавтра он поведал об этом в Комитете, где заседал. Старцы из Комитета позавидовали ему, а молодые говорили комплименты и предсказывали, что в недалеком будущем у него вырастут новые зубы взамен протезов.

И был там один человек, который, услышав эту историю, не стал попусту тратить слова и вертеть язы-

ком, а извлек из этого события его суть, которая может пойти на пользу государству. И когда возобновились заседания и начались прения, он поднялся и сказал:

— Тише, господа, тише! Я хочу сделать важное заявление.

И были такие, что насторожились, приготовившись слушать. И были такие, что продолжали, как ни в чем не бывало, рисовать чертиков. И были такие, что оставались совершенно безучастными к его словам. И были такие, что готовы были заранее опровергнуть все, что он скажет.

Но тот, повысив голос до крика, продолжал:

— Я нашел решение! Решение, которое подходит для всех! Прошу, господа, выслушайте меня, а затем уже будете возражать. Одну вещь, господа, одну вещь мы до сих пор еще не облагаем налогом. Вы спросите, какую? Палку, господа мои, палку. Эта бездельница до сих пор не несет никаких обязательств перед государством. И поэтому я предлагаю, господа, обложить ее налогом, каким облагаются у нас все прочие предметы. Прошу вас, господа, подумайте только, чем палка лучше, скажем, очков, с которых взимается налог? Почему у нее должны быть привилегии перед зубными протезами, с которых тоже взимается налог? Я считаю, господа, что палка тоже относится к предметам бытового потребления, и с нее должен взиматься налог на общих основаниях. На этом, господа, я кончаю. Больше мне нечего сказать. А уж если говорить, то хочу добавить, что мое предложение не нуждается в изучении. Но поскольку нельзя изменить общепринятой процедуры, предлагаю немедленно поставить на обсуждение вопрос о палке.

Дом речесловия был настолько потрясен этим предложением, что все забыли даже о том, что следовало бы все-таки, по традиции, выступить против предложения и против того, кто его внес.

Палата назначила Статистическую комиссию для определения количества палок, имеющих в стране. Другая Комиссия — Экономическая — была назначена, чтобы установить, сколько взимать с каждой палки.

Третья Комиссия, созданная палатой, должна была определить, относятся ли костыли к разряду палок, а если да, то считать ли их одной палкой или двумя. А если считать их двумя палками, то следует ли их уподоблять зубным протезам, с которых, как известно, налог взывается с верхнего и нижнего отдельно, или уподоблять их очкам, с которых налог взывается одновременно за оба стекла. В этой Комиссии была создана Подкомиссия, которая именовала себя Комитетом. Подкомиссия должна была изучить вопрос об указах школьных учителей — считать ли их палками, орудием производства или вообще не принимать в расчет, поскольку некоторые учителя шлепают провинившихся учеников рукой, а однорукие обычно пинают ногой.

И так как перед глазами Высокого Собрания витала все время тень ультиматума чиновников, Комиссиям было предложено срочно представить свои выводы в Высшую Комиссию, которая была образована для координации предложений всех прочих Комиссий и для передачи их в другую Высшую Комиссию, которая должна была извлечь из всех предложений их суть.

В конце концов Высокое Собрание, основываясь на данных ему полномочиях, издало Закон, обязывающий всех палковладельцев вносить палочный налог.

Вначале новый закон был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Не только лица, не владеющие палками, но и граждане, обладающие ими, не роптали. Более того, нашлись такие, которые даже возгордились. Они говорили:

— Разве нам нужны палки? Мы пользуемся ими только для того, чтобы платить палочный налог и тем самым поддерживать финансы государства.

А между тем количество палок, находящихся в пользовании, начало постепенно уменьшаться, пока в конце концов палки и вовсе исчезли. Спрашивается, что же делали калеки, хромоногие и старцы, которые не могут обходиться без опоры? Они обзавелись зонтами, кои использовали, однако, преимущественно, в качестве палок. Но зонты освобождали их от необходимости платить палочный налог.

Государство увидело, что оно терпит убытки, и издало Закон, согласно которому, все владельцы палок, вне зависимости от того, пользуются они ими или нет, обязаны платить палочный налог. И тотчас были назначены палочные инспекторы и образован аппарат для взимания палочного налога.

И тут автор считает себя обязанным сказать несколько слов во славу государственных мужей. Все на них жалуются, и обычно говорят, что законодательные предложения, которые их лично ущемляют, те готовы сразу аннулировать. В действительности это вовсе не так. Вот, к примеру, палочный налог касался их непосредственно, а они его утвердили. И не только утвердили, но даже издали "Разъяснения и дополнения" к Закону, из которых следовало, что каждый гражданин обязан обзавестись палкой вне зависимости от того, нуждается он в ней или нет. Так что те, кто имел палки, оказались в преимущественном положении, ибо им не надо было приобретать палок в отличие от тех, кто палок не имел.

Результатом "Разъяснений и дополнений" было то, что палки сразу стали дефицитными, ибо продавцы палок тут же вздули на них цену. И те, кто имел средства приобрести палку, покупали и платили палочный налог. А те, кто не имел средств, не покупали и считали себя свободными от уплаты палочного налога.

Когда государство увидело, что торговцы толкают граждан на преступление, было решено образовать Оценочную Комиссию, на которую возложили обязанность скалькулировать стоимость палки и разработать соответствующий прейскурант. Когда он был составлен, издали распоряжение о том, что каждый торговец, повышающий цены, будет оштрафован и подвержен аресту.

Что же сделали торговцы? — Они изъяли из магазинов палки и продавали их на черном рынке.

Что же предприняло государство? — Оно объявило, что будет ввозить палки из-за границы.

Это настолько напугало торговцев, что они снова начали торговать палками по номинальной цене. Но

все равно, палок не хватало. И еще одно выявилось обстоятельство: некоторые граждане стали роптать.

— У нас палки тонкие. Не палки, а тросточки. Почему же мы должны платить налог, как за толстую палку?

И низкорослые тоже возмущались:

— У нас палки короткие. Почему же мы должны платить налог, как те, у кого палки длинные?

Жалоба за жалобой, претензия за претензией, и вскоре все государство кипело и бурлило, как в канун революции. И снова было созвано чрезвычайное заседание, на котором произносились хвалебные речи во славу палок и палочного налога. Но так как все эти речи опубликованы в газетах, автор считает себя свободным об необходимости излагать их. Однако о принятых решениях упомянуть необходимо.

Решено было послать торговую делегацию за границу, чтобы привезти древесину для изготовления палок, дабы каждый гражданин имел возможность купить себе палку. А почему, спрашивается, надо посылать делегацию за границу? Потому, что государство это бедно древесиной. Если кто-нибудь посадит деревце, приходят школьники и вырывают его. Дело в том, что в этом государстве есть обычай — ежегодно устраивать праздник лесонасаждения. И, отправляясь на праздник, дети несут с собою, в качестве символа, вырванные у соседей саженцы...

Тем временем была образована Комиссия, которая должна была вступить в переговоры с представителями чиновников, дабы отложить забастовку. Другая Комиссия была образована для переговоров с иностранными банками на предмет получения кредитов в связи с предстоящими закупками древесины. И еще одна была избрана Комиссия, которую отправили путешествовать по ряду стран, чтобы установить, откуда всего выгоднее импортировать лес для производства палок.

Члены Комиссий явились к Председателю Объединения чиновников, чтобы договориться с ним об отсрочке забастовки. Председатель Объединения чи-

новников, будучи человеком учтивым и к тому же известным коллекционером ножниц для ногтей, принял членов Комиссий очень приветливо и даже показал им свою коллекцию, в которой находились все виды ножниц, начиная со времен Цили, жены Лемеха,* и кончая маникюрными ножницами наших дней, коими пользуются чиновники и их секретарши. Так они сидели и мирно беседовали о стране и ее нуждах.

Увидев, что Председатель Объединения чиновников находится в отменном расположении духа, члены Комиссий начали ходатайствовать перед ним об отмене забастовки чиновников.

— Вскоре, — говорили они, — в страну будет доставлена древесина для изготовления палок, и эти палки будут продаваться всем, кто их еще не имеет. При этом будет взиматься палочный налог, а из полученных денег будет выплачено жалование чиновникам.

Председатель Объединения чиновников, будучи человеком практичным, согласился отложить забастовку.

И другие Комиссии не бездействовали. Одна уехала за границу и получила в банках займы деньги. Другая доставила древесину такой толщины, какой здесь раньше и не видывали. Но когда эта древесина прибыла, не нашлось пильщиков и специалистов по дереву, так как издавна здесь большинство деревянных изделий импортируется, и эти профессии попросту исчезли. И пришлось государству произвести отчуждение у землевладельцев ряда участков, на которые была сложена древесина. Тут же наняли сторожей, чтобы уберечь ее от расхищения.

Сторожа построили бараки, в которых они жили, охраняя древесину. Понимая, что им вверено государственное имущество, сторожа были бдительными и ни на минуту не отлучались. Когда же им хотелось есть, они разводили костры и варили на них пищу. А зимой костры разводились также для обогрева. К холостым

* Имена библейских персонажей.

сторожам приходили девушки, к женатым — жены, сыновья и дочери. Приходили также соседи и соседи соседней. Постепенно вся древесина была сожжена, осталась только зола.

И начали поступать жалобы от прохожих, что зола летит и засоряет глаза. Когда дует ветер, он поднимает золу и швыряет прямо в лицо.

От жалобщиков не стало прохода, и тогда была образована Специальная Комиссия для изучения этого вопроса. Она пришла к выводу, что золу нужно удалить и предложила запросить Географическое Общество, куда целесообразнее ее свезти. Географическое Общество не нашло такого места, так как все свободные площади были предназначены для собраний, конференций и празднеств. Но, указали в Географическом Обществе, возможно, что свободное место найдется в море. Об этом следует запросить Общество "Морской прилив".

Общество "Морской прилив" было молодым и нуждалось в поддержке государства. Поэтому оно сразу объявило, что готово всячески содействовать работе Комиссии и предоставить соответствующее место в море для отбросов, то есть золы. Но золу необходимо предварительно доставить к берегу, а затем уже Общество на своих судах отвезет его в море.

Государство опубликовало соответствующее объявление и предложило всем транспортным конторам указать свои условия. Подряд достался Транспортному Кооперативу. Он мобилизовал для перевозок верблюдов, ослов, мулов, телеги, вагоны, лошадей, повозки. А уже с берега золу увезло на своих судах Общество "Морской прилив" и сбросило ее в морскую пучину.

Но так как в государстве не нашлось лесорубов и пильщиков, снова была послана делегация за границу, дабы доставить в страну усовершенствованные палки. Все они были изготовлены по одному образцу, и все они были одной толщины и длины, дабы не дать повода интриганам сеять смуту, говоря: "А почему ваша палка длиннее моей, толще моей и красивее моей?"

Но интриганы не успокоились. Они говорили:

— Если бы поручили доставку палок торговцам, палки стоили бы дешевле, ибо торговец привык экономить. Совсем по-другому ведут себя командированные чиновники, которые привыкли транжирить казенные денежки. Ведь за всю свою жизнь они не заработали и трудового гроша.

Но оставим интриганов с их интригами и обратимся к жизненным проблемам государства. Прошло еще некоторое время, и все граждане получили возможность приобретать палки. Государство получило возможность взыскивать палочный налог и платить жалованье чиновникам, включая служащих нового Управления, специально созданного для взимания палочного налога.

По-видимому, автор может сказать сейчас своему перу: “До свидания, мне нет необходимости более утруждать тебя, благо все дела утряслись, государственные учреждения открыты, чиновники выполняют свой долг, и торговля бубликами и кофе в стенах учреждений идет весьма бойко“. И все же автор пока еще не склонен отложить перо в сторону. Потому что есть еще в государстве такое, что нуждается в улучшении и усовершенствовании, и автор считает своим долгом писать об этом.

АПЕЛЬСИНОВАЯ КОЖУРА

(Рассказ)

В общественном месте валялась апельсиновая кожура. Это была самая обыкновенная кожура, какие во множестве можно видеть на всех улицах и переулках, куда ни пойдешь. И всякий, кто наступал на эту кожуру, скользил и спотыкался. Если то был человек брезгливый, он потом осматривал свои ботинки, не испачкались ли они, и шел дальше. Если же попадался человек не брезгливый, он даже не оборачивался, ибо, будь у него семь пар глаз, их не хватило бы, чтобы разглядывать каждую кожуру, что валяется на дороге. И кожура эта мирно лежала себе, и все скользили и спотыкались.

Однажды поскользнулся старик и упал. Он покряхтел, ощупал свои кости, встал и пошел своей дорогой. Потом на этом же месте поскользнулась девушка. Косточки ее не рассыпались, но содержимое сумочки разлетелось во все стороны. Тут было и зеркальце, и гребешок, и пудреница, и губная помада, и лак для ногтей, и крем для лица, и духи, и пинцет для бровей, и любовные письма мужа ее подруги, и прочие дамские принадлежности для тела и души. И так как эта особа была не старой и не уродливой, прохожие тотчас кинулись помогать ей, подняли ее, а также собрали разлетевшиеся из сумочки предметы. Но апельсиновая кожура к ним не относилась, поэтому она так и осталась лежать на своем месте.

Сварливые люди и склочники, которые всегда считают себя обиженными, глядели на эту кожуру и завидовали ей. Вот лежит себе спокойненько, доставляя всем хлопоты и огорчения, заставляя людей конфузиться, и в ус себе не дует, будто ее это не касается. И так как в сердца этих людей вошла зависть, она тотчас открыла вход и злобе. И они стали шуметь, возмущаться, сердиться — и на кожуру, и на беспечных людей.

Но более сдержанные граждане этого государства, у которых логика брала верх над чувствами и которые не путали причину и следствие, глядели на кожуру доброжелательно и говорили:

— Не на кожуру надо жаловаться, а на того, кто ее бросил. Этаким обжора! Набил себе брюхо апельсинами, а кожуру швырнул на улицу. И по его вине в стране множится число инвалидов и изувеченных.

Другие же, кто из всех интеллектуальных занятий избрали для себя государственные дела (что, однако, не могло удержать их от критики государства), твердили:

— Не на тех, кто бросает кожуру, надо жаловаться, а на муниципалитет, который не позаботился об уборке кожуры. В самом деле, в чем вина этого человека? Он съел апельсин. Это ведь не импортный продукт, а наш, отечественный, и дай Бог, чтобы побольше было таких граждан, которые довольствуются отечественными продуктами и не гоняться за импортными, за которые надо платить валюту. Но вот наш муниципалитет, который своевременно не убрал кожуру, достоин порицания. Налоги, небось, взыскивают, а что дают нам взамен? Кожуру от фруктов. И разве для того существует государство, чтобы собирать налоги и ничего не делать?

Услышал кто-то эти речи и сказал:

— Клянусь, что когда ко мне явится налоговый инспектор, я захлопну перед его носом дверь! Разве мы не вправе потребовать за свои денежки полной страховки, чтобы власти несли за нее полную ответственность и чтобы с нами не случилось того, что случилось со стариком, который недавно поскользнулся и упал?

К сердитому гражданину подошел агитатор из Земельного фонда. Он сказал:

— А может быть, эти деньги вы пожертвуете в пользу нашего фонда? Ведь приобретая землю, мы оставляем ее невозделанной, и в смысле апельсиновой кожуры она не представляет опасности, на этой земле нельзя поскользнуться и упасть.

Услышав такие слова, человек, который решил не платить налогов, вконец рассердился и сказал:

— Какая ни случись беда, вы тут как тут со своим фондом! Дня не проходит, чтобы у меня не просили денег в пользу Земельного фонда! 15-го шевата* — день Земельного фонда. И 9-го ава,** и в Пасху, и в любой другой день! Боже милостивый, есть ли такой день в году, когда от нас не требовали бы денег! Более того, я утверждаю, что дней, когда требуют денег, гораздо больше, чем дней в календаре!

— И вы, господин, даете?

— А попробуй не дай!

— А сколько вы даете?

— Сколько я даю? На всех монетах и ассигнациях, которые я даю, стоит изображение государственного герба... Но, скажите на милость, какое это имеет отношение к Земельному фонду? Если не ошибаюсь, мы с вами толковали об апельсиновой кожуре!

Мимо прошла жена государственного чиновника. Услышав, о чем говорят, она захныкала:

— Из-за такой вот кожуры моя свекровь сломала себе ногу! Она куда-то шла и поскользнулась на кожуре апельсина, а может быть, грейпфрута, или банана, или черт знает чего! Поскользнулась, и сломала правую ногу. А может быть, левую... Семь подстилок сгнило под ней — так долго она пролежала. И вы думаете, когда она поправилась, мне стало легче? Когда она шлепает по дому и стучит своей палкой, я убегаю, куда глаза глядят. С того дня, как закончился последний конгресс, я, представьте себе, еще ни разу не выезжала за границу!

Поскольку она упомянула о последнем конгрессе, разговор переключился на него. А кожа все лежала

* Шеват — одиннадцатый месяц еврейского календаря. 15-го шевата — “Новый год деревьев“. В этот день проводится массовое лесонасаждение.

** Ав — пятый месяц еврейского календаря. 9-е ава — день поста и траура в память о разрушении Иерусалимского Храма.

на месте и становилась все более грязной. В конце концов она поблекла, сморщилась и потеряла свой изначальный золотистый цвет. Но эта кожа была везучей и не была забыта, в отличие от прочей кожи, которая валяется в пыли и грязи еще со времен последнего конгресса, и никто не обращает на нее внимания.

Жил в той стране педант-грамматик, который следил за тем, как люди говорят, и исправлял их ошибки. Увидев кожу, он остановил какого-то прохожего и спросил его:

— Что вы думаете об этой коже?

— А о чем тут думать? — удивился прохожий. — Кожа, как все кожи.

— Вот это и неверно! Надо говорить “кожа, как кожа”... “Кожи”, “кожур”, “кожурам”, “о кожурах” — это неверно, неблагозвучно и режет ухо. Это недопустимая ошибка, и с нею надо бороться!

Возникло опасение, что, дискутируя о правописании и произношении кожи и ее производных, забудут о коже как таковой. Но эта кожа, как мы уже сказали, была везучей, и она продолжала оставаться предметом живейшего обсуждения. В это время кто-то прошел мимо и обратил на нее внимание. И он сказал тем, кто дискутировал о правописании и произношении:

— Удивляюсь, что никто не догадался сфотографировать эту кожу и снимок опубликовать в газетах. Видимо, надо сначала обратиться к общественным организациям, чтобы они воздействовали на журналистов, дабы те призвали народ делать добровольные взносы в фонд ее фотографирования. И когда этот снимок появится в газетах, все убедятся, что она мешает уличному движению. Тогда и диаспора* не останется в стороне от сбора пожертвований. Надо лишь, чтобы ее засняли подлинные мастера фотоискусства. Только тогда наши братья в изгнании получают полное

* Имеются в виду евреи, проживающие в других странах.

представление о ландшафтах нашей родины и смогут насладиться ими.

Оказавшийся рядом другой прохожий сказал:

— Я не понимаю, почему вам не нравится эта кожа? Напротив, мне она представляется символом свободы. Сам факт ее нахождения в этом месте свидетельствует, что любой гражданин нашего государства может поступать, как ему вздумается.

Рядом с поборником символа свободы, извлеченного из мусора, оказался другой прохожий. Он сказал:

— С ней надо поступить так, как поступали в древности, согласно трактовке Талмуда, с отбросами Иерусалима, удаляя их за пределы Святого города.

К собеседникам подошел старик, который собирал макулатуру.

— А все другие предписания Талмуда вы уже исполнили?

— Оставьте, пожалуйста, Талмуд для тех, кто выполняет его заветы! Смотрите на этих бесстыжих безбожников с обнаженной головой! Мало того, что они позволяют себе трактовать на свой лад Библию, они еще начали совать свой нос в Талмуд!

Автор испугался вспыхнувшей ссоры и решил удалить кожуру, ставшую причиной раздоров, зависти и вражды. Он нагнулся, поднял ее и бросил в урну. Это увидела какая-то госпожа и сказала:

— А что будет со всей остальной кожурой? И с макулатурой, с газетами и отбросами, которыми полон город? Будьте любезны, гражданин, вон там валяется кожа от яблок, а вон там — от грейпфрутов, а вон там — порванная брошюрка, из тех брошюр, что подстрекатели суют в руки всем прохожим, а вон там — поломанная мышшеловка с дохлой крысой... Если так будет продолжаться, то скоро заплесневет весь воздух!

Услышав эти речи, какой-то мужчина, сказал:

— Успокойтесь, мадам. Ведь Палестину собираются делить между евреями и арабами, и никто пока не знает, кому достанется этот участок. Может быть, нашим врагам. А ежели так, то какое нам дело, что здесь отбросы и мусор?

Как только он упомянул о предстоящем разделе, все на него набросились и начали с ним пререкаться.

— Что вы от меня хотите? — завопил тот. — Разве я сказал, что хочу раздела? Я ничего не сказал, кроме того, что написано в газетах. А вы на меня кричите...

Тогда автор подумал: "Будет или не будет раздел, это дела не меняет. Пока мы здесь живем, у нас должно быть чисто. Нельзя, чтобы скапливались отбросы!" И он нагнулся и стал их подбирать.

Так как он всерьез занялся уборкой, все сочли своим долгом помогать ему советами. Один давал хороший совет, а другой — еще лучший. Как всего удобнее подбирать кожуру. И как всего лучше собирать ее в кучи. И куда следует ее выбрасывать. И так далее, все в том же роде. И даже небеса пришли ему на помощь. Подул сильный ветер и погнал мусор, скопившийся на улице. Прежде всего полетели газеты и листки разорванных книг, которые в некотором роде предметы более воздушные, вернее, более духовные, чем кожура. Они вырвались из мусора, одушевленные ветром, и поднялись в воздух. Летая, некоторые из них даже шлепнули прохожих по лицу. Но так как их духовность воплощена в физической материи, одушевление вскоре улетучилось, и они опять упали на мостовую.

Тогда автор снова принялся за уборку, а публика снова начала активно помогать ему советами. Советы были настолько дельными, что, если бы ими воспользоваться, это дало бы пропитание жителям целой страны.

— Нет, вначале лучше бросить кожуру от грейпфрута.

Он принимается за кожуру от грейпфрута, а ему говорят:

— Нет, уж лучше начать с такой-то и такой-то кожуры.

И так далее.

Для того, чтобы всем угодить, автор начал убирать кожуру обеими руками сразу. Но советчиков было

значительно больше, чем у автора рук. И так как он старался выполнить все советы, советчики открыли совещание на тему о том, что убирать вначале и что убирать потом. Возникли разногласия, которые перешли в острую дискуссию.

И тут автор считает себя обязанным поведать читателям о совершенно новом явлении, которое происходит у нас отнюдь не так часто. В нашем государстве стало привычным, что граждане спорят и ссорятся, но полицейские обычно стоят в стороне, не вмешиваясь и не прекращая ссор. Но тут случилось нечто необычное: откуда ни возьмись, появился полицейский и призвал к порядку граждан, нарушающих покой в общественном месте. Увидев, что это сборище полицейскому не по вкусу, публика начала расходиться.

Когда автор увидел, что публика разошлась, он подумал: "Теперь меня никто не будет отвлекать от дела". И он заработал быстрее, так что улица стала заметно очищаться от отбросов.

Заметив, что на улице никого нет, кроме автора, полицейский подозвал его к себе и спросил:

— Это из-за вас здесь собрался народ?

И он вынул свой блокнот и записал фамилию зачинщика, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за то, что он собирает народ и устраивает скандалы.

Тогда автор обратился к полицейскому со следующими словами:

— Разрешите рассказать вам, как было дело. Я шел по этой улице и увидел — на общественном месте валяется кожура, и все прохожие скользят и спотыкаются, многие падают, но никто ее не убирает. И я подумал: "Давай-ка, я ее уберу". А начав с нее, я решил заодно убрать все отбросы.

Полицейский присвистнул от удивления и снова обратился к автору:

— Значит, вы сознаетесь в том, что были заняты уборкой мусора?

На это автор ответил:

— А какой резон мне это отрицать? Я вам, госпо-

дин полицейский, рассказал все в точности, как было, и могу, если надо, повторить.

— А где ваш патент или свидетельство мусорщика, дающее право этим заниматься?

И он снова вынул свой блокнот, чтобы зафиксировать второе нарушение: человек занимается отхожим промыслом, не имея соответствующего удостоверения.

И дай Бог здоровья этому полицейскому за то, что он не отвел меня в участок. Сие не случилось только потому, что был обеденный час и полицейский спешил в столовую. И он ушел, оставив автора возле кучи мусора. Взглянув на эту грудку, тот подумал:

“Горе тому, кто хотел хоть немного очистить государство от мусора. А тем более государство, которое еще не избавилось от отбросов”.

עיריית חיפה
מזכרת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
.....מלאי 51

1203

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис : ЭКСОДУС
3. Др. А. И. Кауфман : ЛАГЕРНЫМ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит : ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав : НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ
6. Др. Е. Хисин : ДНЕВНИК БИЛУИЦА
7. Макс Брод : РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИИ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ
(Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель : ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ : Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман : СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский : СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль : ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам : ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ароп Мегед : ХЕДВА И Я
16. Яков Цур : И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль : ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея : ПРИДЕТ ВЕСНА МОИ
19. Говард Фаст : МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. Я. Домальский : РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ
21. Гал Алон : ОТЧИИ ДОМ
22. Юлия Шмуклер : УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш : ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. И. Агнон : ИДО И ЭИНАМ
Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли : ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский : СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТИМ

שמואל יוסף עגנון

עידו ועינים

וסיפורים אחרים